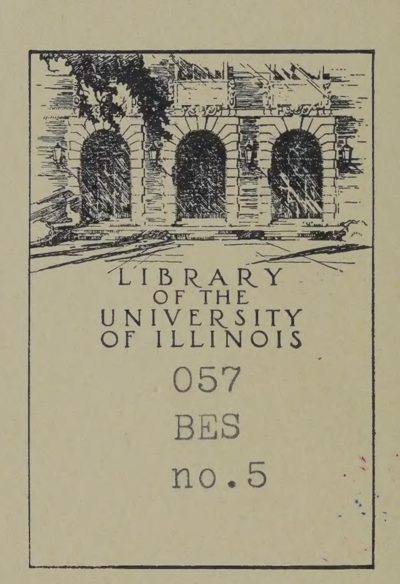



ЭПОХА

Набрано и
отпечатано
в типографии
Lutze & Vogt
G. m. b. H.
в июне 1924
в Берлине

БЕСЕДА

ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ

ИЗДАВАЕМЫЙ
ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ

АНДРЕЯ БЕЛОГО
ПРОФ. Ф. А. БРАУНА
М. ГОРЬКОГО
В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

№ 5

ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

ЭПОХА • БЕРЛИН

О Т Р Е Д А К Ц И И

Начиная с предлагаемого пятого выпуска „Беседы", научный отдел ее ведется при ближайшем участии профессора Гарри Шмидта — по математике, астрономии, физике и химии, приват-доцента Г. Гримпе — по биологическим наукам и доктора Г. Презента — по географии, этнографии, антропологии, палеонтологии, геологии и минералогии. Общая редакция научного отдела по прежнему остается в руках проф. Ф. А. Брауна, заведующего ближайшим образом и отделом гуманитарных наук.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
М. ГОРЬКИЙ. Карамора 9
НИКОЛАЙ ОЦУП, Стихи 57
М. ГОРЬКИЙ. Памяти Лунца 61
ЛЕВ ЛУНЦ †. Город Правды , ... 63
С. ЧЕРНИХОВСКИЙ. Свадьба Эльки. Перевод Владислава Ходасевича (Окончание) . . 102
А. ВЫСОЦКИЙ. В Палестине. Очерк . . . 122
ДЖОН ГОЛСУОРТИ. Лес. Перевод с английского 160
ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО. Скалябрино. Перевод с итальянского 173
ГРИГОРИО И МАРИЯ МАРТИНЕЦ СИЕРРА. Слепые дети. Перевод с испанского . . 179
М. ГОРЬКИЙ. О С. А. Толстой. 197
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Поэтическое хазяйство Пушкина. (Продолжение) . . 218
АЛЕКСАНДР ЛЯСКОВСКИЙ. Новое о М. С. Салтыкове 246
ПРОФ. Г. ВИТКОВСКИЙ. Гете и Наука о Гете в современной Германии. Перевод с рукописи 265
Д-Р Г. ГРИМПЕ. Внутриклеточный ситбиоз животного с растением. Перевод с рукописи 286
Д-Р ГАНС ПРЕЗЕНТ. Последствия японского землетрясения 1922 года. Перевод с рукописи 315
ПРОФ. ГАРРИ ШМИДТ. Образование и развитие неподвижных звезд. Перевод с рукописи 329

СТР.

К ДВУХСОТЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАНТА 355

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ . , ... 358

Проектируемый перелет Амундсена через Северный полюс (358). — К теории северного сияния (361). — Почему небо нам кажется голубым (363). — Чувство цвета у пчел (367). — Ложные инстинкты (368) — Перелеты птиц и летательные аппараты (370). — Мор от масел (372). — Проф. Кестер † (373).

БИБЛИОГРАФИЯ . . . . , ... 375

Немецкие библиографические и критические журналы общего характера (375). — Arthur Luther. Geschichte der russischen Literatur (377). — Dr. Th. Wilhelm Danzel. Kultur und Religion des primitiven Menschen (378). — A. von Löwis of Menar. Die Brünhildsage in Russland (380). — L. Niederle. Manuel de l'antiquité slave (382). — M. Vasmer. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven (383). — Gustav Wenz. Die germanische Welt (384). — Л. Лихтенштейн. Астрономия, математика и их взаимодействие (386). — И. Кеплер. Mysterium Cosmographicum (387). — Вальтер Герлах. Материя, электричество, энергия (388). — Г. Гервези и Ф. Панет. Учебник радиоактивности (389). — Сведберг. Материя (390). — Свенте Аррениус. Химия и современная жизнь (390). — Новые немецкие книги по географии России (391)

9 ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ.

*

*

Адрес редакции и конторы:
„Epoche-Verlag"
Berlin W. 50, Rankestr. 33
Tel. Steinplatz 71-27

БЕСЕДА

КНИГА ПЯТАЯ

М. Горький

КАРАМОРА

„Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, — порой так и тянет кому нибудь какую нибудь пакость сделать, — самому близкому“.

Слова рабочего Захара Михайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссии в 917 г. „Былое“ 22-й год, 6-ая книга, статья Н. Осиповского.

„Иногда, — ни с того, ни с сего — приходя. мысли плохие и подлые...“

Н. И. Пирогов.

„Позвольте подлость сделать!“

Один из героев Островского.

„Подлость требует иногда столько-же самоотречения, как и подвиг героизма“.

Из письма Л. Андреева.

„По обдуманным поступкам не узнаешь, каков есть человек, его выдают поступки необдуманные“.

Н. С. Лесков в письме к Быляеву

„У русского человека мозги на бекрень“.

И. С. Тургенев.

Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут

— Карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках — ловок.

Дали они мне три дести бумаги: пиши, как все это случилось. А зачем я буду писать? Все равно: они меня убьют.

Вот — дождь идет. Действительно — идет: полосы, столбы воды двигаются над полем в город и ничего не видно сквозь мокрый бредень. За окном — гром, шум, тюрьма притихла, трясется, дождь и ветер толкают ее, кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, с'езжает под уклон туда, на город. И я, сам в себе, как рыба в бредне.

Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека и один к другому не притёрся. Вот и все.

А, может быть, это не так. Всетаки писать я не буду. Не хочу. Да и не умею. И — темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем.

Пускай убивают.

Всю ночь не спал. Душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром, точно из бани. В небе серпиком торчит четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова.

Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что еще делать? Как в щель смотрел, а за щелью — зеркало и в нем отражено, застыло пережитое мною.

Вспомнил Леопольда, первого наставника моего. Маленький, голодный еврейчик, гимназист. Мне было в то время девятнадцать лет, а он года на два или на три моложе меня. Чахоточный, в близоруких очках, рожица желтая, нос кривой и до красна затек от тяжелых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышенок.

Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызет внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком.

Был он из тех, которые родятся мудрыми стариками и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи. Даже дрожал от злости, оголяя пред нами жизнь, — точно ограбленный поймал вора и обыскивает его.

Мне, веселому парню, неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завистлив, не жаден, зарабатывал хорошо, путь свой я видел светлым ручьем. И вдруг чувствую: замутил еврейчик мою воду. Обидно было я, здоровый русский парень, а, вот, эдакий ничтожный, чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирая в кожу мне.

Сказать против я ничего не умел, да и было ясно: Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но — ведь как скажешь:

— Все это — правда, только мне ее не нужно. Своя есть.

Теперь понимаю: скажи я так и вся моя жизнь пошла-бы иным путем. Ошибся, не сказал. Пожалуй именно потому не решился выговорить свои слова, что уже очень неприятно было: сидят четверо парней, на подбор молодцы, а глупее хворенького галченка.

Торговля нашего города почти вся была в руках евреев и поэтому их весьма не любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушел, я стал высмеивать товарищей: нашли учителя! Но Зотов, скорняк, который завел всю эту машину, озлился на меня, да и другие — тоже. Они уже не первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притерлись к нему.

Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как нибудь унизить его в глазах товарищей; это уже не только потому, что он еврей, а потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живет и горит в таком хилом, маленьком теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы.

На этой игре я и запутался, на этом и проиграл себя. Уже после двух, трех бесед правда социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал ее. Теперь я думаю, что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка, которую я, сгоряча и по молодости моей — не заметил. Доказано, что по закону естества разума, мысль рождается фактами. Разумом я принял социалистическую мысль, как правду, но факты из которых родилась эта мысль, не возмущали моего чувства, и факт неравенства людей был для меня естественным, законным. Я видел себя лучше Леопольда, умнее моих товарищей; еще мальчишкой я привык командовать, легко заставлял подчиняться мне и вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту — любви к людям, что-ли? Не знаю — чего. Проще говоря: социализм был не по росту мне, не то — узок, не то — широк. Я много

видел таких социалистов, для которых социализм — чужое дело. Они похожи на счетные машинки, им все равно какие цифры складывать, итог у них всегда верен, а души в нем нет, одна голая арифметика.

Под «душой» я понимаю мысль возвышенную до безумия, так сказать, — верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни должно быть в том, что такой «души» у меня не было, а я этого не понимал.

Я был бойчее товарищей, лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне; стараясь уличить его в том, что он не все или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование с ним настолько быстро двигало меня вперед, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною, как созданием разума своего.

Он, пожалуй, даже любил меня.

— Вы, Петр, настоящий, глубочайший революционер, — говорил он мне. Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял, сухой, черненький, точно головня, курится едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил:

— Не живет, а — тлеет. Так и ждешь: вот-вот вспыхнет и — нет его!

Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но — обижал его. Например — спрашиваю:

— Вы все говорите о европейских капиталистах, а, вот, о еврейских как будто и забыли?

Он, бедняга, сжался весь, замигал острыми глазенками и сказал, что хотя капитализм интернационален,

но для евреев гораздо более, чем капиталисты, характерны и знаменательны враги капитализма Лассаль, Маркс.

Потом он, с глазу на глаз, упрекал меня в склонности к юдофобству, но я отвел упреки, сказав, что его умолчание о евреях замечено не только мною, а всеми товарищами. Это была правда.

На восьмом месяце занятий с нами он был арестован, вместе с другими интеллигентами, с год сидел в тюрьме, потом его сослали на север и там он умер.

Это один из тех людей, которые живут, как слепые, вытаращив глаза, но — ничего не видят, кроме того, во что верят. Эдаким — легко жить. С таким зарядом я бы прожил не хуже их.

Привели в тюрьму солдата, — удивительно похож на отца, в год его смерти. Такой же лысый, бородатый, также глубоко, в темные ямы, провалились глаза и посмеивается виновато, как смеялся отец мой перед смертью.

— Петруха? — спрашивал он меня. — А ну, как умрешь — черти встретят?

Он умирать не хотел даже до смешного; лечился сразу у троих: у знаменитого доктора Туркина, у какой-то знахарки в слободе, ходил к попу, который от всех болезней пользовал настоем эфедры «Кузьмичевой травы». Боялся отец и за меня. Говорит, бывало:

— Бросил бы ты, Петр, забаву эту! В том, что люди плохо живут не твоя вина, — почему же твоя обя-

занность налаживать чужую жизнь? Это все равно, как если-б ты чужих гусей пас, а своих без призора оставил.

В грубых мыслях правды больше. Конечно, — люди посажены на цепь экономики. Экономический материализм — учение ясное и никаких выдумок не допускает. Связь между людьми — дело внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно — я терплю эту связь, а не выгодно — открываю свою лавочку: прощайте, товарищи!

Я — не жаден, немного мне надо на мой срок жизни.

Среди товарищей есть эдакие поэты, лирики, что-ли, проповедники любви к людям. Это очень хорошие, наивные парни, я любовался ими, но понимал, что их любовь к людям — выдумка и — плохая. Понятно, что для тех, кто не имея определенного места в жизни, висит в воздухе, для тех проповедь любви к людям практически необходима; это очень хорошо доказано наивным учением Христа. По существу дела — забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силою, утвердить свою идею, позицию, свое честолюбие. Я знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к народу и думают, что это — любовь. Но это не любовь, а — механика, притяжение к массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками, кочегарами. Забота о людях уничтожает «любовь» к ним, обнаруживая простейшую, социальную механику.

В городе, ночами, постреливают. Сегодня, на рассвете, в камере надо мною кто-то выл, стонал, топал ногами. Кажется — женщина.

Утром приходил от них товарищ Басов, спрашивал: пишу-ли я? Пишу.

Он снова, как на первом допросе моем, ужаснулся, разводил руками, бормотал:

— Поверить невозможно, что это — вы, старый партиец, организатор, один из самых энергичных работников наших.

Неприятная у него манера говорить; слова будто жует, а они у него прилипают к зубам и языку трудно отодрать их. Он вообще неуклюжий, неловкий человек и — кочегар. По неловкости своей часто сидел в тюрьмах. Скучный мужчина. Лицо у него — лицо безвинно наказанного, на всю жизнь обиженного. Среди интеллигентов много встречается с такими вывесками страдания и обиды на рожах. Особенно обильно разродились они после 905 года. Ходили по земле так, как будто мир человеческий должен им полтора рубля и — не платит.

Они, видимо, думают, что смерть испугает меня и я, несчастный злодей, растекусь покаянием, как водосточная труба в дождливый день. Чудаки.

Да, я пишу. Не для того пишу, чтоб вытянуть несколько лишних дней жизни в тюрьме, а — по желанию третьего. Живут во мне, говорю, два человека и один к другому не притерся, но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и — не то раздувает, разжигает вражду, не то — честно хочет понять: откуда вражда, почему?

Это он и заставляет меня писать. Может быть он и есть подлинный я, кому хочется понять все или хоть что нибудь. А может быть, третий-то — самый злой враг мой? Это уж похоже на догадку четвертого.

В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к людям. Но во мне, я думаю, живет человека четыре, и все не в ладу друг с другом, у всех разные мысли. Что бы ни подумал один, — другой возражает ему, а третий спрашивает:

— Это вы зачем же спорите? И что будет из вашего спора?

Есть пожалуй, еще и четвертый, этот спрятался еще глубже третьего и — молчит, присматривает, зверем, до времени тихим. Может быть он и на всю мою жизнь останется тих и нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу.

Я думаю, что еще в юности, когда слагается человек, он, волею своей, должен задушить в себе зародыши всех личностей, кроме одной, самой лучшей.

А вдруг он именно ее и задушит, лучшую? Ведь — черт ее знает, которая лучшая-то!

Интеллигентам — легче, у них школа вытравляет лишние зародыши, злую икру, а нашему брату, когда в нем проснется неукротимая жажда все знать, все попробовать, все испытать, — нашему брату очень трудно!

В двадцать лет я чувствовал себя не человеком, а сворой собак, которые рвутся и бегут во все стороны, по всем следам, стремясь все обнюхать, переловить всех зайцев, удовлетворить все желания, а желаниям — счета нет.

Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это, как будто, вообще не его дело. Он у меня любопытен, как мальчика и, видимо, равнодушен к добру и злу, а «постыдно»-ли такое равнодушие, — этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю.

Здесь уместно вспомнить смешные слова Таси:
«Когда человек очень умен, так это даже неприлично».

Значит: пишу я по желанию третьего. Пишу не для них, а для себя и потому что мне скучно. А рассказывать жизнь свою самому себе очень интересно. Смотришь на себя, как на чужого и забавно ловить мысли свои на попытках соврать, спрятать что-нибудь от четвертого, ускользнуть от его слежки за тобою. Такая игра стоит не только свеч, а целого костра. После нее остается только пепел? Ну, что-ж...

Едва-ли они увидят и прочитают эти записки, я успею истребить бумагу или пересуну ее в другие руки, чужим людям.

Вот рядом со мною воры сидят, трое, веселый народ. Старший у них — почти мальчишка, лет двадцати, не больше, ученик мореходных классов. Хорошо поет частушки, особенно — одну:

Я отчаянным родился
И отчаянным помру,
Если голову мне сломят, —
Я полено привяжу.

Удалой парень. В его возрасте я таким же был. Любил опасность, как товарищ Тася — шоколад.

Всего лучше чувствует себя человек в затруднительном положении. Когда, около Темрюка, оторвало ветром льдину с рыбаками и понесло их в море, я, бросившись им на помощь, тоже был оторван и поплыл на маленькой льдине один, с багром в руках. Сразу стало ясно мне, что игра моя проиграна, так ясно, что на минуту я оледенел изнутри. Волной ломало льдину под ногами у меня,

еще минута и я бы потонул. Рыбаки, оставшиеся на льду, еще не оторванном от берега, бросили мне длинную веревку — этим лично я был спасен. И тотчас, как будто в меня извне вскочил кто-то, очень ловкий, злой, — я закричал, чтоб бросали еще веревок, а ту, которая уже была в руках у меня, метнул рыбакам, — они выли и метались в десятке сажень от меня. Им удалось подцепить веревку багром, а меня они сорвали со льдины в воду. Но я уже успел подхватить веревку с береговой льдины, связал обе, потом еще одну и рыбаков осторожно подтянули к берегу. Из девяти человек потонул только один старик; в суете и страхе, его свои столкнули в воду. Когда льдину с ними тянули к берегу, меня едва не перетерли веревкой, она была обмотана вокруг моего тела, я болтался на воде, как поплавок.

Вообще, когда меня постигала опасность, она, как-бы сама против себя действуя, многократно увеличивала силы мои, наделяла спокойствием, обостряла соображение и всегда позволяла преодолеть ее. Смел я был до нахальства и особенно любил себя в минуты, когда жизнь моя висела на волоске.

Был смешной случай: во время устроенного мною с воли побега товарищам из тюрьмы, старичек надзиратель, догоняя, четыре раза выстрелил в меня из револьвера. После второго выстрела я остановился, не хотелось бежать, не то — стыдно было, не то — смешно. Подбегая, он выстрелил еще раз, попал в голенище сапога, оцарапал ногу, потом стреляет в упор, в грудь — осечка.

Я вышиб револьвер из руки его, говорю:

— Не вышло, старик?

А он, задыхаясь, хрипит:

— Так ты беги, дьявол! Чего же ты ждешь, чо-орт?

Страх испытал я, кажется, только один раз — во сне, в ссылке, в захолустном городке Уржуме. Там было такое совпадение условий: начитался я книжек по астрономии, только что перенес тиф и едва ходил по земле, а тут еще явился странный человечек и начал проповедовать мне о «Распятом за нас при Понтийском Пилате». Он почти не говорил — Христос, а все только «Распятый за ны». Был он человек жалкий, должно быть не в своем уме, и был, несомненно, не простой странник, прихлебатель по кухням богатых купчих, а из интеллигентов. Длинный, сухой, с несчастной бородкой, на висках седые волосы, хотя — не стар, лет тридцати пяти. Молодили его глаза необыкновенно лучистые, глаза влюбленной девушки, так сказать. Синеватые зрачки точно горели и таяли, растекаясь по большим, очень выпуклым белкам.

Сижу у ворот на лавочке, пригрело меня солнцем, задремал, — вдруг рядом со мною очутился этот человек и начал говорить о «Распятом за ны». Говорил изумительно, с такой детской наивностью и так, как будто сам непосредственно пережил всю авантюру Христа, — авантюра, это слово товарища Басова, специалиста по атеизму.

Разумеется, я стал спорить. Потом он попросил есть, я отвел его к себе в комнату, там спор наш разгорелся еще жарче. Собственно говоря он не спорил со мною, а только читал стихи из евангелия и улыбался жалобно. До поздней ночи я убеждал его, что каждый человек, умеющий думать, прекрасно знает, что Бога — нет, Христос — наивная поэзия, лирика, выдумка, обман, в конце концов. Веруют в Бога по невежеству, из страха, по привычке, из упрямства, а некоторые потому, что в душе отчаянно пусто и они набивают пустоту ватой религии. Иные, пожалуй, относятся ко Христу, как к женщине, о

которой знают, что она обманула, изменила, но — привыкли к ней, других не чувствуют, а эту бросить — не могут. Вообще — Бога нет. Будь Бог — разве люди таковы были-бы?

Впрочем, последних слов я, наверное, не сказал ему; это, кажется, только сейчас и впервые сказано мною. Тоже — наивно. И неуклюже: буль-буль-буль, — точно тону, захлебываюсь. Не умею писать.

Говорил я не столько ему, сколько сам себя экзаменуя, просматривая мои мнения о Боге, религии и всей этой лирике нищих духом. Он сидел на лавке у окна, смотрел на меня, облокотясь о стол, улыбался, иногда — засмеется не обидным смехом дурачка. Так и сидел до поры, пока мы не улеглись спать, я — на койке, он на полу.

Ночью проснулся я, а он стоит среди комнаты, высокий, почти до потолка и бормочет, глядя в окно, указывая рукою на меня:

— Помоги ему, Ты — должен, помоги!

Бормотал он строго, как-бы приказывая, точно власть имущий над кем-то; фокус этот не понравился мне, но я ничего не сказал чудаку и снова уснул. Тут и приснилось мне, будто я хожу по краю плоского круга, покрытого сводом серенького неба. Хожу я по черте горизонта и щупаю руками холодное, твердое, это — край неба, он плотно врос, притерт к жесткой, как железо, но беззвучной земле, — шагов моих на ней не слышно. Как тусклое зеркало, небо отражает мое уродливо изогнутое тело, лицо у меня искаженное, руки дрожат и мое отражение протягивает ко мне эти дрожащие руки, пальцы их неестественно изогнуты, не сжимаются. Я уже несколько раз обошел пустоту, быстро и все быстрее двигаясь по черте горизонта,

но — не понимаю, чего ищу и не могу остановиться. Невыносимо тяжело мне и тревожно, я помню, что на земле существует жизнь, множество людей, — где же все это? В непоколебимом молчании, в совершенной безжизненности, мое движение по кругу становится все быстрее, вот оно уже как полет ласточки, а о бок со мною, летит, размахивая руками, отражение мое и всюду, куда-бы я ни взглянул, — только оно. Круг, сжимаясь, становится все меньше, купол неба все ниже, я бегу, задыхаюсь, кричу...

Человек этот разбудил меня, а я, со страха, так обрадовался, что схватил его за руки, прыгаю и смеюсь. Вообще вел себя очень глупо. Страшнее этого сна я ничего не помню. Кстати сказать: ошибочно утверждают, что страшно — непонятное, это неверно. Например: астрономия очень понятна, а разве не страшна?

В городе шумят, стреляют. Папирос у меня нет, это — плохо.

Работал я с величайшим увлечением, жил празднично. Командовать людьми нравилось мне вероятно больше, чем это нравится вообще человекам, особенно — интеллигентам, которые командовать и любят, да не умеют. Что-бы там ни пели разные птицы, а власть над людьми — большое удовольствие. Заставить человека думать и делать то, что тебе нужно, это вовсе не значит спрятаться за человека, нет, это ценно само по себе, как выражение твоей личной силы, твоей значительности. Этим можно любоваться. И если-б я не любил власть, я не был-бы признан отличным организатором.

Когда меня первый раз арестовали, я почувствовал себя героем, а на вопрос шел, как на единоборство с мед-

ведем. Страдать я не мастер и страданий, сидя в тюрьмах, никогда не испытывал, если не говорить о некоторых, всем известных, мелких неудобствах тюремной жизни. Лишение свободы? Тюрьма давала мне свободу читать, учиться. А, кроме того, тюрьма дает революционеру нечто подобное генеральскому чину, окружает его ореолом и этим надобно уметь пользоваться, когда имеешь дело с людьми, которых ты, против воли их, толкаешь на путь к свободе.

Слуга классовых врагов моих, жандармский ротмистр, оказался добродушным человеком, тучный, красноносый, видимо — пьяница, он встретил меня улыбкой и словами, каких я, конечно, не ожидал от врага.

— Петр Каразин, иначе — Карамора? Ого-го, какой молодчинище! Великолепный драгун вышел бы из вас.

Я приготовился говорить с ним сурово, презрительно, но тотчас понял что это было-бы смешно. Не то, чтоб он умягчил меня, а просто я увидал пред собою воробья, по которому только трус или идиот решился-бы стрелять из пушки. Когда я вежливо, но спокойно заявил ему, что отказываюсь от показаний, он наморщил нос и заворчал:

— Ну, разумеется. Теперь все вы так, знаю. Вот и посидите в тюрьме! Эх, молодежь...

Мне даже показалось, что ротмистру приятна решительность моего заявления. Я не подумал, что жандарм, может быть, торопится обедать и только потому у меня с ним все кончилось так быстро и легко. Возможно, что для меня было-бы лучше, если-б я наткнулся не на этого человека, а на хорошего зверя в мундире, на лицо определенных убеждений, одним словом не на чиновника, а на врага. Жизнь так забавно устроена, что лучшим воспитателем человека является враг его.

Но, хотя до пятого года я сидел в тюрьмах трижды и допрашивался жандармами раз десять, мне так и не пришлось встретить среди них ни одного, который умел-бы разжечь во мне чувство вражды, ненависти. Все обыкновеннейшие чиновники и даже встречались довольно приличные люди; говорю это не с целью рассердить ортодоксальных товарищей, а как о факте, видимо, случайном.

Об'явив мне приговор, полковник Осипов, тощий, желтый, умиравший от рака, сказал:

— Вам повезло: приговор легкий. Вы заслуживаете более сурового наказания, вы очень опасный человек.

Для меня его слова звучали похвалой, хотя он говорил их, удивляясь и сожалея.

Это был человек умный, он хорошо понимал людей и однажды весьма смутил меня замечанием, которого мог бы не делать: на последнем допросе, он сказал разглядывая меня сквозь стекла пенснэ:

— На мой взгляд, вы, Каразин, или озорничаете, или ошиблись и делаете не ваше дело.

Это очень укололо меня. Вот тут я рассердился, начал говорить ему дерзости, но он остановил меня.

— Я вовсе не хотел обидеть вас, а просто, как человек человеку, высказал мое впечатление. Вы играете опасную игру, а мне кажется, что для революционера вы человек недостаточно злой и — уж извините! — слишком умный.

Я думаю, что Осипов был порядочный человек; впрочем — так говорили все товарищи, побывавшие в его руках.

Однажды, вместе со мною, арестовали сына моей квартирной хозяйки, гимназиста, ученика моего. Я дал Осипову честное слово, что мальчик не причастен к моим де-

лам, просил выпустить его из тюрьмы и устроить так, чтоб Сашу не исключили из гимназии.

— Хорошо, я это сделаю, — сказал Осипов и при мне же распорядился, чтоб гимназиста освободили. А когда я поблагодарил его за это, он об'яснил:

— Бог мой, — ведь в наших интересах не увеличивать, а уменьшать количество бунтовщиков, вам подобных, а в интересах ваших было-бы оставить мальчика в тюрьме, изломать его карьеру, озлобить и так далее...

Этими словами он как будто давал мне урок революционного поведения. Я так и сказал ему:

— Спасибо за урок.

Вероятно он был тоже раздвоенный человек. Конечно — люди делятся на трудящихся и живущих чужим трудом, на пролетариат и буржуазию. Это — внешнее деление, а затем они, во всех классах, делятся на людей цельных и раздробленных. Цельный человек всегда похож на вола, — с ним скучно.

Я думаю, что цельность — результат самоограничения ради самозащиты. Кажется, — это же самое утверждает Дарвин. Человек попал в условия, где некоторые свойства его психики не только излишни для него, но и опасны: ими может воспользоваться его внутренний или внешний враг. Тогда человек сознательно гасит, уничтожает в себе излишнее и этим приобретает «цельность». Например: на кой чорт революционеру жалость к людям, лирика, сентиментальность, романтизм и все прочее в этом духе?

Революционеру необходим только энтузиазм и вера в себя. Интерес к многообразию внутренней жизни определенно вреден ему. В этом многообразии также легко запутаться, как ребенку в кустах терновника.

Жизнь человека раздробленного напоминает судорожный полет ласточки. Разумеется, цельный человек практически более полезен, но второй тип ближе мне. Запутанные люди — интереснее. Жизнь украшается вещами бесполезными. Я не видал идиотов, которые украшали бы жилища свои молотками, гайками или велосипедами. Впрочем один богач, мукомол, собрал больше пятисот замков и развесил их в двух больших комнатах на красных суконных щитах. Но у него были такие фокусные замки, что я, наследственный слесарь, рассматривал их с огромнейшим удовольствием. И, конечно, все они были бесполезны.

Технические фокусы я люблю, как всякую игру человеческого разума, в каких-бы формах она ни выражалась.

Вот, тоже, говорят о «христианской культуре». Что врете? Какого чорта — христианская? Где в ней наивность в этой вашей культуре? Евангельской наивности нет нигде. Расплодили злые, хитрые мысли, распустили их по всей земле, как стаю бешенных собак. Идиоты.

К восьмому году лучшие зубы революции были выбиты. Множество рабочих пошло на каторгу, многие, струсив, нарядились в бараньи шкуры обывателей, потом эти шкуры приросли к их коже. Некоторые, захотев пожить в свое удовольствие, стали бандитами, — «жизнь в свое удовольствие» всегда, прямо или косвенно, соприкасается с бандитизмом. Особенно быстро и ловко ускользнули от расправы победителей товарищи интеллигенты. Гнусное было время. Даже люди, доказавшие способность к подвигам, делали подлости.

Но — лучше не писать, не думать на эту тему. У меня нет желания намекнуть кому-то: время было плохое, а потому...

Нет, я не хочу оправдываться. У меня своя линия, своя задача. Знакомый мой, татарин, говорил:

— Мин дии мин, — я есть я!

Каков бы я ни был, но я — есть я. Условия времени сыграли значительную роль в моей жизни, но только тем, что поставили меня лицом к лицу с самим собою. Раньше я жил, так сказать, вооружаясь для борьбы, это поглощало все мои силы и у меня не было времени думать: кто я? Раньше я был связан с людьми сознанием общности политических и экономических интересов, чувством партийной солидарности, дисциплиной. А тут вдруг почувствовал, что экономика и политика не всего меня поглощают, увидел, что солидарность интересов — сомнительна, а законы партийной дисциплины не для всех печатаются одним и тем-же шрифтом... В это время я и ушибся о вопрос: почему люди так шатки, неустойчивы, почему они с такой легкостью изменяют делу и вере?

Однако, это всетаки похоже на попытку оправдаться. Подлая штука.

Пожалуй правдивее и вернее будет, если сказать просто: раньше я работал с увлечением, энтузиазмом, самозабвенно, а тут начал посвистывать; суну руки в карманы и свищу, чувствуя, что работать не хочется. Не то, чтоб я устал и не мог, а — именно не хотел. Скучно стало. И не потому скучно, что надо было снова хватать людей за ворот и тащить их на пути к свободе, — на пути, только что обильно политые кровью, — нет, не потому. Я все это делал, хватал, тащил, но уже как будто из упрямства, из желания кому-то что-то доказать, вообще

из других мотивов, не прежних, а новых, неясных для меня. И — непрочных.

Непрочность побуждений к революционной работе я чувствовал особенно остро. Идеи оставались со мною, но энергия, оживлявшая идеи, как будто требовала иного применения.

Трудно мне об'яснить это состояние тихого, но упрямого бунта, который вызывал во мне странную вялость мысли, чувства и настойчивую потребность испытать что-то неиспытанное.

Может быть это бунтовал авантюрист, человек привычки к приключениям, к опасности? Может быть.

Но — проще — суть в том, что раньше я говорил с людьми словами чужими, книжными и, сам оглушенный ими, не прислушивался к себе. А теперь я чувствовал, что внутри меня живет кто-то, гость непрошенный и неприятный, он слушает мои речи и следит за мною недоверчиво, подозрительно.

Я стал замечать то, что раньше мелькало мимо меня, не задевая моего внимания, и заметил, что товарищ Саша, врач, специалистка по детским болезням, очень милая женщина. Была она маленькая, круглая, веселая; уже почти год вертелась предо мною, как бы танцуя, ее ловкая фигурка, бойко топали стройные ноги в голубых чулках. У нее вообще было пристрастие к голубому: кофточки, бантики, зонтики, в комнате на столах, какие-то коробки, на стенах — картинки, все голубое. И белки глаз голубоватые, а зрачки темные, ласково тающие улыбками.

Политически она была не очень грамотна, питалась больше всего беллетристикой, серьезные книги читала неохотно, но по природе была не глупа.

Еще в шестом году, когда восстание в городе было разбито, жандармы громили нашу организацию и десятками гнали людей в тюрьму, Саша удивила меня спокойным отношением к событиям. Она спрятала меня у своего дяди, офицера, и уходя от него, пожимая мне руку, сказала:

— Почему вы ногти не чистите? И мыло засохло в ухе у вас.

Это мне понравилось. Потом я влюбился в нее, но молчал об этом. Она скоро заметила это и сама пошла встречу мне; это случилось очень просто, пожалуй несколько бесстыдно, что-ли. Как-то вечером я остался у нее пить чай и вдруг она, почти сердито спросила:

— Ну, когда-же вы решитесь сказать, что я вам нравлюсь?

Вот и все. Я ждал чего-то иного. Мне казалось, что настоящая любовь, как и вера, требует наивности. В простоте Саши — наивности я не почувствовал. Помню, что раздеваясь, она даже не отвернулась от меня, а, раздетая, хвастливо сказала:

— Вот я какая.

И началась у нас «любовь», с великим удовольствием, но «без радости». Так сказать — деловая любовь и «потому что без этого не проживешь».

Около Саши суетился товарищ Попов, человек новый в городе. Чистенький, сытенький, розовощекий и курносый с рыжими усиками, он смотрел в глаза людям взглядом преданной собаки, с подчеркнутой готовностью услужить, побежать, принести. Я чувствовал в нем любопытство кутенка, который суетится всюду, не понимая опасности, по молодости лет своих. Это любопытство возбуждало в нем смелость, хотя он казался мне трусом

по натуре. Превосходно рассказывал еврейские анекдоты, знал множество юмористических стихов и был похож гораздо больше на куплетиста, на жулика, чем на серьезного революционера. Однако было в нем что-то приятное, талантливое, какие-то свои искорки в словах, остренькие иголочки в мыслях.

Я очень скоро заметил, что Попов слишком часто приносит Саше конфекты, дарит книги, и вообще, ухаживая за нею, тратит много денег. Я спросил ее: что она думает об этом? Она сказала, что у него в Ростове богатый брат, но — это не успокоило меня. Может быть я немножко ревновал, зная, что у супруги моей половое любопытство к мужчине очень развито.

А у меня была развита подозрительность, росло недоверие к людям; я жил в «эпоху провокаторов». Мне стало казаться, что жандармы поумнели с той поры, когда в городе явился «товарищ» Попов.

Я поймал его самым простым приемом: сначала убедил одного «сочувствующего» из среды культурных деятелей города испытать маленькую неприятность обыска, затем Попов был осторожно осведомлен, что на квартире этого «сочувствующего», в его кабинете, в диване спрятано кое-что очень интересное для жандармов, через день к «сочувствующему» явились с обыском и, очень небрежно обшарив квартиру, вспороли и тщательно распотрошили диван. Разумеется ничего не нашли.

Я был почти один в городе, если не считать небольшой кружок рабочей молодежи и нервно больного товарища, который жил верстах в двадцати, на пасеке у знакомого казака. Я решил расправиться со шпионом единолично и немедленно.

Попов жил на окраине города, у огородника, на чердаке. Он показался мне угнетенным, в нем чувствовалась какая то внутренняя растрепанность; он, конечно, знал результат обыска и наверное уже чувствовал что — пойман. Он встретил меня очень нелюбезно и заявил, что приглашен на имянины к хозяевам дома, — действительно внизу, под его комнатой играли на гармонике, кричали и топтали.

На чердаке Попова я пережил часа три, четыре самых скверных в моей жизни.

Я спросил его:

— Давно работаете в охране?

Попов покачнулся, рассыпал папиросы, нагнулся под стол, собирая их и оттуда сказал, заикаясь, чужим голосом:

— Г-глупая ш-шуточка...

Но взглянув на меня, он сполз со стула на пол и, стоя на одном колене, засмеялся, всхлипывая, как баба.

— Оставьте... Бросьте, — бормотал он, глядя на браунинг в моей руке. Усы его ощетинились, под одним глазом дрожала какая-то жилка, глаз мигал и закрывался, а другой был неподвижен, как у слепого. Я поднял его за волосы, посадил на стул и предложил ему рассказать о своих подвигах.

Тут я увидел пред собою человека, у которого действительно не было лица: его заменяла серая масса какого-то студня и в нем, вместе с ним, дрожали отвратительно выпученные глаза. Бескровным куском мяса отвисла нижняя губа, дрожал подбородок, морщины бежали по щекам, — казалось, что вся голова этого человека гниет, разлагается и вот сейчас потечет на плечи и грудь

серой грязью. И как бы утверждая это впечатление, Попов,схватился руками за виски, закрыл ладонями уши.

Он рассказал довольно обыкновенную историю: с третьего года в партии, дважды сидел в тюрьме, в шостом году участвовал в вооруженном восстании, был арестован на улице.

Рассказывая, он икал, от страха.

— Я действительно участвовал, я даже стрелял... даже убил какого-то, честное слово! Наверное — убил, он — упал... Мне грозили вешалкой. Но — ведь хочется жить. Ведь мы, — чтобы жить, человек, чтобы жить. Как же иначе? Подумайте сами: ведь жизнь для меня, а не я для жизни, да?

Это он шептал очень убедительно, шептал и все спрашивал:

— Да? Да?

Одною рукой он царапал колено свое, а другой мял какую-то бумагу. Я отнял ее и прочитал на ней имя Саши, свое, потом фразу:

«Ликвидировать Каразина было-бы преждевременно, удобнее и полезнее сделать это в Екатеринославе, он скоро приедет туда».

Я заметил, что рассказ Попова не возмущал меня, — возмущала его философия. А тут еще чорт подсказал ему нелепые слова, — они сразу ожесточили меня.

— Неужели совесть ваша не протестовала? — спросил я.

— О, да, — вздохнув глубоко, ответил он. — Да, сначала — очень страшно, думаешь, что все догадываются, чувствуют. Потом — привыкаешь. Вы — что думаете? — шопотом сказал Попов. — Ведь в охране тоже нелегко. И там нужен героизм, там тоже есть свои ге-

рои, конечно — есть! Если — борьба, так уж герои с обеих сторон.

И еще тише, жульнически добавил:

— Даже интересно там, может быть интереснее, чем у нас. Ведь их меньше, нас — больше...

Я видел, что его страх умаляется, исчезает. Он рассказывал увлекаясь, очень живо, со множеством анекдотических подробностей и мелочей, порою даже смешных. Мне кажется, что я не один раз сдерживал желание улыбнуться и я подумал, что этот теленок, превращенный в полицейскую собаку, мог бы писать интересные рассказы.

В его цинизме было что то наивное, и эта наивность, помню, всего более ожесточала меня. Ожесточала и пугала. Я чувствовал себя очень странно, — человеком чужим самому себе. И вот, наступил момент, когда я вдруг заторопился, сам себя подхлестывая на решение неожиданное.

— Ну, Попов, пишите записку: «В смерти моей прошу никого не винить».

Он скорее удивился, чем испугался, нахмурил брови, спросил:

— Как это? Зачем? Как это — смерть?

Я об'яснил ему: если он не напишет записку — я его застрелю, а если напишет, — пусть сам повесится, сейчас-же, при мне.

Первое, что он сказал в ответ, было неожиданно и нелепо:

— Самоубийство? Никто не поверит, что я кончил самоубийством, нет! Там сразу поймут, что меня убили. И, конечно, — вы! Вы. Кому-же, кроме вас? Там, ведь,

знают, что вы здесь — один почти... И — какое вы имеете право судить, казнить — один?

Потом он валялся на полу, хватая меня за ноги, плакал, визжал и я должен был зажимать ладонью его противный, мокрый рот.

— Нет, — кричал он тихонько, умоляюще, — нет, судите меня! Надо судить, судить...

Возня эта продолжалась бесконечно долго, я ждал, что внизу услышат, придут. Но там все веселее играла гармоника, все яростнее кричали и топали.

Попов повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока он дрыгал ногами и громко выпускал кишечный газ.

Брошу писать. К чорту все! Зачем это нужно? К чорту.

Нет, писание дело увлекающее. Пишешь и, как будто, не один ты на земле, есть еще кто-то, кому ты дорог, пред кем ни в чем не виноват, кто хорошо понимает тебя, не обидно жалеет.

Пишешь — и сам себе кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело. Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, мятельной, внеразумной игрою своего воображения, — игрою многих в себе одном.

Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, стращает людей темнотою души человека, затем, чтоб люди признали необходимость Бога, чтоб покорно подчинились его непостижимым затеям, неведомой воле.

«Смирись, гордый человек!»

Если это смирение и нужно было Достоевскому, то — между прочим, а не прежде всего. Прежде-же всего

он был сам для себя — мин дии мин. Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли. Неужели не было случаев, когда писатель умирал внезапно, за столом своим, над листом исписанной бумаги? По моему — такие случаи должны быть. Выписал себя до конца, до последней искры жизни и — исчез. Жаль что этим пьяным делом я не занимался раньше.

Ну, буду дальше писать о том, чего не понимаю.

Я вышел за город, ночь была светлая, холодная, дорогу ограждали черные деревья. Сел под деревом, в тень и так просидел до утра, до поры пока, вдали, заскрипели телеги крестьян. Чувствовал я себя скверно, такая немая пустота в душе, бессмыслие в голове, в теле вялая усталость. Ждал я, что в душе моей что-то вспыхнет, разгорится. Когда Попов умер — умерло и мое отвращение к нему. Кто-то напоминал, подсказывал мне: ты убил человека. Но я понимал, что это исходит сверху, от ума и это не тревожило меня. Человек был предателем. И я не чувствовал себя преступником.

Но незаметно, откуда-то из глубины, вдруг встал предо мною тревожный вопрос: а, почему, собственно, я заставил Попова удавиться так неожиданно для самого себя и так торопливо заставил, точно чего-то испугался, но — не в нем, а — в себе? Как будто я не преступника уничтожал, а свидетеля, опасного для меня, и не тем опасного, что он предатель, а с какой-то другой стороны опасного?

Вертелись в памяти его слова:

— Если — борьба, так уж герои с обеих сторон.

3*

И вообще назойливо шептались его циничные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто.

Мухами кружились вопросы: как-же Попов держался с жандармами? Неужели он им тоже рассказывал анекдоты и стишками смешил? И, может быть, смеялся с ними надо мною? Но главное, что и смущало и тяготило меня, это — поспешность, необдуманность, с которой я заставил Попова удавиться.

В этом настроении отчужденности от самого себя и как-бы в полусне, меня арестовали следующей ночью.

Начальник Охранного отделения Симонов сказал мне хриповатым баском и каким-то неестественным, обиженным тоном:

— Вот что, Каразин, хотя Попенко и предлагает никого не винить в его смерти, но умер он в таком растрепанном виде, а на кистях рук у него оказались такие пятна, что совершенно ясно: он повешен, а не сам повесился. В ночь его смерти вы сидели у него приблизительно до половины второго. Это — установлено. И это время вполне совпадает с моментом смерти Попенко. Далее: есть наука дактилоскопия, она, конечно, установит, что оттиски пальцев на стеклянной пепельнице принадлежат вам. Разумеется я прекрасно понимаю, на чем вы поймали Попенко, да он и сам догадывался об этом. Он был парень полезный нам. Вам придется заплатить за его смерть тем-же. Кроме того: есть мотивы для уголовного дела, — убийство из ревности. К этому делу, конечно, будет привлечена и Александра Варварина — понимаете?

Я слушал и молчал. Не скажу, чтоб все это испугало меня, но угроза уголовщиной, разумеется, была неприятна.

Саша, обвиняемая по делу убийства из ревности? Нет. Это так нелепо, что даже смешно.

А Симонов, стоя в облаках дыма, говорил деловито:

— Я предлагаю вам заменить Попенко. Если вы на это согласны, вы немедля укажете мне нескольких лиц, которых нам полезно ликвидировать. Тогда выйдет так, что Попенко выдал товарищей и повесился от угрызения совести, а вы сохраните жизнь, не говоря о том, что можете сделать очень хорошую карьеру. Теперь я вас оставлю на некоторое время, на час, на два, а вы — подумайте. Медлить — не советую.

Уходя и прикрывая за собою дверь маленькой камеры, Симонов добавил:

— Выхода у вас нет.

Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою, хотя я понимал, что игра моя проиграна непоправимо. Мне кажется, что я ни одной минуты не думал о том, какое принять решение, я принял его тотчас-же, как только услыхал слова Симонова «заменить Попова». Хорошо помню, что я сам был удивлен быстротой и легкостью, с которыми это решение возникло, — оно явилось также естественно и просто, как возникает желание спать, гулять, выпить воды.

Сидел я в темной комнатке, слушал как стучит в окно ее проливной дождь и прислушивался: протестует против моего решения какое-то чувство внутри меня? Не протестовало.

Что это значит? Что значит это спокойствие и откуда оно? Почему я не ощущаю того отвращения к себе, которое вчера было у меня к Попову? Я перебирал в памяти все те слова, которыми награждают предателей.

вспоминал все, что печаталось и говорилось о них и все это не задевало, не смущало меня.

Было похоже, что тот, кто вчера заставил человека удавиться, а сегодня решил уничтожить еще многих, куда-то спрятался, а другой, недоумевая, ждет голоса его, хочет что-то узнать о нем, ищет преступника и — не находит. Преступника — нет.

Потом зашевелились лениво какие-то тени мыслей, движимых любопытством, они создали вопрос:

— Неужели я действительно буду работать в Охране, буду выдавать товарищей жандармам?

На этот вопрос никто не ответил, а любопытство стало навязчивее и острей. Я очень твердо помню, что преобладающим чувством в эти часы было у меня именно любопытство и удивление пред тем, что я ничего кроме любопытства не чувствую. Сейчас, вот, я понимаю, что этот час был коренным часом всей жизни моей, и я всю жизнь потом до сей минуты пытался, пытаюсь понять мое решение, но — не могу, не понимаю. Говорить об этом мне трудно — боюсь напутать, соврать. Все-таки, мне кажется, что я тогда спрашивал себя:

— Могу-ли?

А, может быть, иначе:

— Неужели — не могу?

А, может быть, просто заинтересовался вопросом:

— Что будет со мною, если я сделаю подлость?

В этом состоянии человека спокойно любопытствующего и удивленного самим собою я и встретил Симонова.

— Разумное решение, — сказал он, выслушав меня, потом озабоченно начал говорить, что я «напрасно напутал с этим комиком, Попенко».

— В дело ввязалась полиция. Ну, да это мы устроим. По обычаю надо подписать вам вот эту бумажку.

Неожиданно для себя, я спросил:

— Как вы полагаете, — струсил я?

Симонов не сразу ответил, он сначала закурил папиросу об окурок старой.

— Нет, этого я не полагаю. Можете верить, я этого не думаю. Но — не время говорить об этом.

И все-таки мы говорили долго, вероятно час или больше, говорили, стоя друг пред другом. Странное осталось у меня впечатление от этой беседы: каким-то острым углом моего разума я понимал, что Симонов удивлен легкостью и быстротою моего решения не меньше, чем я сам, что он не верит мне, мое спокойствие не нравится, непонятно ему так же, как мне; наконец я чувствовал, что ему хотелось-бы чем нибудь испугать меня, но он понимал, что испугать меня нельзя.

Мне казалось, что все, что говорит он — «ни к чему». Так «ни к чему» он сообщил, что полковник Осипов весьма восхищался остротой и независимостью моего ума. Я спросил:

— Жив он?

— Умер. Хороший человек был.

— Да, — согласился я.

Симонов отогнал дым от лица резким движением руки и настойчиво добавил:

— Мечтатель был. Что называется — романтик.

— Да, да, — снова согласился я и сказал, что Попов повесился сам, хотя и по моему настоянию. Симонов пожал плечами:

— Пусть будет так.

Все это было неправдоподобно и в то же время все было правдой, умом я хорошо понимал — все правда. Но ум, наблюдая откуда-то со стороны, молчал, ничего не подсказывая, только любопытствуя.

— Так то, Карамора! — говорил я сам себе. — Значит: направо кругом — марш?

Может быть я все еще ждал, что кто-то крикнет мне:

— Стой. Куда ты?

Никто не кричал.

Первое время, — месяц, два, — только Симонов выделялся из неправдоподобного своей резко подчеркнутой реальностью.

Человек лет пятидесяти, среднего роста, плотный. Седые волосы подстрижены бобриком. Неопределенной формы — «русский» — нос, мягкий, красноватый; небольшие, приличные усы. Глаза светлые, спокойные, даже немножко сонные. Людей такого облика очень много, их встречаешь часто, они водятся во всех сословиях, служат во всевозможных учреждениях, живут на всех улицах, по всем городам. Я привык смотреть на таких людей как на заурядных и обыденных.

Но вот эта обыденность внешности и придавала Симонову в моих глазах особенно твердую реальность, среди всего необыкновенного, чем я жил и что делал. Во всем, что он говорил обнаруживалось уже знакомое мне отношение наймита, чиновника, которому или непонятны, или совершенно чужды основные и конечные цели его работы. Плохо осведомленный в вопросах истории и политики, он относился совершенно равнодушно к интересам монархии, царя, ко всему, что он призван был за-

щищать и со вкусом, с удовольствием поругивал буржуазию.

Я спросил: почему он взялся за это беспокойное дело?

— Очевидно — из удовольствия делать его, — сказал он своим хриплым, неглубоким басом, постукивая мундштуком папиросы о крышку портсигара и усмехнулся ленивой, как-бы вынужденной усмешкой, продолжая:

— Вы — революционер для своего удовольствия, а я, для моего, враждую с вами, ловлю вас, поймал. Поймал и предложил: давайте охотиться вместе. Вы — согласились. И — отлично. Мне стало еще интереснее.

Тут я впервые, но еще смутно, почувствовал что-то неладное, неверное в нем и вскоре убедился, что под заурядной внешностью этого человека шевелятся мысли не совсем обыкновенные, или, пожалуй, обыкновенно-обывательские, но отточенные чрезвычайно остро.

Я пробовал говорить с ним на тему о неравенстве людей, этом, как говорят, единственном источнике всех несчастий жизни, он пожимал плечами, дымил папиросой и спокойно отвечал:

— А я причем тут? Это не мною устроено и мне до этого дела нет. И вам — тоже. Испортили вас интеллигенты. Не те книги читали вы. Вам-бы почитать «Жизнь животных», Брэма.

Всегда в зубах его торчала папироса, пред лицом стояло облако дыма, он щурил глаза, смотрел в потолок и говорил лениво:

— Самое большое удовольствие — одурачить, обыграть человека. Вспомните-ка детские игры и, начиная с них, просмотрите всю жизнь: игра в бабки, в мяч, потом игра с девицами, игра в карты, вся жизнь — в игре.

Среди вашего брата заметно немало людей, которые играют самими собою.

Он напоминал мне этими словами фракционную и партийную борьбу, удовольствие которое часто испытывал я, когда мне удавалось «обставить» товарищей.

— Игра и охота, — вот это вещи, — говорил Симонов. — Будь у меня средства, я-бы уехал в Сибирь, в тайгу, медведей бить. А то и в Африку махнул-бы. Охота — великое дело. И суть вовсе не в том, чтоб убить, а чтоб выследить зверя, подержать его под прицелом, испытать в эти минуты свою, человечью, над зверем власть. Убивают всегда из корысти; ради удовольствия никто никого не убивает, только сумасшедшие, или в состоянии запальчивости, раздражения, но — это ведь тоже ненормально — запальчивость. В том и подлость убийства, что оно всегда корыстно.

Слушая его, я не очень верил ему, но думал:

— Так. Если жизнью командуют игроки и охотники, — что-же может помешать мне играть ими и самим собою?

В голове Симонова было какое-то темное пятно, мозговой вывих, затвердевшее место, мозоль.

— Игра. Охота, — говорил он, сводя всю жизнь к этим забавам, но я ему все больше не верил, зная, как ловко люди строят различные загородки, чтоб отделить себя от жизни, об'яснить свое нежелание работы на нее.

Как-то ночью, на конспиративной квартире, мы пили вино и Симонов сказал:

— У меня, батенька, был в руках один интеллигент, эдакий, похожий на привидение, так он мне проповедовал, что человек — это зверь, который сошел с ума, встал на дыбы и с этого момента началась история, та самая, что

вот и сегодня продолжается. Конечно, — парень этот сам был сумасшедший, но — мысль его недурна. История, говорит, это процесс лечения сумасшедшего зверя. Я, знаете, немало думал над этим, — мысль достойная внимания. Я даже думаю, что если-б это было возможно, так все порядочные, честные люди решительно отказались бы от участия в истории человечества. Но — как откажешься, куда убежишь? Ведь и отшельники и монахи неизбежно вовлекаются во всеобщую канитель.

Себя Симонов явно считал «порядочным» человеком, хотя и занимал в скверной истории определенно скверное место. Но напоминать ему об этом, указывать на это было бесполезно.

— Ну-у, — говорил он в ответ, — это наивно, батенька!

И возмущался:

— До чего испортили вас интеллигенты!

В его отношении ко мне было нечто подкупавшее меня, это был интерес к человеку во всей его полноте, во всем об'еме, так сказать — чистый интерес. Он жил вне служебного и корыстного, отдельно, независимо, как интерес «к человеку просто». Симонов смотрел на меня не как начальник на подчиненного, а как старший на младшего: не командовал, не приказывал, а предлагал и даже советовался:

— А как вы думаете, не пора ликвидировать этого нелегального?

И если я находил, что ликвидировать преждевременно, он, без спора, соглашался со мною.

Он питал ко мне чувство, которое я-бы назвал бережливостью. Может быть это было даже то чувство любви, которое питает охотник к хорошей собаке. Я пишу это без иронии, без горечи, я слышал умную пословицу:

«Самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть». Эта пословица очень умиротворяет запросы души.

Случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей. Ни одного человека, с которым я мог-бы свободно говорить о самом существенном, — о себе. Я, разумеется, пробовал говорить на эту тему, но разговоры в этом духе не удавались и не удовлетворяли меня. Не все зияния в душе можно заткнуть книгой, к тому же есть книги, которые очень зло расширяют и углубляют эти зияния. Редки люди, способные видеть, что все на свете имеет свою тень, и всякие правды, все истины тоже не лишены этого придатка, конечно — лишнего. Тени эти возбуждают сомнения в чистоте правд, сомнения-же не то, что запрещены, а считаются постыдными и, так сказать, неблагонадежными. Сомневающийся — всегда подозрителен; вот это, пожалуй, истина, лишенная тени.

Среди товарищей я имел репутацию человека идейно шаткого, капризного и — это хуже всего — склонного к романтизму, к «метафизике», как говорил товарищ Басов, человек, с которым я встречался чаще, чем с другими.

— Революционер обязан быть материалистом; материализм — это воля, совершенно очищенная от всего неразумного, иррационального, — говорил товарищ Басов, подчеркивая р; я понимал, что Басов говорит правильно, однако, по антипатии к нему, не соглашался с ним.

Симонов — человек, с которым можно было говорить о чем угодно, он умел внимательно слушать и никогда не стеснялся сознаться, что — этого он не понимает, этого — не знает, а иногда прямо говорил:

— Это мне не нужно знать.

К моему удивлению не нужным оказался для него Бог, к удивлению, потому что я думал — он верующий.

— Странно, что вы спрашиваете об этом, — сказал он, пожав плечами. — Какой там Бог, когда у нас, у каждого, по четырнадцати аршин кишок в животах? И, затем, если — Бог, то, ведь и верблюд и щука, и свинья должны чувствовать его, — понимаете? Ведь человек тоже животное. Разумное? Ну, разумных животных немало и кроме человека, к тому-же установлено, что в этом деле разум не причем: Бог постигается не разумом. Ну, чего-ж. Вы-бы почитали Брэма, право!

Изумлялся:

— Как испортили вас интеллигенты!

— Ну, а если-б не испортили, — чем-бы я был, на ваш взгляд?

Очень внимательно посмотрев на меня, он сказал:

— Н-не знаю. Может быть изобретателем каким-нибудь? Не знаю. Вы очень странный.

Вообще-же Симонов был человек не живой, какой-то плохо выдуманный и, должно быть, очень одинокий. Словоохотливый, он был скуп на жесты, руки его двигались медленно, смеялся он редко и чувствовалось, что он глубоко равнодушен к жизни, к людям. А за всем этим он был ленив, возможно — ленив ленью усталости.

Я скоро убедился, что все, что он говорил о наслаждениях охоты, игры, выдумано им для себя, взято с чужих слов. Охота на людей не увлекала его. Имея помощников в лице провокаторов, он вполне удовлетворялся этим и личную инициативу почти не проявлял. В сущности, если-б я этого хотел, я наверное мог-бы ничего не делать, а просто рассказывать Симонову анекдоты из партийной жизни, из быта революционеров. Анекдотиче-

ская сторона революции интересовала его, пожалуй, больше самой сути дела; анекдоты он выслушивал всегда внимательно и чем глупее был анекдот, тем более широкую улыбку вызывал он на удручающе бесцветном лице Симонова. Однажды он заметил, вздохнув:

— А Попенко рассказывал эти штуки забавнее, чем вы. Он говорил, как Брэм.

«Как Брэм» — это наивысшая похвала в устах Симонова. «Жизнь животных» он читал всегда, как немец-менонит Библию.

Как-то я спросил его:

— Почему вы называете Попова — Попенко?

— Так вижу, — ответил он. — Каждый видит по своему. Попов должен быть выше ростом и — руки у него длиннее.

Была у Симонова только одна черта или привычка, возбуждавшая у меня неприятное и подозрительное чувство: иногда он, среди беседы, вдруг точно проваливался в неизвестное и непонятное мне. На безличном лице его являлась важная, но глупая гримаса, зрачки нелепо расширялись, он сосредоточенно и строго, как гипнотизер, смотрел на меня, но я чувствовал: видит он что-то другое, почти страшное. И при этом он, спрятав руки под стол, шевелил ими так, что мне казалось: он незаметно достает револьвер, чтоб застрелить меня. Эти припадки внезапной, немой задумчивости, провалы человека в неведомое и недоступное мне, были очень часты у него и всегда я чувствовал себя нехорошо во время них.

Потом я стал думать, что в Симонове скрыто что-то значительное, таинственное, такое человеческое, чего он сам боится. Я ждал, что он откроет предо мною это и

мой интерес к нему становился все более напряженным, ожидающим.

Есть теории добра: Евангелие, Коран, Талмуд, еще какие-то книги. Должна быть и теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Все надо об'яснить, все, иначе — как жить?

Вчера я написал:

«Если-б я хотел, я мог-бы ничего не делать», — иными словами: я мог-бы не выдавать товарищей. Более того: мне легко было-бы делать кое-что полезное для них. Я и делал, но сделав, чувствовал, что это мне не нужно и не может ничего изменить внутри меня.

Я — выдавал. Почему? Вопрос этот я поставил пред собою с первого-же дня службы в Охране, но ответа на него не находил. Я все ждал, что внутри меня вспыхнет протест, «заговорит совесть», но совесть молчала. Говорило только любопытство, спрашивая:

— Что-же будет дальше?

Я очень настегивал себя, пытаясь разбудить чувство, которое осудило бы меня, сказало мне решительно:

— Ты преступник.

Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, отвращения, раскаяния или, хотя-бы, страха. Нет, ничего подобного я не испытывал, ничего, кроме любопытства; оно становилось все более едким и, пожалуй, тревожным, выдвигая разные вопросы, например:

— Почему так легок переход от подвигов героизма, — к подлости?

Неужели прав дряненький Попов, сказавший:

— «Если борьба, так уж герои с обеих сторон».

Но «героем» я был в прошлом, а теперь чувствовал себя только человеком, который принужден, обязан решить темный вопрос: почему, делая подлое дело я не чувствую отвращения к себе? Этот вопрос я ставил пред собою и так, и всячески, на сотню ладов.

Потом я стал думать: а вдруг Симонов — прав, жизнь — дело сумасшедшего зверя, все в ней — пустяки, игра, а я, действительно, испорчен интеллигентами, книгами? Вдруг все эти «учителя жизни», социалисты, гуманисты, моралисты — врут; никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми — выдумка и вообще ничего нет, кроме людей, каждый из них стремится жить за счет сил другого и это дано навсегда.

Ничего нет, все выдумано, все лживо, а я призван открыть ложь, я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты, жизнь действительно голая, зверячья борьба и незачем сдерживать, — главное, нечем сдержать эту борьбу. Я первый открыл, что у человека нет сил протестовать против подлости в себе самом, да и не надо протестовать против нее: она — законное и действительное орудие взаимной борьбы.

Есть очень злая сказка: народ единодушно восхищался красотою и богатством одежд короля, а мальчишка вдруг закричал:

— Король-то совсем голый!

И все тотчас увидели: да, король гол и уродлив.

Может быть это я и должен сыграть роль зоркого мальчишки?

Мысли этого порядка особенно настойчиво одолевали меня в четырнадцатом году, когда началась анафемская

война и все человеческое соскочило с людей, как чешуя с протухшей рыбы.

Прочитав написанное мною сейчас, я вижу, что все это — не то, что надо, не так рассказано. Я изобразил себя человеком, который запутался в мыслях, философствуя, вывихнул себе душу, умертвил в ней все то человеческое, что считается добрым, хорошим. Нет, это — не то, не так.

Мысли, несмотря на их обилие, никогда не смущали и не соблазняли меня. Они представляются мне пузырями на поверхности кипения чувств: вздуваются пузыри, лопаются, исчезают, заменяясь другими. Только те мысли живучи и действенны, которые заряжены чувством; когда они заряжены, я их физически ощущаю, тогда мысли, как пальцы, хватают, подбирают и перемещают факты, лепят, строят и, оплодотворенные чувством, в свою очередь рождают новые чувства.

Одна, сама по себе, не оплодотворенная чувством, мысль играет с человеком, как проститутка, но совершенно не способна изменить что-либо в человеке. Конечно, иногда и проститутку искренно любят, но — естественнее относиться к ней осторожно: обворует, заразит.

Девятнадцать лет жил я среди однообразно мыслящих людей, жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски. Эта окраска не удовлетворяла меня, она казалась мне скучной, безрадостной, как осенний, непогожий день.

Но я видел, что люди так крепко взнузданы излюбленной ими мыслью именно потому, что она прочувствована насквозь, вошла в плоть и кости людей. Эта мысль —

не пузырь, а — туго сжатый кулак, мысль, верующая в свою силу.

В седьмом и четырнадцатом годах, наблюдая, как легко люди отходят от своих верований, я убедился, что в них чего-то нет и никогда не было. Чего? Чувства физической брезгливости к тому, что отрицалось их мыслью? Не было привычки жить честно?

Вот здесь, я, кажется, поймал что-то верное: привычка жить честно, это как раз то самое, чего не хватает людям. Этой привычки не хватало и товарищам моим. Быт их противоречил «убеждениям», «принципам», — догматам веры. Это противоречие особенно резко обнаруживалось в приемах фракционной борьбы, во вражде между людьми одинаковой веры, но различной тактики. Тут находил себе место бесстыднейший иезуитизм, допускались жульнические подвохи и даже подленькие приемы азартных игроков, увлеченных игрою до самозабвения, играющих уже только ради процесса игры.

Да, да, — привычки жить честно нет у людей. Я, разумеется, понимаю, что большинство их не имело и не имеет возможности выработать эту привычку. Но те, кто ставит пред собою задачу перестроить жизнь, перевоспитать людей, — ошибаются, полагая, что «в борьбе все средства хороши». Нет, руководясь таким догматом, не воспитаешь в людях привычку жить честно.

А может быть, настало время сделать все возможные подлости, совершить все преступления, использовать сразу все зло, для того, чтоб, наконец, все это надоело, опротивело, ужаснуло и погибло?

Странное дело. Никак не могу не связывать себя с кем-то, или с чем-то, с людьми или событиями. Не могу

и — это очень похоже, всетаки, на попытку оправдать себя, попытку скрываемую мною неискусно.

А между тем я совершенно лишен желания оправдываться, это я и знаю, и чувствую. Это не из гордости, не из отчаяния человека, который изломал свою жизнь непоправимо. Не потому, что я хотел-бы крикнуть: да, я преступник, вы — тоже, но у вас — сила, убивайте!

Мне кричать некуда, некому. Людей я не чувствую, они мне не нужны.

Все эти невольные попытки самооправдания мешают мне открыть главное, чего я ищу: почему в душе моей не нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, ничего, что остановило-бы меня на пути к предательству? И почему я сам себя не могу осудить? Почему, называя, сознавая себя преступником, я, по совести, не чувствую преступления?

Если мои записки имеют цель, так только эту — разрешить вопрос, отчего я так несоединимо и навсегда расклеился?

Я уже писал: я беспощадно нахлестывал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал Охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего. Я очень уважал его за чистоту души, за бодрость духа, неутомимость в работе, добродушие и веселый характер. Он только что бежал из тюрьмы и третий раз работал нелегально. Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвоет.

Ничего не взвыло.

Симонов угощал меня красным вином какого-то необыкновенного вкуса и запаха, угощал и говорил:

4*

— Хотите перевестись в Москву или Петербург? Здесь для вас уже мелка вода. Меня, вероятно, тоже скоро переведут в одну из столиц.

— Петр Филиппович, — спросил я, — как вы думаете: почему я стараюсь?

Он, по обыкновению, ответил не сразу, сначала внимательно посмотрел на меня, потом в потолок; пожал плечами:

— Не знаю. На деньги вы не жадны, честолюбия у вас — незаметно. Из чувства мести? Не похоже. Вы, в сущности, добряк.

Улыбаясь, он продолжал осторожно:

— Не первый раз вы спрашиваете меня об этом, а я уже говорил вам: вы — человек странный. Может быть вы немножко сумасшедший? Тоже, как будто, нет. Ну, а сами-то вы знаете: из за чего-же?

Тогда я кратко рассказал ему, в чем дело. Он слушал меня внимательно, молча; слушал и жег папиросы одну за другой. А когда я кончил, Симонов равнодушно сказал:

— Ну, это, знаете, даже опасно. Ф-фа, до чего испортили вас эти чортовы интеллигенты.

И зажигая новую папиросу, он вздохнул:

— Эдак-то вы, пожалуй, застрелите меня. Что-ж вам еще осталось? Только одно: убить кого-нибудь. Тогда, может, и вздрогнете, закричите.

Он встал, налил вина и, стоя затылком ко мне, разглядывал вино на свет, досадно обыкновенный человек, в этот час — более обыкновенный, чем всегда. Так он стоял долго, пока я не догадался, что наступил обычный его припадок, провал в непонятное мне.

— Что с вами ?

Он медленно обернулся, сел, выпил вино, вздохнул, закурил.

— Выдумали вы, батенька, всю эту внутреннюю канитель, — сказал он. — Выдумали, да ! Это — для развлечения. Я — знаю это. Сам, иногда, лягу спать, а — не спится и воображаю себя то отчаянным злодеем, то святым человеком. Забавляет. А чаще всего, — фокусником, эдаким исключительным, эксцентрическим фокусником.

И вдруг, облокотясь на стол, оживленный, каким я его никогда не видал, Симонов начал рассказывать хриплым своим баском :

— Знаете, — чудеснейшим фокусником вижу я себя. Прежде всего : я выхожу на сцену в трико, — понимаете? Как акробат. Никаких карманов.

Он улыбнулся улыбкой счастливого человека, глупо и смешно подмигнул мне.

— Вдруг в руках у меня утка. Я пускаю ее на пол, она ходит по сцене, крякает и — кладет яйца! Понимаете ? Положит, а из яйца вылупился поросенок, положит другое, а из него — заяц, из третьего — сова и так штук десять. Вообразите состояние публики, а ? Все встали с мест, протирают глаза, смотрят в бинокли, — изумление. Все чувствуют себя дураками, а особенно — губернатор, каково губернатору чувствовать себя при публике идиотом, а? Вдруг — у меня две головы! Я закуриваю сигары, — две ! Но — дыма нет, а потом дым идет из пальцев ног, — воображаете ? А по сцене прыгает заяц, бегает поросенок, дико вытаращенными глазами смотрит на людей ослепленная огнем рампы сова, еще ка-

кие-то животные мечутся, их становится все больше — кавардак!

И вытаращив бесцветные глаза, начальник Охранного отделения Петр Филиппович Симонов, борец против революции, сказал с глубочайшим убеждением, почти с восторгом:

— Чорт знает, до чего можно одурачить людей! Чорт знает как.

Слушая его нелепый бред, я чувствовал себя идиотом. Он не был пьян, пил не мало, но никогда не хмелел.

Я спросил его:

— Об этом вам и думается, когда вы, вдруг, точно засыпаете во время беседы, как будто проваливаетесь куда-то?

— Об этом, — сказал он, кивнув головою. — Это на меня находит внезапно. Как-то даже на докладе, в Департаменте Полиции, вдруг мне представилось, что я могу написать в воздухе пальцем мою фамилию огненными буквами. И — что-ж вы думаете? Начал писать вижу, — выходит! Горят в воздухе перед лицом директора огненные буквы: Симонов, Симонов... Смотрю на директора и удивляюсь: неужели он не видит этого? А он спрашивает меня: — Что с вами? Вам дурно? Испугался, конечно.

Тихонькое безумие сияло в глазах Симонова и от этого лицо стало, как будто значительнее.

Питая некую надежду, я спросил:

— А больше у вас ничего нет?

Он тоже спросил меня:

— Что вы хотите сказать?

Странно умер он: ночью, часа два сидел со мною, совершенно здоровый, а в четыре часа дня умер в саду, лежа в гамаке.

Приходил товарищ Басов и с ним еще какой-то рыжий, с забинтованной головою:

— Не узнаете меня, Карамора? — осведомился он.

Оказалось: один из тех, которым я устраивал побег. Не помню его. Их было трое в тюрьме.

Басов спросил: служил-ли я уже в Охране, устраивая этот побег? Глупый вопрос. По документам Охраны они должны знать, что уже служил.

Поговорив со мною полчаса тоном праведных судей, — как и надлежало — ушли.

Пожалуй, они оставят мне жизнь. Интересно: что я буду делать с нею? Вот, тоже вопрос: жизнь дана во власть человеку, или человек дан жизни на с'едение? И чья это затея — жизнь? В сущности: дурацкая затея.

Да, я, служа в Охране, разрешал себе устраивать товарищам маленькие удовольствия: побег из тюрьмы, побеги из ссылки, устраивал типографии, склады литературы. Но двурушничал не для того, чтоб упрочив их доверие ко мне выдавать их жандармам, а так, для разнообразия. Помогал и по симпатиям, но, главным образом, из любопытства: что будет?

Говорят, есть в глазу какой-то «хрусталик» и от него именно зависит правильность зрения. В душу человека тоже надо-бы вложить такой хрусталик. А его — нет. Нет его, вот в чем суть дела.

Привычка честно жить? Это — привычка правдиво чувствовать, а правда чувствований возможна только при полной свободе проявлять их, а свобода проявления чувств делает человека зверем или подлецом, если он не догадался родиться святым. Или — душевно слепым. Может быть — слепота, это и есть святость?

Я не все написал, а все, что написал — не так. Но — больше писать не хочется.

Уголовные поют «Интернационал», надзиратель в коридоре тихонько подпевает им. У него смешная фамилия — Зудилин.

Была у нас в комитете пропагандистка, Миронова, товарищ Тася, удивительная девушка. Какое ласковое, но твердое сердце было у нее. Не скажу, чтоб она была красива, но человека милее ее я не видал. Почему я вдруг вспомнил о ней? Я ее не выдавал жандармам.

Поток мысли. Непрерывное течение мысли.

А что, если я, действительно тот самый мальчишка, который только один способен видеть правду?

— Король-то совсем голый, а?

Опять лезут ко мне. Надоели.

Николай Оцуп

СТИХИ

Ты говорила: мы не в ссоре,
Мы стать чужими не могли.
Зачем же между нами море
И города чужой земли?

Но скоро твой печальный голос
Порывом ветра отнесло.
Твое лицо и светлый волос
Забвение заволокло.

И прошлое уничтожая
Своим широким колесом, —
Прошел автобус, и чужая
Страна простерлась за окном.

Обыкновенный иностранец
Я дельно время провожу:
Я изучаю модный танец,
В кинематограф я хожу.

Летит корабль. Мелькает пена.
Тебя увижу я сейчас.
Но это только сон. Измена
Навеки разлучила нас.



ЧАСЫ

Пролетка простучала за окном,
Прошел автобус, землю сотрясая,
И часиков легчайшим шопотком
Заговорила комната ночная:

«Секундочки, минуточки лови».
— А если не хочу я, о Создатель,
Такой короткой и слепой любви! —
И пальцы повернули выключатель.

И мгла ночная показалась мне
Небытием, но в чудном мраке снова
Светились бледные, как при луне,
Черты лица, навеки дорогого.

Пройдут как волны надо мной века,
Затопят все мои земные ночи,
Но там воскреснут и моя тоска,
И верные, единственные очи.

*

*

Трамваи стали проходить,
За шторой небо розовеет.
Не надо спящего будить,
Сегодня мир оцепенеет.

На том конце одним толчком
Земля раскрылась, как могила,
И океаном и огнем
Обломки зданий окатило.

А здесь последней тишины
Никто не слышит — блещут вина,
Жокей мелькает вдоль стены,
За рампой тает балерина.

И ты, красавица, среди
Голубоватого тумана
Танцуешь с розой на груди
Фокстротт под звуки барабана.

В тюрьму, в могилу, в лазарет!
Туда ль исчезло все живое
За эти девять страшных лет?
Иль я, мечтая о покое,

Свою усталость перенес
На мир, попрежнему счастливый,
Проснувшийся от черных грез
Под легкой музыки мотивы?

*

РАЗГОВОР

— Мне жалко вас. Как изогнулась бровь.
Вы первый раз в такой печали.
Что с вами ? Неудачная любовь ?
Иль вы на бирже потеряли ?

— О нет. Мои доходы велики.
Жена мила и ценит положенье,
Могу я и законам вопреки
Любому делу дать движенье.

Но мне сегодня в темноте ночной
Приснилась темень гробовая,
И слабое под белой простыней
Стучало сердце, не переставая.

— И это все ? И я бывал знаком
С такими неприятностями : или
Шалит желудок, или перед сном
Вы порошки принять забыли.

Те оба человека на земле
Еще десяток лет просуетятся.
Душа, и днем и ночью ты во мгле,
К которой им нельзя и приближаться.



ЛЕВ ЛУНЦ
Род. 2. V. 1901 — † 9. V. 1924

М. Горький

ПАМЯТИ Л. ЛУНЦА †

Лев Лунц умер 9-го мая — умер в санатории около Гамбурга, от какой-то неопределенной болезни «развившейся на почве нервного истощения», как сказали мне. Он знал, что умирает. Умер тихо, без мук, без стонов и жалоб.

Он прожил только двадцать два или двадцать три года. Ученик профессора Петрова — кафедра романской литературы — он, кончив университет, был командирован советом профессоров в Испанию для изучения испанской литературы. Заграницу он выехал уже больным и пролежал в санатории около года. За это время им написана пьеса, напечатанная здесь.* Кроме нее он написал еще несколько пьес: «Обезьяны идут», «Вне закона» и «Бертран де Борн». Из его рассказов я особенно люблю один: «В пустыне»; это прекрасно написанная стилизация библейской легенды об исходе евреев из Египта.

Я уверенно ожидал, что Лев Лунц разовьется в большого, оригинального художника, — он обладал бесспорным талантом драматурга. Живи он, работай и, наверное, — думалось мне — русская сцена обогатилась бы пьесами, каких не имеет до сей поры. В его лице погиб юноша, одаренный очень богато, — он был талантлив, умен, был исключительно — для человека его возраста — образован.

В нем чувствовалась редкая независимость и смелость мысли; это качество не являлось только признаком юности, еще не искушенной жизнью, — такой юности нет в современной России, — независимость была основным, природным качеством его хорошей, честной души, тем огнем, который гаснет лишь тогда, когда сжигает всего человека.

В кружке «Серапионовых братьев» Лев Лунц был общим любимцем. Остроумный, дерзкий на словах, он являлся чудесным товарищем, он умел любить. Трудные 19-ый и 20-ый годы, когда «Серапионовы Братья» — как все в блокированной России — голодали и некоторые из них целыми днями старались неподвижно лежать, чтобы хоть этим приглушить сжигающую боль голода, Лев Лунц был одним из тех, кто думал о друге своем больше, чем о себе.

Тяжело писать об этой горестной утрате, о безвременной гибели талантливого человека.

Лев Лунц †

ГОРОД ПРАВДЫ

Пьеса в 3 действиях

ПРЕДИСЛОВИЕ

Героями этой пьесы, по замыслу автора, являются не отдельные лица, а ДВА НАРОДА, две толпы: солдаты и жители города Равенства.

Горожане все похожи друг на друга, одеты одинаково, ступают в ногу, говорят глухо и резко, монотонно. Все сливаются в одну массу.

Солдаты — каждый особенный. Одежда, голоса, движенья, у каждого свое, непохожее на других. Эта толпа в каждой сцене меняется. От грубой мужицкой перебранки переходит к высокопарной речи. Перед каждой сценой, перед каждым переломом стиля, — пауза и, обычно, перемена в освещении сцены.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

КОМИССАР.
ДОКТОР.

УГРЮМЫЙ ТОЛСТЫЙ ВЕСЕЛЫЙ МОЛОДОЙ СТАРЫЙ 1-ЫЙ 2-ОЙ 3-ИЙ 4-ЫЙ 5-ЫЙ	Солдаты.

ВАНЯ

Жители города Равенства:

1-ЫЙ 2-ОЙ 3-ИЙ	Старейшины.
1-ЫЙ 2-ОЙ 3-ИЙ	Юноши.

ДЕВУШКА.
МАЛЬЧИК.

*

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ (ПРОЛОГ)

Сцена 1-ая

(Занавес подымается. Ночь. Темно. Луна освещает толпу солдат, окруживших Комиссара. Все — изможденные, усталые, оборванные. Одеты во что попало. На одних отрепья старой солдатской походной формы, другие — завернуты в звериные шкуры. Ружья не у всех, — у некоторых старинные пики и даже секиры. Все возбуждены, напирают на Комиссара; сзади сидит Доктор, спокойный, улыбается).

ТОЛПА. В Россию!

КОМИССАР. (Сначала говорит нервно, волнуясь, потом все увереннeй, доходит до настоящего пафоса).

Там! там! там-Россия! Что сзади? Китай, желтый, будь он проклят! Пять лет погибали мы у косоглазых, у чужих, как волы работали. Будет, домой! А домой что, дома?.. Слышали, что рассказывали ходоки? Дома — правда, и по правде люди живут. И все равны. Только работай, слышь, работай, — и нет никого лучше тебя. Никто не скажет: «Я богаче тебя», — денег нет больше, нет мошны. И никто не скажет: «Я знатней тебя», — одна кровь у всех, красна кровь у всех. Хочешь землю пахать — твоя земля! Хочешь мастером стать — твой станок! Нет тебе отказу: работай и ешь — не хочу! Нет больше разбоя и воровства, и нет судов и тюрем, и налогов, и солдат. Не течет больше кровь — мир! Мир в избе, мир в доме и в поле, и во всей стране. Потому все люди равны.

ДОКТОР (зло смеется. Все смолкают. Пауза. Настроение падает).

НЕУВЕРЕННЫЙ ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ СОЛДАТ. Но я голоден!

ДРУГОЙ ГОЛОС. Как голоден!

ТОЛПА (подхватывая). Устал! устал! мы были сыты там! а здесь смерть!

УГРЮМЫЙ СОЛДАТ. Красно говоришь — накорми!

ТОЛПА. Накорми! накорми! накорми! Ты вывел нас оттуда — накорми! Мы уже обжились там.

УГРЮМЫЙ. Наши жены остались — там.

ТОЛПА (с яростью). Жена! жена! Шесть недель! Назад! Зачем ты увел? Назад! Не пойду дальше! И я! И я! Назад! Назад! Назад!

(Обступают вплотную Комиссара).

КОМИССАР. Голодны? Устали? Еще голодней будете! Мочу пить будете! Блевотину есть! Но — дойдете.

ТОЛПА (напирая). Врешь! Не пойду!

КОМИССАР. Не хотите? Как хотите! Ступайте назад. Через пустыню Гоби. Пустыню Гоби, слышите? Шесть недель шли мы сюда, — шесть недель пути назад. Дойдете? дойдете? Нет, братики, сдохнете... Может, ты дойдешь, или ты, или ты? Шесть недель через пустыню Гоби!

(Толпа сумрачно молчит).

Замолчали? Что ж так? Что ж не бьете меня? Убейте. Но помните: назад не дойдете.

(Толпа отступает).

КОМИССАР (с пафосом). Но туда, вперед, дойдете! Один день осталось итти, — неужто бросим все, повернем? Один день, один день! Вы вспоминаете хлеб, который ели в Китае? А вы помните, как вы рабо-

тали, помните пот на теле и кровь на губах? Забыли? Забыли, как вы плакали о родине вечерами у огня?.. Жены, говорите вы? А разве не там в России ваши жены? Не маленькие, не желтые, молчаливые, как рыбы, а настоящие ваши жены, русые и большие? Разве забыли вы ваших детей, родных детей, белобрысых, курносых, с вашими глазами, с вашей кровью!.. Через день, один день, — дети!

ТОЛПА. В Россию!

КОМИССАР. А голод?

ТОЛПА. В Россию!

КОМИССАР. А хлеб, который вы ели у желтых?

ТОЛПА. В Россию!

КОМИССАР. А жены, с которыми вы спали в Китае?

ТОЛПА. В Россию!

КОМИССАР. Так слушайте! Первого, кто возропщет, — я убью того! И еще раз слушайте: первого кто споткнется, — я убью того! Только здоровые дойдут, — больным смерть!

ТОЛПА. В Россию!

КОМИССАР. Победа! (ш а т а е т с я). Шабаш, ребята! Ночевка. (Х о ч е т и т т и, н е м о ж е т). Ваня! (В а н я п о д б е г а е т). Отведи меня, милый, на мою шинель... Я устал, я только теперь, я...

(З а с ы п а е т н а В а н и н о м п л е ч е).

ВАНЯ. Комиссар! Эй, Комиссар, слышь?

СТАРЫЙ СОЛДАТ. Уснул, сердечный, устал.

ДОКТОР. Есть с чего устать. Трое суток не спал, боялся, чтобы не убили его — вы!

СТАРИК. А, доктор. И ты тут.

(О т в о д я т К о м и с с а р а в у г о л, к л а д у т н а ш и н е л ь).

КОМИССАР. (Во сне, кричит) А! а! а!

ВАНЯ (подбегая). Комиссар!

КОМИССАР. Ваня! Ваня! (Прижимается к нему)

ВАНЯ (нежно). Тут я! вот я!

КОМИССАР. Ваня! Ты один, ты любишь меня... Защити меня, если эти... Вот я спать пойду... А если они начнут — разбуди меня, чтобы не убили... Ваня... (Засыпает).

ВАНЯ. Спи, спи... (Укладывает его, отходит в сторону к остальным солдатам).

ДОКТОР (стоя над Комиссаром). Страшный человек.

Сцена 2-ая

(Пауза. Луна прячется. Налево лежит Комиссар, спит. Лежит Доктор. Справа солдаты).

СТАРИК. Помолиться бы надо, братцы! (Молчание). Помолиться?

УГРЮМЫЙ. А ну тебя к лешему! Тоже в Россию собрался. В России Бога нет!

ВЕСЕЛЫЙ. В расход записан! (Дико хохочет один, никто его не поддерживает). (Молчание).

ВАНЯ. Дядя Яша! Дядя Яша! Спишь?

1-ЫЙ СОЛДАТ. Сплю.

ВАНЯ. А я не усну. Всю ночь не усну. Я все это думаю... Вот что Комиссар говорил. Дядя Яша, а?

1-ЫЙ СОЛДАТ. Отстань, прилипало.

3-ИЙ СОЛДАТ. Уж так устали, так устали, чортова матерь!

4-ЫЙ СОЛДАТ. А интересно бы знать, как там землю делят.

УГРЮМЫЙ. Без обмана не обойдется. Жульничество.

3-ИЙ СОЛДАТ. Почитай, земли-то и нет. Всю растащили.

УГРЮМЫЙ (радостно). Известное дело!

4-ЫЙ СОЛДАТ. И сколько это на брата дадут? Палестину-другую отрежут.

ВЕСЕЛЫЙ. Три аршина, вот тебе и Палестина. Хо-хо!

ВАНЯ. Дядя Яша, а дядя Яша!

1-ЫЙ. Ну, что тебе, егоза?

ВАНЯ. А ведь я то — Россию, там, — не помню. Маленький был. Как же так, дядя Яша?

1-ЫЙ. Выдерут — вспомнишь.

ВАНЯ. А, может, я ее и помню, а только не знаю, верно ли Россия, или приснилась. Мне всегда чудное снится.

УГРЮМЫЙ. Болван-парень.

ВАНЯ. Вся она — синяя, Россия. Вот так помню. И небо синее, и лес, и люди.

УГРЮМЫЙ. Болван и есть. Ненормальный.

1-ЫЙ. Ты постой, парень. Родители есть?

ВАНЯ. А не помню.

УГРЮМЫЙ. У, чорт! (Плюет).

1-ЫЙ. Дурак, посмотри на меня, вспомни: отец-папа, мама, помнишь?

ВАНЯ. Н-нет.

СТАРИК. Отшибли китайцы у малого память, забили — черти.

ВАНЯ (тихо). А вот есть у меня невеста!

(Хохот).

ТОЛСТЫЙ. Невеста? А ты знаешь, что такое невеста?

ВЕСЕЛЫЙ. Хо-хо! Насмешил ты, право, невеста? Где же она?

ВАНЯ. В России.

4-ЫЙ. Хороша, небось?

ВАНЯ. А я не помню.

(Хохот).

СОЛДАТЫ. Хорош суженый! Невесту забыл!

ВАНЯ (Просто). А вот не помню. Лицо у нее большое и белое. И вся она белая. Больше и не помню. (Воодушевляясь). Как увижу ее во сне, — так светло становится, как весной, а-а-а! Ростом она с меня, и тихая. А пойдет ко мне, так грудь ширится, и все в грудь, в мою, входит: и воздух, и деревья, и песок. (Тихо) Во сне это...

УГРЮМЫЙ. Ну, а если невеста, скажем, тебя не дождалась, замуж вышла?

ВАНЯ. Как замуж?

УГРЮМЫЙ. Очень просто. Тебя нет, она за другим...

ВАНЯ (вспылив). Так я их убью! (Хохот).

СОЛДАТЫ. Разошелся! Вояка! Ай да парень!

ВАНЯ. Убью! С ней, с невестой убью.

Сцена 3-ья

(Издалека, из тьмы — протяжный трубный призыв. Потом колокольный звон. Солдаты застывают — пораженные. Короткое молчание).

РОБКИЙ ГОЛОС. Что? что? это?

ВСЕ СРАЗУ. Слышал? слышал? Я слышал, колокол! И я! и я! что? что?

МОЛОДОЙ (вскакивая). Это — Россия! Солдаты! Мы дошли. Мы пришли, солдаты! Россия.

(Один шумный восторженный вздох — и все на ногах).

МОЛОДОЙ. Солдаты! дома! мы дома. Это наше, вот песок, земля — наша. Солдаты, наше!

(Вторично из тьмы колокольный звон. Солдаты, обезумевшие, бросаются друг на друга, целуются, некоторые чуть не плачут).

СОЛДАТЫ. Трубят! трубят! Колокол! Братики — во! Не плачь, дурак! Завтра — домой. Дома, домой! Комиссар? Комиссар не слышал! Комиссар! Дай спать! оставь! спит. Доктор, доктор, слышал?

ДОКТОР (резко и громко). Я ничего не слышал.

СОЛДАТЫ (опешив, на момент смолкают, потом все сразу). Как не слышал? Он не слышал. Россия! Как же так? Трубили! Мы пришли, дошли — Россия!

ДОКТОР. Чушь! (Встает с земли лениво).Какая Россия? Чушь, говорю я! Где Россия? Ночь, в темноте, трубили, вдруг? Бредите! Кто слышал?.. Я ничего не слышал, я не слышал... Кто? Ты? (Солдат отступает). Или ты слышал? Да кто же из вас слышал, чорт вас возьми!

(Солдаты, сбитые с толку, молчат).

ДОКТОР (ложась на место). Ложитесь-ка лучше спать. А утром посмотрим: никто ничего не слышал.

(Солдаты мрачно, молча ложатся).

ДОКТОР (тихо). Но я слышал, я! Значит, дойдут? — дошли! И найдут — рай. Назад, пока не поздно, назад! (Склоняясь над спящим Комиссаром). Думаешь, я поверил тебе, брехуну? Рай на земле, и все как один?.. Правда, справедливость, счастье?.. А если и так, если и верно, — так я не хочу твоего рая!.. Не

хочу, чтобы вы дошли — погибайте, и я с вами, но туда не пущу, нет, нет! Я ненавижу твой рай, не хочу! Назад! Пока не поздно, назад!

(Молчание).

Сцена 4-ая

СТАРИК. Помолиться бы, помолиться? (Молчание). Помолиться?

УГРЮМЫЙ. Пошел вон, дурак.

ТОЛСТЫЙ. Бог! Хо-хо! Лови ветер в поле.

СОЛДАТЫ (дразнят старика) А ну, дедушка, рассердись! А ну, накажи нас, безбожников! Что ж не молишься, а, а?

СТАРИК. И помолюсь, и помолюсь.

СОЛДАТЫ. Ой, страшно! Ой, страшно! Ой, помираю! (Смеются).

(Старик отходит в сторону и начинает молиться про себя, редко и широко крестясь).

СОЛДАТЫ. Что ж не громко? Дедушка? Боишься? А где ж твой Бог? Каков из себя? Дедушка, а ты грянь на нас громом!

(Старик спокойно молится дальше. Насмешки смолкают. Тишина).

1-ЫЙ СОЛДАТ (неуверенно, тихо). Насчет земли не забудь!

2-ОЙ (подхватывая). Чтоб живыми родных нашли, чтоб не забыли нас...

3-ИЙ. Про землю, про землю...

4-ЫЙ. И чтоб лес...

5-ЫЙ. И река...

(Солдаты один за другим окружают старика. Один Угрюмый ругается упорно).

УГРЮМЫЙ. Шпана! Попрошайки несчастные! Бараны! Врете: нет Бога, нет, жульничество!

(Никто не обращает на него внимания. Он молчит. Потом нерешительно встает, направляется к старику).

УГРЮМЫЙ. Ты того, все-таки — того, на меня ему не жалуйся... Конечно жульничество, а кто его знает... Слышь?

(Солдаты расходятся по местам).

(Молчание).

ДОКТОР (подходя к солдатам) Что не спится, друзья?

3-ИЙ. Куда там? Комиссар раздразнил.

2-ОЙ. Уж очень красно расписал...

УГРЮМЫЙ. Может, и врет...

1-ЫЙ. И скажите, пожалуйста, не уснуть: никак, никуда. Вот и доктор...

ВЕСЕЛЫЙ. Хоть доктор, а уснуть не может. Хо-хо-хо (хохочет).

2-ОЙ. И доктор человек.

3-ИЙ. Тоже ждет, домой хочет.

ДОКТОР. И нет, друзья! Я больше с голоду не сплю.

ГОЛОСА (изумленно). С голоду? с голоду?

ДОКТОР. А что, разве вам живот не свело?

4-ЫЙ. Свести-то свело...

2-ОЙ. Тоже люди.

1-ЫЙ. Вот сказал ты, доктор: «голод» — верно, голоден! А раньше нет, не замечал — все о родной стороне думал.

ТОЛСТЫЙ. Сторона стороной, а поесть тоже не мешает.

ДОКТОР. Еще бы! Который день впроголодь живем...

(Одобрительный гул).

ДОКТОР (вкрадчиво). Да уж что там ни говори, в Китае сыты были. Два раза в день ели.

2-ОЙ. Опять же чай, сахар...

СТАРИК. О Господи!

ТОЛСТЫЙ. Тьфу! (Плюет).

ДОКТОР. Как вспомнишь — пятница — отварное мясо с рисом и хлеба сколько хочешь.

3-ИЙ. Хоть плачь...

ТОЛСТЫЙ. А то баранина.

4-ЫЙ. Ну, подумаешь, баран...

ТОЛСТЫЙ. А баран чем плох?

2-ОЙ. Тоже человек...

УГРЮМЫЙ. Врет Комиссар, кто его проверит.

1-ЫЙ. Так-то так, а работа была каторжная.

ДОКТОР. Ну, работать всюду надо. Думаете в России нет работы?.. Днем и ночью. Тут хочешь — работай, хочешь — нет, а там должен: коммуна!

4-ЫЙ. Ну, а если упрешься: не хочу!

ДОКТОР. Убьют.

1-ЫЙ. Но-но? (Нерешительный ропот).

ВАНЯ (звонко, гневно). А стыдно, а стыдно, ребята. Комиссар правду говорил, Комиссар спит, а уж назад!.. Стыдно!

УГРЮМЫЙ. Белены об'елся, идиот несчастный!

ВАНЯ. Нет, я верю... Комиссар спит, а вы так...

1-ЫЙ. И то сказать...

2-ЫЙ. Только день и остался итти.

3-ИЙ. Завтра дома...

ВСЕ. Дома! дома! Завтра!

Сцена 5-ая

(Снова из темноты протяжный трубный призыв).

СОЛДАТЫ. Го! Труба! Го! Дома! дома! Пришли! (Окружая доктора). Слышал, доктор! Сволочь! Народ мутить будешь еще? Слышал теперь, ду-рак!...

ДОКТОР. Ну, слышал! Шакал воет. Воет в пустыне, ша-кал, вот и все.

(Солдаты смолкают, молчание).

ДОКТОР (громко смеется). А вы, дурачье: всему верите. Больно вам легко зубы заговорить. «Завтра дома». Ха-ха-ха!

СОЛДАТЫ. Как? как? Комиссар? Комиссар сказал.

ДОКТОР. Может, и так, а не верится. С чего, почему. Хотите мое слово слышать? — шесть недель мы шли, шесть месяцев осталось, да!

(Грозная пауза).

ДОКТОР. А в Китае бабы. Бросили мы их, как монахи стали. А кто его знает; придем в Россию, жене ждать надоело, другого завела, а там теперь блудить запрещено, о-о, строго!

ГОЛОС (из толпы). Бабу бы...

Сцена 6-ая

(Светает. На заднем плане, невдалеке — очертанья города: низкие дома, пальмы, башни. Никто со сцены не замечает города, но публика видит).

УГРЮМЫЙ (вскакивая). Назад!

ВСЕ. Назад! Не пойду дальше! Врет Комиссар! Назад! назад!

ВАНЯ (будит Комиссара). Комиссар, проснись, проснись, Комиссар!

КОМИССАР (*с трудом поднимаясь*). А?!

СОЛДАТЫ (*наступая на него*). Врешь! врешь! Не пойдем! Назад! Голоден! Сволочь! Не обманешь! Не пойдем! Не пойдем!

КОМИССАР. Молчать!

СОЛДАТЫ. Не пойдем!

КОМИССАР. Я говорю: молчать! (*Солдаты смолкают, нерешительно смотрят друг на друга.*

Доктор спрятался сзади).

КОМИССАР. Что? Что вам нужно? Пусть говорит один!

(*Солдаты мнутся, отступают*).

КОМИССАР. Что ж молчите? Говорите кто нибудь!

УГРЮМЫЙ. Ну, скажу. Я скажу. (*Толпа, обрадованная, напирает сзади*). Довольно ты нам, Комиссар, врал. Говори, когда дойдем? Завтра?

СОЛДАТЫ. Завтра? Отвечай: завтра! (*Затаив дыханье, ждут ответа*).

КОМИССАР (*спокойно*). А если нет? А если не через день, не через два, — через 22 дня дойдете, что тогда?

(*Крик отчаянья и ярости в толпе*).

УГРЮМЫЙ. А тогда, а тогда — накорми! Накорми!

СОЛДАТЫ. Накорми! Накорми! (*Напирают, впереди Угрюмый*).

КОМИССАР. Накормить? накормить? ешь! (*Стреляет в Угрюмого из револьвера, Угрюмый падает*).

ВЕСЕЛЫЙ. Вот так накормил! Хо-хо-хо!

(*Его дикий смех в полной тишине. Веселый вдруг перестает смеяться. Толпа с одной

стороны, Комиссар с другой,—напряженные, готовые к прыжку. Солнце взошло. Город виден отчетливо. В третий раз громкий близкий трубный призыв).

ВАНЯ (пронзительно). Город!.. (Все оборачиваются и застывают перед дивной картиной. Тишина. Три старика медленно входят).

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА (голос его резкий неприятный, монотонный). Город Правды и Равенства наш город. Мы одиноки в пустыне. Вы первые пришли — мир вам. Мы все равны. Мы работаем равно, живем равно. Вы искали правды, счастья, работы. Придите, работайте, живите с нами. (Медленно подходит к трупу Угрюмого). Что это?

КОМИССАР. Я убил его!

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА. Что такое «убил»?

ЗАНАВЕС.



ДЕЙСТВИЕ 2-ОЕ (КАТАСТРОФА)

Сцена 1-ая

(Площадь в Городе Равенства. Направо холм. На вершине холма площадка, открытая зрителям, от остальной сцены загороженная кустами. Налево небольшой каменистый пригорок. При поднятии занавеса на сцене темно. Восходит солнце: вершина холма направо освещена первыми лучами — остальная сцена во тьме. На вершине холма Юноша и Девушка целуются. Кусты раздвигаются, и Ваня с копьем в руках выска-

кивает. Бросает копье в Юношу. Копье пронзает обоих: и Юношу и Девушку. Они стоят один момент неподвижно. Потом падают. Так и лежат, мертвые, пронзенные копьем, освещенные солнцем. Ваня исчезает. Солнце освещает всю сцену).

Сцена 2-ая

(Налево, на пригорке, появляются Старейшины Города, ступают мерно в ногу).

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА. Снова солнце.

2-ОЙ. И новый день.

3-ИЙ. Да принесет он счастье.

(Садятся на землю).

1-ЫЙ. Мы старейшины в Городе.

2-ОЙ. Правим городом.

3-ИЙ. Пока не умрем.

1-ЫЙ. И тогда другие на наше место.

2-ОЙ. Править городом.

3-ИЙ. Пока не умрут.

1-ЫЙ. О чем беседа сегодня?

2-ОЙ и 3-ИЙ. Пришлецы.

1-ЫЙ. 20 дней здесь. Рады вы этому?

2-ОЙ и 3-ИЙ. Не рады.

1-ЫЙ. Говорите.

2-ОЙ. Чужие, не похожи на нас. Не схожи между собой. Каждый особенный.

2-ОЙ и 3-ИЙ. Это не люди.

2-ОЙ. Беспокойные и громкие. Говорят много и суетливо. Язык мягкий, мысли странные. Обрывают слова, не кончают мысли, спешат дальше.

2-ОЙ и 3-ИЙ. Это не люди.

2-ОЙ. Работают неровно. Один день все, другой — ничего. С работы убегают. Спят не во время, едят не во время.

2-ОЙ и 3-ИЙ. Нет порядка и закона. Это не люди.

1-ЫЙ. Что делать с ними?

2-ОЙ и 3-ИЙ. Прогнать.

2-ОЙ. Погубят город.

3-ИЙ. Разобьют порядок.

2-ОЙ. Совратят юношей.

2-ОЙ и 3-ИЙ. Прогнать. (Короткое молчанье).

1-ЫЙ. Подождем. (Вставая). Мы сказали.

2-ОЙ и 3-ИЙ (вставая). Мы сказали. (Медленно уходят).

Сцена 3-ья

(Солнечный свет ярче. Девушка, за ней Молодой Солдат).

МОЛОДОЙ. Постой, девушка! Куда ты от меня?

ДЕВУШКА (говорит глухо, как все горожане). Работа.

МОЛОДОЙ. Работа подождет. А губы ждать не могут.

ДЕВУШКА (порывается уйти). Работа.

МОЛОДОЙ. Не ты ли целовала меня вчера?

ДЕВУШКА. Сейчас работа.

МОЛОДОЙ. Забудь ее.

ДЕВУШКА (изумленно). Для чего же жить — без работы?

МОЛОДОЙ. Чтоб любить!.. О, девушка, скажи, любила ли ты?

ДЕВУШКА. Всех.

МОЛОДОЙ. Не всех — одного!

ДЕВУШКА. Зачем?

МОЛОДОЙ. Чтоб было сладко. Разве никогда не вздрагивали твои колени, когда ты видела его, лучшего из всех, прекраснейшего из всех. Разве не плакала ты по ночам, закрыв лицо руками, о том, что он любит другую, девушка?

ДЕВУШКА. Пусть любит.

МОЛОДОЙ. Если я поцелую другую девушку, не будет тебе больно, девушка?

ДЕВУШКА. Целуй.

МОЛОДОЙ. О, ты никогда не любила, бедная... Когда полюбишь одного, — на других не взглянешь. Но часами будешь хорониться за углом, чтоб только увидеть его, чтоб таясь ползти за ним, и лизать следы его ног. И будешь дрожать, как бы он не обернулся, и будешь хотеть, чтоб он обернулся. Будешь бояться, чтоб он тебя не увидел, и будешь хотеть, чтоб он тебя увидел, и подошел к тебе, и обнял тебя, и укусил тебя в губы... Девушка! Когда он обернется и увидит тебя, разве не задрожит твое сердце, и не подымет тебя земля — навстречу ему? А он возьмет тебя на руки и понесет, ликуя. Девушка!

ДЕВУШКА (чуть слышно). Работа!

МОЛОДОЙ. И понесет, и положит на траву. И упадет на тебя, как солнечный луч на землю, и пронзит тебя, как пронзает луч землю, тьму, душу... А потом, через год, когда родится у тебя дитя, им зачатое, им, любимым, — и тогда ты будешь думать о работе, девушка?..

(Долгий поцелуй).

ВЕСЕЛЫЙ. Ай-да девка! А работать кто будет?

ДЕВУШКА (кричит испуганно и звонко). Ах! (Не понимая, что с ней, кричит звонким голосом) Что это?

ВЕСЕЛЫЙ. Испугалась! В первый раз! Испугалась! испугалась!

ДЕВУШКА (прижимаясь к Молодому, неуверенно). Работа...

ВЕСЕЛЫЙ. А вот мы и работаем! (Хочет поцеловать ее, она его отталкивает, так что он падает).

ДЕВУШКА (юноше). Целуй ты! Ты лучше.

ВЕСЕЛЫЙ. Вот здорово! Влюбилась. Хоть и не в меня — поздравляю. Видно, и здешних святош расшевелить можно. А что нас не накажут, что с работы убежали?

ДЕВУШКА. Что такое «накажут»?

ВЕСЕЛЫЙ. Ничего они не понимают! Ну, прибьют, значит...

ДЕВУШКА. Зачем?

ВЕСЕЛЫЙ. О, господи! Чтоб работали.

ДЕВУШКА. Это же больно.

ВЕСЕЛЫЙ. Затем и бьют, чтоб больно было.

ДЕВУШКА. Нет, у нас не бьют.

ВЕСЕЛЫЙ. Да коль не бьют, зачем работаете? Ххохо! хо-хо!

(В восторге от своей остроты, хохочет).

ДЕВУШКА. Что с тобой, что с ним?

МОЛОДОЙ. А что?

ДЕВУШКА. Это, это... кричит странно, и рот... (Веселый начинает еще пуще смеяться).

МОЛОДОЙ. Он же смеется.

ВЕСЕЛЫЙ. А ну, засмейся! А ну, засмейся! Засмейся! засмейся! ха! хо! ху! (Пляшет и строит рожи).

ДЕВУШКА (*начинает смеяться*). Что? что это?

ВЕСЕЛЫЙ. Ай, батюшки, засмеялась! Ей Богу, засмеялась!

ДЕВУШКА. Что это?.. Ха-ха-ха! (*Целуется с Молодым и убегает с ним*).

ВЕСЕЛЫЙ. Ххо-хо! Ну, молодец девка! (*Бежит за ними*).

(*Входят Доктор и Комиссар*).

КОМИССАР (*смотрит вслед убежавшим*). Смеялась, девочка. Видал, доктор?

ДОКТОР. Видал и возмущался. (*Комиссар, изумленный, оборочивается*). Помилуй, смеяться в Городе Равенства! Никто не плачет и не смеется, не сердится, не пугается. Все равны — счастье — ха!

КОМИССАР (*мрачно*). Брось, доктор!

ДОКТОР. Не буду, не буду... Ты мне лучше скажи, Комиссар, а ведь ты сегодня с работы ушел?..

КОМИССАР. Ушел.

ДОКТОР (*с насмешкой*). Комиссар? Ты? Нарушил священный порядок?

КОМИССАР. Доктор! Не могу... Так работать не могу. Как заведенный, как истукан, — не могу!

ДОКТОР (*тихо, торжествующе*). Царство равных!

КОМИССАР. Чтоб кто нибудь улыбнулся, закричал, заплакал, нет! Они молчат, работают и молчат, едят и молчат. Они не понимают, что значит петь, играть, плясать. Хочешь ударить их, так и то не поможет: не поймут, зачем бью, даже не рассердятся — не умеют.

ДОКТОР. Научатся. Знаешь, можно тигренка, как собачку, воспитывать. Но только он увидит кровь, —

пропало: хищник проснулся. Так и эти. Агнцы небесные, а почуют кровь, — нами сделаются, разбойниками.

КОМИССАР. Доктор, доктор! Я не хочу т а к о г о счастья, т а к о г о равенства. Я хочу жизни.

ДОКТОР. А жизнь несправедлива. В жизни, мой милый, есть богатые и бедные, умные и дураки.

(П р о х о д я т. В в а л и в а ю т с я с о л д а т ы).

3-ИЙ СОЛДАТ. Ну, и харчи. Брюхо не выдержит.

1-ЫЙ. Малина! Работа не бог весть какая...

СТАРИК (о г л я д ы в а я с ь, г о р д о) Одежу дали хоть куда!

4-ЫЙ. Одно вам скажу: скучно!

ВСЕ (п о д х в а т ы в а я). Скучно! скучно!

2-ОЙ. Прямо с здешним народом сил нет.

5-ЫЙ. Не люди, а вешалки. Повесили на них платье, они и ходят.

1-ЫЙ. Может, они и святые, а только тоскливые — страсть!

СТАРИК. Собеседники неувлекательные.

3-ИЙ. Встают, едят — как маятники.

5-ЫЙ. Одно слово — вешалки. Повесили на них платье — они и ходят.

1-ЫЙ. Чтоб красное словцо для красоты, ни-ни! Все у них на месте, лишнего не говорят.

2-ОЙ. Самых простых слов не поймут. «Мой», «твой» не скажут. Все «мы» да «наше».

1-ЫЙ. Нет, живем хорошо, спору нет, а только невтерпеж становится...

3-ИЙ. Все бы ничего — бабы у них деревянные...

(В з р ы в н е г о д о в а н ь я).

1-ЫЙ. Тьфу, а не бабы... Как будто бы и ничего, бери любую...

3-ИЙ. То-то и плохо, что отказу нет. Все согласны. По закону любить неинтересно. Хоть бы в морду какая дала...

4-ЫЙ. Пришел ты — пожалуйста, пришел другой — всем места хватит. Точно кобеля мы.

СТАРИК. Один блуд.

6-ОЙ (все время молчал). А и любят то, чтоб их... Как бревна, прости Господи! Тоже в меру, прости Господи! Я ей показал «в меру»... Точно на работе она.

5-ЫЙ. Как вешалки любят, ей-Богу.

4-ЫЙ. Ой, пошел ты вон со своими вешалками! Надоел хуже горькой редьки.

3-ИЙ. Звал я одного на кулачки драться. Зачем? — спрашивает.

(Взрыв голосов).

ВСЕ СРАЗУ. Зачем? зачем? И всюду они — зачем? Как заладят — зачем? Одно и умеют: работать.

(Входит Толстый, волочит Мальчика)

ТОЛСТЫЙ Нет, врешь. Пошел, пошел.

(Солдаты окружают их).

ГОЛОСА. Что?.. Что он сделал?.. Эй ты, Пузан, оставь мальчика!

(Мальчик, не сопротивляясь, осматривается, не понимая).

2-ОЙ. Постой, Толстый! Пусти мальчика. Тоже человек.

ТОЛСТЫЙ. А зачем он — во! смотри! кушак мой спер.

МАЛЬЧИК. Что такое «спер»?

СОЛДАТЫ. Ишь чорт! Ну поди, говори с ним после этого.

МАЛЬЧИК. Мне пояс нужен... А у тебя два. Я взял.

1-ЫЙ. Без спросу?

МАЛЬЧИК. Зачем спрашивать?

ТОЛСТЫЙ. Стой, парень! Чей пояс: мой или твой?

МАЛЬЧИК. Что такое «мой»?

(Смех и ругательства).

ТОЛСТЫЙ. Не понимаешь? не понимаешь? Так вот: это мое (показывает на пояс), а это — твое (бьет его по лицу).

МАЛЬЧИК. Зачем ты?

ВСЕ. Опять зачем! Фу-ты, ну-ты! Ну, и народ!

ТОЛСТЫЙ. Зачем? зачем? На, вот зачем. (Бьет его еще и еще. Мальчик отступает на холм. Толстый за ним. Мальчик в слезы).

СОЛДАТЫ. Заплакал! Вот так расшевелили! Толстый, оставь!

МАЛЬЧИК (плача взбирается на холм. Приближается к площадке, где лежат трупы. Не дойдя до них, вдруг начинает защищаться. Бьет Толстого).

СОЛДАТЫ. О-о-о! Здорово, малый! Так его!

(Входят Комиссар и Доктор).

ДОКТОР. Э! Ученье наше в прок идет...

КОМИССАР (быстро подходит к Толстому). Кто начал? Ты? Отвечай, брюхо!

ТОЛСТЫЙ. Да он...

КОМИССАР. Кормят вас, одевают вас, от смерти спасли, а вы...

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Скучно!..

СОЛДАТЫ. Скучно! скучно!

ДОКТОР (Комиссару). Сам ты говорил...

КОМИССАР (тихо). Тебе говорил одно, а им говорю: молчать!

ДОКТОР. Да...

КОМИССАР. Молчать! (Доктор пожимает плечами).

КОМИССАР. Чтоб это было в последний раз! А не то...

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Сам сегодня с работы ушел, нечего орать!

(Комиссар бешено оглядывается. Солдаты испуганно отступают).

Сцена 4-ая

(Полденъ: солнечный свет особенно ярок. Удар колокола. Солдаты отходят к холму направо, садятся, посредине Комиссар. Медленно, размеренно, в ногу — входят Жители Города. Садятся налево, на пригорке. Горожане говорят, как всегда, глухо, жестко. Солдаты — торжественно, звонко-необычными голосами. Не разобратъ, кто именно говорит — хор!)

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА. Время — полдень. В полдень — отдых. Расскажите, чужестранцы, о вашей жизни. Для чего живете?

ГОЛОС СПРАВА (от Солдат). Для того, чтобы жить. Коротка наша жизнь, велик мир. И живем, чтобы познать все, испить все, насладиться жизнью до последнего дня. Мы живем, потому что не можем не жить, и потому что хотим жить.

ХОР ГОРОЖАН. Не понимаем.

ГОЛОС СЛЕВА (от Горожан). Мы живем для того, чтобы работать.

ГОЛОС СПРАВА. Мы ненавидим работу, мы бежим работы. Но один не работает совсем, а другой трудится

без отдыха и сна, кровью, соком своим поливая труды свои. И тот, кто не работает, живет лучше работника, и погоняет работника, и бьет его кнутом. И они ненавидят друг друга до последнего своего часа. И в ненависти — жизнь.

ХОР ГОРОЖАН. Не понимаем.

ГОЛОС СЛЕВА. Мы работаем, потому что нет ничего в жизни, кроме работы.

ПРАВАЯ СТОРОНА. Нет двух людей, подобных среди нас. И завидует человек брату своему, боится брата своего и борется с братом своим. И в борьбе жизнь.

ХОР ГОРОЖАН. Не понимаем.

ЛЕВАЯ СТОРОНА. Мы говорим вместе, думаем вместе, работаем вместе. Все, как один.

ПРАВАЯ СТОРОНА. Когда один из нас берет вещь у брата своего, то брат его идет на него войною и борется с ним, доколе не погибнет или не отнимет вещи. И в борьбе жизнь.

ХОР ГОРОЖАН. Не понимаем.

ЛЕВАЯ СТОРОНА. Все владеют всем, ни один не владеет ничем. Все равны перед законом.

ПРАВАЯ СТОРОНА. Каждый хочет властвовать над братьями своими, понукать ими, брать с них поборы и дань. Но никто не хочет терпеть над собою владыку, и течет кровь, и идет вечный бой всех против всех. И в этом жизнь.

ХОР ГОРОЖАН. Не понимаем.

ЛЕВАЯ СТОРОНА. Все равны перед законом. Закон — господин.

ПРАВАЯ СТОРОНА. Когда один из нас полюбит женщину, он берет ее в свой дом и делает ее женой, чтоб она рожала ему детей. И если жена полюбит другого —

он убивает ее. И если другой полюбит жену его, он убивает его. Потому что, если он не убьет другого, то другой убьет его и возьмет себе жену его. И в убийстве жизнь.

ХОР ГОРОЖАН. Не понимаем.

ЛЕВАЯ СТОРОНА. Все любят всех. Все равны. Выбора нет.

ПРАВАЯ СТОРОНА. Когда рождается ребенок, отец и мать его бросают работу и над колыбелью плачут слезами радости. И они кормят ребенка, и дрожат над ним, и отдают последний кусок свой ему. Среди тысячи детей найдет мать свое дитя, и каждая мать видит свое дитя прекраснейшим из всех. Горе тому, кто тронет ребенка ее. Горе тому, кто не любит ребенка ее! Потому что нет силы сильней материнской любви. И в любви — жизнь.

ХОР ГОРОЖАН. Не понимаем.

ЛЕВАЯ СТОРОНА. Родившая ребенка кормит его грудью. И отдает его на луг к другим детям. И забывает его. И ребенок не помнит ее. Не должна женщина любить одного ребенка. Все равны перед законом.

ПРАВАЯ СТОРОНА (громко и гневно). Горе тебе, Город Равенства, ибо ты отрываешь ребенка от матери! Все прощу тебе, не прощу материнских слез. Будь ты проклят за ребенка, не знающего ласки, за мать, бросающую дитя свое! Будь проклят!

(Молчанье).

Сцена 5-ая

(Резко темнеет: вечер. Вбегает Ваня).

ВАНЯ (бросаясь к Комиссару, кричит). Вспомнил, вспомнил, Комиссар!

(*С этим криком исчезает торжественность, сменяется ожиданьем чего-то страшного*).

КОМИССАР. Что ты вспомнил, мальчик?

ВАНЯ. Дом! дом! И мать! И поле, и колодец, и брата, и соседку, и почту, и еще одного брата. Все вспомнил. Юшков звать меня. Я и в школе был. Я и книги читал. Вспомнил!

КОМИССАР (*ласково*). Как же ты вспомнил, хороший?

ВАНЯ. А как ударил их, как упали они, — так и меня с ними — ударило. Увидал, увидал — мать!

КОМИССАР. Кого ударил? Кто упал?

ВАНЯ (*указывая на холм*). Они...

КОМИССАР. Кто они?

ВАНЯ. Вы не видели, не знаете? Тогда не надо. Комиссар — не надо!

(*Комиссар рукой указывает на холм, два солдата идут туда*).

ВАНЯ. Не надо! Это не я, это не я сделал! Не ходите...

(*Оба солдата одновременно, справа и слева, раздвигают кусты. Пронзенная пара видна со сцены. Встают все — и Солдаты и Горожане. Солдаты молча отступают в глубину сцены, Горожане молча и медленно поднимаются на холм, окружая убитых*).

ДОКТОР. Тигренок увидел кровь — теперь держись!

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА. Юноша! Зачем ты сделал это?

ВАНЯ. (*Комиссару, ползет по земле за ним*). Я любил ее, я узнал ее. Это невеста. Ночь за ночью видел ее во сне, и вот — нашел. Но пришел этот,

другой, из Города и сказал: «идем со мной». Молил я ее, грозил «убью» — не понимала. «Я ж приду назад» говорит. Не любила она меня, никого не любила. Нет в этом городе любви, погибни он, проклятый!.. И я настиг их, и ударил, вот лежат... Так-так-так!.. И ударил бы еще раз, потому я любил ее, а я человек, она тварь! Не надо мне прощенья, верно сделал я!..

(Гул одобренья среди солдат. Комиссар молчит. Горожане осматривают убитых, чуть слышный ропот среди них).

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА. Юноша! Зачем ты сделал это?

КОМИССАР. Старик! Он виноват. Возьмите мальчика, он ваш!

(Гул возмущенья среди солдат).

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА. Зачем он нам? Мы не знаем, что с ним делать.

1-ЫЙ ЮНОША (необычно звонко). Я знаю! Я, я, я!

ДОКТОР (про себя). Не «мы», а «я». Тигренок научился.

2-ОЙ СТАРЕЙШИНА. Юноша, остановись! Кто разрешил тебе говорить?

1-ЫЙ ЮНОША (точно упиваясь звуком «я»). Я-я-я! Я знаю, что делать с ним. То же, что он сделал с нашим братом и сестрою... (ищет слово). Убить!

ГОРОЖАНЕ. Убить!

ДОКТОР (про себя). Тигрята выпускают когти.

3-ИЙ СТАРЕЙШИНА. Юноши, опомнитесь! Уж время итти на работу.

1-ЫЙ ЮНОША. Убьем его и пойдем на работу.

ГОРОЖАНЕ. Убьем, убьем!

ВАНЯ. Комиссар, прости! Спасите, спаси, Комиссар! (Солдаты ропщут. Комиссар молчит).

2-ОЙ ЮНОША. Чего ж мы ждем? Он убежит.

3-ИЙ ЮНОША. Старик, разреши!

ГОРОЖАНЕ. Разреши!

ВАНЯ. Комиссар! Я ж хочу мать увидеть. Ведь мать ждет меня, мать!

МОЛОДОЙ СОЛДАТ. Комиссар, прости его. Он верно поступил. Если ты когда нибудь любил, — прости!

(Комиссар молчит).

1-ЫЙ ЮНОША. Братья! Довольно ждать. Возьмем его.

ВАНЯ. Комиссар! Если у тебя есть мать!..

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА (преграждая путь Горожанам). Юноши! Мы запрещаем вам!

(Короткое замешательство в толпе Горожан).

2-ОЙ ЮНОША. Вы стары стали, не мешайте нам!

2-ОЙ СТАРЕЙШИНА. Остановитесь!

3-ИЙ ЮНОША. Уйдите, старики! (Отталкивают их, окружают Ваню, волокут его направо, за сцену).

ВАНЯ. Комиссар! Комиссар! Комиссар!

(Горожане исчезают направо. Медленно уходят за ними Старейшины).

(Молчанье).

Сцена 6-ая

(Темнеет. Издали — пронзительный крик Солдаты вздрагивают).

МОЛОДОЙ. Комиссар, за что?

1-ЫЙ СОЛДАТ. Комиссар, за что?

ВСЕ. За что? За что?

МОЛОДОЙ. Разве он не убил, потому был человек, живой, как ты, как я, как все? Но не как они, мертвые! (Солдаты ропщут).

МОЛОДОЙ. Он убил — потому кровь у него горяча, руки сильны. А разве мы не любим, не кипит наша кровь? Что ж! И нас надо истребить — не можем мы жить, как эти, заведенные... (Гул). Комиссар! Говорю тебе. Если изменит моя — то же сделаю: и его, и ее! Я человек!

СОЛДАТЫ. И я! я! Так!

МОЛОДОЙ. Комиссар! За что ты погубил его?

КОМИССАР (кладет Молодому руку на плечо). Хорошо говоришь, одно забыл: я привел вас сюда, я отвечаю за вас. Скажите вы, вы видели: я ль не любил мальчика? Из всех был лучший, ласковый. Но он нарушил приказ — он умер за это! Он первый поднял копье — он умер за это. (Пауза). Он умер. Довольно о нем. Но мы уйдем отсюда. Прочь.

СОЛДАТЫ. Прочь! прочь! Лучше в пустыне! Уведи нас! Завтра! Сегодня! Сейчас! сейчас! сейчас! сейчас!

КОМИССАР. Слушай!.. Завтра с рассветом мы снимемся. Завтра я поведу вас дальше...

ДОКТОР (резко). Куда?..

КОМИССАР. В страну равенства, закона и — жизни! (Смотрит на Доктора в упор. Доктор опускает глаза. Комиссар и солдаты уходят налево).

ДОКТОР. Он лжет опять, но он сильней меня. (Справа за сценой крики). Тигренок голоден. Отпустит ли он нас?

(Уходит налево. Темнеет еще сильней).

Сцена 7-ая

(Вбегает справа толпа Горожан с факелами. У каждого в руке камень).

ГОРОЖАНЕ. Они уходят! Уходят! Убили, а теперь бегут! Не пустим их, братья! Убьем их, братья!

ДЕВУШКА. Я говорю это, я слышала. На рассвете, завтра, уходят.

(Толпа гудит).

1-ЫЙ СТАРЕЙШИНА. Пусть уходят. Будем работать. Как раньше.

ДЕВУШКА. Братья! Они не вернутся больше. И мы отпустим их... (Ищет слова).

1-ЫЙ ЮНОША. Не отмстив?

ГОРОЖАНЕ. Месть! месть!

2-ОЙ СТАРЕЙШИНА. Они сами уходят! Отпустите вы их, братья?

ДЕВУШКА. Они разбили наши законы, разрушили наше счастье, а теперь уходят! Отпустите вы их, братья?

3-ЫЙ СТАРЕЙШИНА. Они сильны и вооружены. С чем вы на них?

ДЕВУШКА. Камнями закидаем их, месть! Нас больше.

ГОРОЖАНЕ. Нас больше! Нас больше! Месть! Месть! Месть!

ДЕВУШКА. Чего ж мы ждем, братья? Им, чужим, убийцам, смерть!

ГОРОЖАНЕ. Смерть! Смерть!

(Бегут налево. Старейшины остаются посредине сцены, опустив головы).

(Тьма: ночь).

Сцена 8-ая

(Слева крик и ружейный залп).

СТАРЕЙШИНЫ. Смерть!

ЗАНАВЕС.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. (РАЗВЯЗКА)

(Та-же декорация, что и во 2-ом действии. Справа наверху лежит пронзенная пара).

Сцена 1-ая

(Ночь. Факелы. Солдаты стоят во фронт. Комиссар по списку выкликает:)

КОМИССАР. Сергеев, Иван!
1-ЫЙ СОЛДАТ (дежурный). Погиб в пути.
КОМИССАР. Сердюков, Никанор!
1-ЫЙ СОЛДАТ. Погиб в пути!
КОМИССАР. Торенберг, Александр!
1-ЫЙ СОЛДАТ. Погиб в пути!
КОМИССАР. Хоментовский, Сергей!
1-ЫЙ СОЛДАТ. Погиб в пути!
КОМИССАР. Царьков, Сергей!
1-ЫЙ СОЛДАТ. Погиб в пути!
КОМИССАР. Чубарь, Михайло!
ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ. Здесь!
КОМИССАР. Юшков, Иван!
1-ЫЙ СОЛДАТ. Казнен!

(Пауза).

КОМИССАР. Вольно! Через час в путь!
3-ИЙ СОЛДАТ. Комиссар! Пусти в город...

КОМИССАР. Опять грабить?

3-ИЙ СОЛДАТ. Зачем грабить? Хозяев ведь нет.

ТОЛСТЫЙ. Сдохли.

3-ИЙ СОЛДАТ. Зачем добру зря пропадать?..

КОМИССАР. Все равно по дороге бросите. Ступайте. Но смотрите: если найдете живого — из этих, не трогать! Слышите? Не убивать!

ТОЛСТЫЙ. Зачем убивать, и так уж мертвые.

ВЕСЕЛЫЙ. Мертвей не бывает, хо-хо-хо!

КОМИССАР. Все?

4-ЫЙ СОЛДАТ. До последнего.

ВЕСЕЛЫЙ. Чистая работа. (Комиссар опускает голову, отходит. Садится под холмом направо. Солдаты уходят).

1-ЫЙ СОЛДАТ. А ведь жалко их, ребята. Шутка ли, целый народ в ночь укокошили.

2-ОЙ СОЛДАТ. Тоже люди.

ТОЛСТЫЙ. Сами виноваты: чего лезли?

3-ИЙ СОЛДАТ. И как дрались, чорт их возьми... Голыми руками! Прут на нас да прут, хоть бы от выстрелов закрылись!..

4-ЫЙ СОЛДАТ. И бабы с ними.

1-ЫЙ СОЛДАТ. Кормили они нас, поили, а мы так... Жалко...

ТОЛСТЫЙ. Ежели всех жалеть, так и тебя скоро пожалеют.

(Уходят, уносят факелы, на сцене темно).

Сцена 2-ая

КОМИССАР (один). Юшков, Иван! — Казнен!.. Кто казнил — я казнил. Я нашел мальчика, спас его, при-

ручил, приласкал. И убил... «Комиссар, если ты любил!» Нет, Комиссар не любил, Комиссар не должен любить, на то он Комиссар. У него сердце из камня, из камня! «Комиссар, если у тебя есть мать!»... Нет у Комиссара матери, на то он Комиссар. Все боятся его, ненавидят его, — Комиссар! Один мальчик любил меня, и я убил его...

(Пауза. В темноте, из-за кустов, — Доктор. Становится над Комиссаром, смеется).

ДОКТОР. Ты плачешь, Комиссар!? Плачь, плачь! Велик грех, если Комиссар плачет. О чем? О том, что святое в жизни — оплевано. Кем? Тобой! Ты искал правды, вот нашел ее. Что сделал с ней? — растоптал, растерзал, бросил. Всех до одного — убил... Что такое правда? — скука. Что такое равенство? — скука. Все честное, чистое, — мертво. В неправде — жизнь, в убийстве — жизнь, в борьбе!.. Что ж ты станешь делать теперь, Комиссар? Опять пойдешь дальше, будешь обманывать их и себя, искать уже раз найденное и — брошенное?.. Комиссар! Оставь их. Уйдем, убежим со мною. Искать кровавую, несправедливую, веселую жизнь!.. Комиссар! (Комиссар спит). Он спит. Так слушай, Комиссар! Я тоже искал добра, коммуны, равенства, как и ты. Дурак! Я всю жизнь на это положил, из дому ушел, мать бросил, нищим умру за это. А пришло время и увидел — скука, скука, скука! Я не верю больше ничему. Я ненавижу тех, кто верит. Это я поднял бунт против тебя! Это я дразнил солдат — против тебя! Я хочу, чтобы вы погибли, верящие! Слышишь, Комиссар! — спит.

(Исчезает в темноте, из-за туч выходит тусклая, предрассветная луна).

Сцена 3-ья

(Комиссар спит. Входит Молодой Солдат, несет раненую Девушку. Кладет ее на землю).

МОЛОДОЙ. Ты жива, жива! Скажи мне, что ты жива.

ДЕВУШКА. Я ненавижу тебя.

МОЛОДОЙ. Это Я!.. Я искал тебя среди боя. И нашел — как нашел!..

ДЕВУШКА. Я ненавижу тебя.

МОЛОДОЙ. Я убил тебя. Зачем ты бросилась на меня в темноте, ударила? Ты не узнала меня!

ДЕВУШКА. Я искала тебя. Чтоб убить. Ты научил меня любви, значит научил и ненависти. Я люблю тебя, ненавижу твой народ. Сладка любовь, но ненависть слаще. Я ненавижу тебя.

МОЛОДОЙ. Ты пойдешь со мной. В нашу страну. Ты будешь жить со мной, и растить моих детей, и доить моих коров.

ДЕВУШКА. Я ненавижу тебя.

МОЛОДОЙ. Вечером я приду, усталый, с работы. Ты же скинешь одежды и ляжешь со мной. До зари.

ДЕВУШКА. Я ненавижу тебя.

МОЛОДОЙ. И я прижму тебя к груди, и мои губы найдут твои губы, и мой язык тронет твой язык. До зари.

ДЕВУШКА. Я ненавижу тебя.

МОЛОДОЙ. И мои руки обнимут тебя, и твои руки обнимут меня, и два тела станут одним. До зари.

ДЕВУШКА. Я ненавижу тебя. (Долгий поцелуй).

МОЛОДОЙ (встает). Конец!.. (Оглядываясь уходит).

Сцена 4-ая

(Входят Солдаты с факелами. Ведут Мальчика).

СОЛДАТЫ. Комиссар!

КОМИССАР (сквозь сон). «Если ты любил, Комиссар!».. Я не могу любить, я — Комиссар!

СОЛДАТЫ. Комиссар, Комиссар!

КОМИССАР (просыпаясь, оглядывается. Встает). Время!

1-ЫЙ СОЛДАТ (подводя к Комиссару Мальчика). Из всего города — один — остался.

СТАРИК. Неужто и этого убьют?

ТОЛСТЫЙ. А что с ним делать-то?

КОМИССАР. Мальчик...

МАЛЬЧИК. Господин! Не убивай!

КОМИССАР. Не бойся, мальчик!

МАЛЬЧИК. Господин! Возьми меня с собой! К вам.. Я хочу, как вы, — говорить, как вы, и убиваеть, как вы. Это весело, господин. (Смех).

СОЛДАТЫ. Возьмем его, возьмем!

КОМИССАР (говорит, положив руку на голову мальчика). Товарищи! Мы идем дальше — домой — в Россию!

ВСЕ и громче всех МАЛЬЧИК. В Россию!

КОМИССАР. Я говорил: страна правды и счастья — да! Я говорил: все равны перед законом — да! Но если кто скажет, что там, как здесь: мертвый покой, — вырвите тому язык! Говорил я это?

ВСЕ. Нет!

ДОКТОР (тихо). Говорил!

КОМИССАР. Там равны, но не одинаковы, счастье, но не покой. Покоя нет, покой для мертвых! Там вечный

бой, борьба, борьба! И кровь! Где нет крови, там нет жизни. Где нет борьбы, там нет жизни. Хотите вы борьбы, крови, счастья?

ВСЕ. В Россию!

КОМИССАР. Стройся! Вперед! (Солдаты с пеньем: «Смело, товарищи, в ногу» уходят с факелами в руках).

Сцена 5-ая

(Доктор сидит налево на пригорке, направо Комиссар и Мальчик).

ДОКТОР (про себя). Ушли... Неужели дойдут? Почему я не верю? Я был бы так счастлив, если бы верил, как они...

КОМИССАР (мальчику). Ты хочешь с нами, Мальчик?

МАЛЬЧИК. О господин...

КОМИССАР. А знаешь ли ты, что значит убивать?

МАЛЬЧИК. Знаю.

КОМИССАР. А что такое — красть, лгать, обманывать?

МАЛЬЧИК. Знаю.

КОМИССАР. И ты будешь убивать, бороться, обманывать, Мальчик?

МАЛЬЧИК. Буду!

КОМИССАР (отстегивая кинжал). Видишь этот нож?

МАЛЬЧИК (восторженно). О, Комиссар! Ты дашь его мне?

КОМИССАР. И видишь, там сидит человек, опустив голову? Поди, убей его. И я возьму тебя с собой, и подарю тебе этот нож.

МАЛЬЧИК (*хватая нож*). Иду! (*Осторожно, покошачьи, подкрадывается сзади к Доктору. Прыжок — он хватает Доктора сзади за шею, повисает на нем*).

ДОКТОР. А! Стой! Стой, человек! За что? (*Подымается на ноги. Мальчик висит на нем, ударяет его в грудь. Доктор падает на бок, Мальчик отскакивает в сторону*).

ДОКТОР (*на земле, хрипит*) За что? за что?

КОМИССАР. За то, что ты не верил. Таких нам не нужно, — я убрал тебя. Мы, верящие, дойдем без тебя.

ДОКТОР (*хрипя*). И найдете страну мертвых, как эта, как эта! Страну машин.

КОМИССАР. Страну равенства и крови, порядка и смеха, закона и борьбы.

ДОКТОР. Таких нет!

КОМИССАР. Россия...

ДОКТОР. А если и там, как здесь?..

КОМИССАР. Мы пойдем дальше.

ДОКТОР. Конца пути — нет!

КОМИССАР. Конец есть!

ДОКТОР (*с отчаянным хрипом*). Вы дойдете и не найдете!.. Конца нет!

КОМИССАР (*мальчику*). Идем!

МАЛЬЧИК. Я с тобой, я с тобой! Жить!

(*Уходят. Молчанье*).

Сцена 6-ая

(Восходит солнце, освещая пронзенную пару на вершине холма. Остальная сцена в темноте).

СОЛДАТЫ (з а с ц е н о й, п о ю т). «В царство свободы дорогу грудью проложим себе».

ДОКТОР (х р и п я к р и ч и т). Конца нет! Дойдете, но пе найдете!

ЗАНАВЕС.

Октябрь 1923 — Март 1924.

С. Черниховский

СВАДЬБА ЭЛЬКИ

Перевод Владислава Ходасевича

*Окончание *)*

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Вторник. Покрывание невесты

Свадебный вечер

День, в который Создатель два раза одобрил созданье [9]),
Пеньем и музыкой начат. Пошли музыканты с бадханом [10])
К дому тому, где жених имел пребыванье в Подовке,
Чтобы устроить ему почетную встречу: «добрыдзень».
Музыки звуки услышав, со всех переулков и улиц
Стаей слетелись мальчишки и в миг окружили капеллу.
После бравурного марша и речи бадхана, капелла
Водкой себя подкрепила, покушала пряников сладких
И повернула обратно к невесте. С отчаянным криком,
Псов по дороге дразня, свистя, гогоча, кувыркаясь,

---

*) См. „Беседа", кн. 4.

9) В сказании о сотворении мира о вторнике дважды сказано: „Увидел Господь, что хорошо"... Об остальных днях по одному разу.

10) Бадхан играет на свадьбе роль скомороха и распорядителя.

Перегоняя друг друга, отряд босоногих мальчишек
До Мордехаевой хаты вприпрыжку скакал пред капеллой.
Тут-то она и невесте устроила громкий добрыдзень.
Элька, смущаясь, краснея, гостей оделяла сластями
И подносила вина — и лица у всех прояснились.

Осенью поздней, когда оставшимся на зиму пташкам
Голодно станет в лесу, они собираются густо
Возле гумна, где ловец для приманки насыпал им зерен.
Те подлетают и смотрят; другие — раскинувши крылья,
Прочь улетают и вновь возвращаются, крадутся к зернам;
То подлетает синица, то чиж, то щегленок, то зяблик,
То красношейка — и все-то пестреют своим опереньем,
Серым, зеленым, красным, коричневым, черным и желтым...
Так собрались и девицы в просторной комнате Эльки,
Ярко одетые все, в пестреющих платьях и шарфах,
И далеко от девиц приятными пахло духами,
И торопливо подруги входили и вновь уходили,
В зеркало глядя, вертясь, поправляя друг другу наряды.

Солнце уже опускалось, когда появились девицы,
Словно весенний букет, рассыпанный кем-то. И Элька,
Тоже в нарядной одежде, с подругами пестрыми вместе
В новый вошла балаган, — вошла с лицом побледневшим.
Там ожидал уж бадхан во главе музыкантов — и громко
Он произнес нараспев:
«Невесты в честь дорогой,
Что так прекрасна собой, что блещет подобно заре
Иль как наш град на горе, и радует сердце родных
Как и подруг своих, и всем нам слаще вина, —
Музыка, грянь!.. Вот она!..»
И скрипка и бас загудели

Заторопился кларнет, замурлыкала скрипка вторая...
Бросились к Эльке подруги с об'ятьями. Тут суматоха,
Давка и визг поднялись, но прикрикнул бадхан — и
затихли.
Танцы тогда начались, заплясали девицы-подруги
Польку, лансье и кадриль — и невеста средь них танцо-
вала,
Бледная, ибо не ела с утра. Танцовала со всеми,
Не пропустив ни одной: таков уж обычай издревле.
Все-то обычаи знает разумница-Элька. Обидеть
Разве же может она хоть одну?.. Никого не забудет!..

Так-то они танцовали. Меж тем балаган наполнялся.
В новых нарядных одеждах, гуторя, толкая друг друга,
Новые гости вливались в широко-раскрытые двери,
И наступала шумиха, веселая, дружная давка.
Очень уж много сошлось: тут вся ликовала Подовка.
Вся молодежь собралась, и старцы седые спешили,
Не говоря о родне и о детях, которых с собою
Матери взяли на свадьбу: тут были грудные младенцы,
Были и те, что постарше: стояли, в носу ковыряя,
И от голов их лилось благовонье миндального масла.
Брать же с собой ребятишек три важные были причины:
Первая — можно ли их оставить одних без призора:
Могут и «свет опрокинуть», и глаза и зуба лишиться.
Дальше: какая беда, если дети посмотрят на свадьбу?..
В третьих: пускай и они покушают пряников сладких.
Словом — была кутерьма, веселая, дружная давка.
Много народу сошлось, и вся ликовала Подовка.
Как же!.. Еще ведь в субботу, в самой синагоге, на
свадьбу
Фалек усердно и громко гостей созывал к Мордехаю.

Вот и сошлись, а за ними теснились в дверях балагана
Слуги, работники, дети, народ из окрестных селений.

Все еще дома жених. И к нему собираются гости
По одиночке, по двое — на пышный прием. Наконец-то
Завечерело. Тогда гостей ко столу пригласили.
Сел на почетное место жених. Начиненный изюмом
Желтошафранный калач стоял перед ним, — и топорщась
На калаче серебрилась, блистая крахмалом, салфетка.
Два посаженных отца уселися справа и слева.
Заторопился народ, занимая места, — и приятно
Сердце свое услаждал он вином, крендельками, закуской—
Всем, что лежало пред ним на серебряных мисках, подносах.
Только жених ничего не отведал: с утра он постился.
После того, как народ натешился трапезой общей,
Послано было об этом известие в дом Мордехая,
Для передачи бадхану. Бадхан, тишину водворивши,
Провозгласил громогласно, туда и сюда обращаясь:
«Женщины, свечи зажгите!.. Скорей!.. Торопитесь!.. Проворней!..
Живо!.. Невесту сажайте!..» — И женщины, с говором шумным
Заторопились вокруг, забегали. Все суетились.
Гвалт, беготня, толкотня... «Для невесты очистите место!..»
Жизнью отважно рискуя, как воин, бегущий из плена,
В праздничном платье зеленом, усеянном желтым горохом,
Галда, стряпуха, в толпе себе пролагала дорогу.
Гордо ступала она и казалась не меньше, чем сватьей
Со стороны жениха[11]). К балагану она приближалась

[11]) „Сторона жениха", т. е. его родные, — на свадьбе являются господами положения и стараются не уронить себя.

С белой высокой квашнею. И вот, посреди балагана
Галда квашню опустила — отверстием к полу. Подушку
Сверху она положила, покрыла ковром — и тогда то
Тихим, размеренным шагом, с печальным величьем на лицах,
К этой квашне подвели посаженные матери Эльку.
Села она на подушку и белой фатою покрылась.
С грустью тогда окружили замужние женщины Эльку.
Каждая к ней подходила с зажженой свечею — и плача
Каждая ей расплела по косичке. (Заранее Эльке
Волосы все заплели во множество мелких косичек).
Сильный и громкий был плач; рыдали старухи, девицы,
Плакала очень невеста, обильные слезы роняя;
Дети услышали плач, увидали, что матери плачут,
И закатились, как водится; голосом грустным и слезным
Речь произнес и бадхан, на высокую став табуретку;
Тихо и грустно ему подпевали чуть слышные скрипки;
«Мир» разливался в слезах, над невестою скромной рыдая.
И говорил ей бадхан, и каждую заповедь строго
Ей наказал соблюдать, и смиренью учил, — но закончил
Все утешеньем. Замолк — и взыграла веселая скрипка,
Грянул оркестр — и весь дом охватила великая радость...
Так-то оплакали Эльку, разумницу, дочь Мордехая.

После этих обрядов, совместно с прекрасной капеллой,
В дом жениха поспешает бадхан — и не мало несет он
Важных даров от невесты: большой балахон полотняный[12]),
И полотняный кушак; ермолку с красивым узором,

---

[12]) Полотняная рубашка с отложным воротником и широкими рукавами. Впоследствии муж берет ее с собою в могилу.

Что по атласу расшит серебряной ниткой, — и талес[13]).
Пред женихом положил он все это — и словом серьозным
Речь свою начал; напомнил о святости истинной веры
И призывал к покаянью, на правильный путь наставляя.
В рифму бадхан говорил и все призывал к покаянью
Голосом грустным и слезным,—а скрипки ему подпевали.
И размягчились сердца предстоящих, и вспомнили юность.
Грусть воцарилась кругом, и многие слезы роняли,
Слушая слово бадхана. А кончил он все прибауткой.
Скрипка и бас встрепенулись и грянули маршем бравурным...
Так-то бадхан веселил жениха Мордехаевой Эльки.

Кончил он речь, и поднялся жених, а потом и другие;
Очень большою толпой пошли к «покрываныо невесты».
Тихо жених между двух посаженных отцов подвигался,
Сзади же все остальные мужчины (ведь только мужчины
У жениха на приеме бывают). Тихонько ступал он,
Сердце же часто и сильно в груди колотилось. Однако,
Часто казалось ему, что биться оно перестало...
Кто она, девушка эта, прелестная девушка, взором
Светлым своим навсегда приковавшая сердце?.. Кто скажет,
Что́ его ждет впереди? Кто грядущую жизнь угадает?
Если в родителей Элька, то верное ждет его счастье.
Будем же думать, что так! О, милая, скромная крошка!..
И — заторопится сердце, и вдруг — замирает, замедлясь...
Так-то в раздумьи жених приближался уже к балагану.

---

[13]) Одежда, надеваемая во время молитвы.

Точно палаты царя, балаган деревянный сияет.
Куполом поднят брезент, занавешены стены коврами
С ярким цветочным узором, и многие лампы и свечи
Льют ослепительный свет, раздробленный в стеклянных
подвесках,
А на квашне посредине сидит под фатою невеста,
Словно царевна среди раболепных рабынь. С покрывалом
Бледный жених подошел, и губы его задрожали,
Как произнес он: «Сестра, мириадами тысяч да будешь!»
Это сказавши, невесту покрыл он. А тем покрывалом
Занавесь торы служила — легчайшая ткань дорогая,
Ярко-малиновый шелк, золотой бахромою обшитый.
Встала невеста в тот миг, восточной подобна царевне
Средь раболепных рабынь... И в правду ли это случилось,
Или пригрезилось только? — в тот миг жениху пока-
залось,
Будто из длинных ресниц, бросающих темные тени,
Брызнули в самое сердце две искры — и екнуло сердце...
Но подоспели девицы, подруги прелестной невесты,
Хмель и ячмень в жениха полетели сияющим ливнем,
Словно тот дождь золотой, что струится и блещет на
солнце.
Тут, обращаясь к старухам, воскликнул бадхан: «Не
оставьте
Благословить жениха!» — и старухи ответили хором:
«Бог вседержитель его да хранит! Да не знает нужды он
В помощи смертных!».. И встала среди балагана невеста.
К ней подоспели на помощь, народ от нее оттеснили.
Взвизгнула первая скрипка, вторая завторила. Еся
Встал и гостям возвестил: «Начинается первая пляска».
Женщин, пришедших на свадьбу, от юных до самых по-
чтенных,

Голосом громким, протяжным одну за другой вызывал он.
Все-то обычаи знает разумница-Элька. Обидеть
Разве же может она хоть одну? Никого не забудет.
Еся меж тем возглашает: «Почтительно просят и просят
Добрую мать и жену, благочестьем известную миру,
Милую бабушку Цвэтл, (да живет она многие лета!) —
Просят ее танцовать! А! вот уж она выступает.
Вот она! Шире раздайтесь! Дорогу и ей, и невесте —
Той, что и нас, музыкантов, щедротой своей не оставит!»

Грянули туш музыканты, и бал начался полонезом.
Вышла почтенная Цвэтл, Мордехаева мать. Потускнели
Старые очи ее, но приветливо смотрят на внучку;
Сгорблена бабушка Цвэтл, и морщинами щеки покрыты, —
Все же от черных ресниц широкая тень упадает,
Да изогнулись дугой бархатистые черные брови —
Прежней, отцветшей красы последний остаток. Надето
Черное платье на ней, старинного очень покроя:
Черный, тяжелый шелк: уж такого не делают нынче.
Бристтихл [14]) у ней на груди с золотым хитроумным узором,
Вышивка редкой работы... На тощей старушечьей шее
Крупный и ровный жемчуг, похожий на слезы ребенка,
Семь подобранных ниток. Отличнейший жемчуг, голландский, —
Сразу же видно, что это не просто какой-то «еврейский».
Так же и нить янтаря двумя золотыми струями
Грудь украшает старухе, и с жемчугом брошь золотая.
Серьги двойные на Цвэтл: изумруд — с изумрудным подвеском,

---

[14]) Нечто вроде широкого воротника или нагрудника

Необычайной игры. Но уж лучше всего и прекрасней,
Точно блестящий венец на челе ассирийской царицы,
Голову Цвэтл увенчал сияющий штернтихл [15]), который
Черною бархатной лентой лежал на прическе; по ленте-ж,
Вправо и влево от пряжки, сверкавшей огнями алмазов,
Были нашиты два ряда таких же алмазов — и камни
Были чем дальше от пряжки, тем мельче. В таком-то наряде
Мудрая бабушка Цвэтл из толпы приглашенных навстречу
Вышла счастливой невесте, прелестной скромнице Эльке.
Музыка громко играла, захлопали гости в ладоши.
Плавно и тихо ступая, приблизилась бабушка к Эльке,
За руку нежно взяла и трижды они покружились
В круге веселых гостей — и захлопали гости в ладоши.
Цвэтл возвратилась на место размеренным шагом, а Есель
Снова уже возглашал: «Почтительно просят и просят
Добрую мать и жену»... и так далее. Тут-то капелла
Грянула музыкой снова, и мать жениха непоспешно,
Плавно и тихо ступая, любовно приблизилась к Эльке,
За руку нежно взяла, и трижды они покружились
В круге веселых гостей — и захлопали гости в ладоши.
Мать жениха возвратилась размеренным шагом на место.
После нее и другие замужние женщины с Элькой
«Первую пляску» плясали согласно обычаям старым.
Плавно и тихо ступая к невесте они приближались,
За руку ласково брали и трижды неспешно кружились,
И возвращались на место размеренным шагом. А Есель
Тотчас же к ним подходил, протягивал руки — и щедро
Все одаряли его... Так «первую пляску» плясали.

---

[15]) Род повязки, проходящей по лбу.

Вечер окутал уже таинственной тьмою селенье.
Вышел жених, наконец, направляясь во двор синагоги.
С хохотом, гомоном, визгом отряд босоногих мальчишек,
Перегоняя друг друга, вприпрыжку скакал пред капеллой,
Громом могучего марша весь мир наполнялся, казалось.
Тихо жених между двух посаженных отцов подвигался.
Белый на нем балахон, подарок невесты, и кунья
Шуба (она в рукава не надета, а только в накидку,
Вследствие жаркой погоды). Веселой, но важной гурьбою
За женихом все мужчины в приятных идут разговорах,
А во дворе синагоги стоит уж готовая хупа [16]).
Рядом — подовский раввин и кантор. Под шелковой хупой
Встал с шаферами жених. За невестой вернулась капелла.
Мелкие свечечки в небе зажгли, веселясь, ангелочки,
Чтобы им было виднее, как шествует скромная Элька.
Грянули маршем бравурным ретивые члены капеллы.
Элька идет под фатой, посаженные матери — рядом.
Элька не чует земли под ногами; не сами ли ножки
Эльку уносят куда-то? Не слышит она и не видит,
Как уж вокруг жениха ее обвели семикратно [17]).
Слышен откуда-то милый надтреснутый голос раввина:
«Благословен ты, Господ наш, Владыка вселенной». Но
Элька
Даже не помнит ~~того,~~ как надели колечко на палец.
Не понимает она, как над ухом бормочет ей служка:
«Вот тебе, дочка, кетуба [18]), храни, береги ее свято,
Ибо женою не будешь, когда потеряешь кетубу».
Милым и грустным напевом слова долетают до слуха,
Сердце и душу волнуя каким-то неясным намеком...

---

[16]) Балдахин, под которым венчают.

[17]) Прежде, чем поставить невесту рядом с женихом, ее обводят вокруг него семь раз

[18]) Брачная запись.

Радостный шум поднялся, как жених раздавил под ногою
Винную рюмку[19]). Кричали: «Эй, мазел-тов! мазел-тов!»
Громко
Гости и гостьи шумели. Громами взгремела капелла.
Возгласы, слезы, об'ятья... И вот, новобрачные вышли
Под руку. Гости за ними. Направились в дом Мордехая.
Шумно родные невесты родных жениха обнимали,
Все веселились, плясали и с песнями двигались дальше.
Все-то обычаи знает разумница Элька. Глазами
Ищет она водоносов: кто вышел навстречу с водою?
Двое навстречу ей вышли: Савкó — водовоз и служанка
Гапка. Стоят на дороге и полные держат ведерки,
А новобрачные в воду бросают на счастье монеты:
Целый полтинник в ведерко — и целый полтинник в
другое.
Так возвращались они от хупы в дом Мордехая.
Хьена, Элькина мать, перед хатой просторной и белой
Встретила их на пороге с дарами. Одною рукою
Хьена большой каравай шафранный держала. Над хлебом
Пара зажженых сияла свечей, а другою рукою
Чарку с душистым вином держала счастливая Хьена.
В светлую хату войдя, новобрачные пили и ели:
Это был «суп золотой», им после поста поднесенный.

А в балагане меж тем уж опять заиграла капелла.
Девушки вышли плясать; обнимая друг друга, кружились.
И не успели еще отдохнуть от поста молодые —
Как уже стали опять собираться во множестве гости.
Их занимала родня Мордехая. Столы накрывали.
Женщины сели отдельно, мужчины отдельно. Уселся

---

[19]) Это делается в воспоминание о падении Иерусалима.

Муж за столом для мужчин на почетное место, а Элька
Так же уселась за женским. Однако, столов не хватило.
К тем, что заранее были накрыты, прибавили новых.
Были закуски все те, что обычай велит, — и во первых
Сельди в оливковом масле и в уксусе; с краю тарелок
Ровным бордюром лежали оливки; с селедкой из Керчи
Сельдь астраханская рядом лежала; помимо селедок
Были сардинки, кефаль, золотой пузанок; а в графинах —
Водка, и мед, и вино; и пиво в зеленых бутылках.
Вдоволь тут было мацы, крендельков и различных печений,
Как подобает в дому богача. И с веселием гости
Сердце свое услаждали, усердно кричали: «Лехаим»,
Не забывая о явствах и устали как бы не зная.
Дочиста с'ели закуску, а музыка им исполняла
Цадиков нежные песни, напевы хазанов, романсы,
Песни цыган удалые, а также отрывки из опер.
После внесли в балаган благовонные рыбные яства,
Те, что слюну вызывают и запах далеко разносят.
Был тут отличнейший карп, украшенье днепровской стремнины,
Славно поджаренный с фаршем; и были огромные щуки,
Радость еврейского сердца,—острейшим набитые фаршем.
Не было тут недостатка и в рыбах помельче: был окунь,
Широкогрудый карась, и судак, и лещ серебристый.
И наслаждался народ, и все поварих похваляли.
И не отстали от рыбы, пока ничего не осталось.
Начисто рыбу прикончив, народ отдыхал, и тогда-то
Выступил Есель-бадхан, на высокую встал табуретку
И забавлял он гостей, и показывал фокусы. Просто,
Можно сказать, чудеса он проделывал. Юкелю-служке
Дал он кольцо — и исчезло оно, а нашлось почему-то
У Коренблита в густой бороде; он часы Мордехая

В ступке совсем истолок — а часы у Гейнова под мышкой:
Вот вам, целехоньки, ходят, футляр и цепочка на месте.
И удивился народ и ревел от восторга. А Есель
Взял у невесты платочек и сжег его тут же на свечке,
Даже и пепел развеял — и что же? Платочек в кармане
У Кагарницкого — вот он. И видел народ, и дивился,
Хлопал бадхану в ладоши. А дальше и больше. Велел он
Чтоб длинноносый Литинский чихнул. Тот чихнул, а монеты
Так и посыпались вдруг из огромных ноздрей, где торчали
Клочья волос седоватых. Дивились — и били в ладоши.
Глупого Юкеля Есель позвал и сказал ему: «Юкель,
Хочешь тебя научу я проворной и легкой работе?
Хочешь фотографом быть? Повторяй же за мной все движенья.
Вот прикоснусь я к тарелке, а после к лицу. Повтори-ка!»
Есель мизинцем провел по донышку мелкой тарелки,
После чего прикоснулся к румяному носу. И Юкель
Тоже провел по тарелке и пó носу. Глядь — на носу то
Черная линия. Есель провел по тарелке и пó лбу,
Юкель проделал все то же — на лбу у него появилась
Черная линия. Притча! Не мало народ подивился:
Есель по прежнему бел, а тот все чернеет, чернеет...
(Юкеля Есель провел: закоптивши дно у тарелки,
К ней прикасался он только мизинцем, никак не иначе, —
А по лицу проводил указательным пальцем). А Юкель
Мазал себя и чернел, а народ надрывался от смеха.
Юкель таращил глаза, стараясь постигнуть причину
Этого хохота... Вдруг — появились огромные миски
С супом, и запах его по всему балагану разнесся.
Хохот мгновенно затих. Занялись изучением супа.
Очень хвалили его за навар, за чудесные клецки, —

Музыка ж громко играла, пока не покончили с супом.
Есель тогда подошел ко столу посреди балагана,
И возгласил громогласно: «Дары жениху и невесте».
Вышел Рефуэл Хотинский с подносом и круглою чашей.
Их он поставил на стол, повернулся — и молча на место.
Поднял подарки бадхан, показал их народу и молвил:
«Дядя дарит жениху: знаменитый богач, всем известный,
Рабби Рефуэл Хотинский, Серебряный гадас[20]), а также
Чудной работы поднос!» — А музыка грянула тушем.
Вышел Азриэл Мощинский, тяжелых подсвечников пару
Молча поставил на стол, повернулся — и молча на место.
Поднял подарки бадхан, показал их народу и молвил:
«Друг жениха преподносит: известный богач, именитый
Рабби Азриэл Мощинский. Старинных подсвечников пара,
Чудной чеканной работы!» — А музыка грянула тушем.
Так-то один за другим подходили и клали подарки
Гости, родные, друзья. Дарили, смотря по достатку,
Золото, утварь, кредитки, хрусталь, серебро, безделушки.
Только уж после того, как закончились все приношенья,
Подали слуги жаркое, и запах приятный разнесся
По балагану волною. И каждому подали гостю
(Без исключения всем!) по куску ароматного мяса.
Ел, насыщался народ и обильно вином услаждался.
Только родные невесты за стол не садились ни разу,
Ибо служили они приглашенным гостям, угощая,
Напоминая о водке, о мясе, о разных приправах,
Зорко следя, чтоб вина достаточно было в графинах:
Все, как обычай велит, чтоб не вышло обиды иль гнева...
Так-то венчальный обряд справляла семья Мордехая.

---

[20]) Сосуд для пряностей, которые нюхают в субботу после известных обрядов.

Только слегка подкрепилась капелла закуской и водкой, —
Вот уже встала невеста среди балагана, готовясь
К танцу кошерному. В ручке держа белоснежный платочек,
Элька стоит, смущена, лицо от стыда наклонила.
Темную, темную тень ресницы бросают на щечки.
Грянули туш музыканты, и бал начался полонезом.
С места поднялся раввин реб Рефуэл, и медленным шагом
К Эльке приблизился он, и рукою взялся за платочек;
Важно, степенно они три медленных сделали тура,
Весь обходя балаган, — и хлопали гости в ладоши.
Кантор, рабби Эли, в атласной одежде, поднялся;
К Эльке приблизился он и рукою взялся за платочек;
Важно степенно они три медленных сделали тура,
Весь обходя балаган, — и хлопали гости в ладоши.
Третьим отец жениха, реб Ице, поднялся неспешно;
К Эльке приблизился он и рукою взялся за платочек;
Важно, степенно они три медленных сделали тура,
Весь обходя балаган, — и хлопали гости в ладоши.
После, один за другим, и другие почтенные лица
Делали в точности то же — и хлопали гости в ладоши.
Так-то у Эльки на свадьбе был танец кошерный исполнен.
После мужчин припустились замужние женщины в пляску.
Грянула фрейлихс [21]) капелла — веселый, причудливый фрейлихс.
За руки гостьи взялись и в лад музыкантам запели.
Начали медленно, плавно, а кончили бешенной бурей.
Мчались, кричали отставшим, насильно тащили сидящих—
И разыгралось веселье... И вдруг молодая исчезла.
Снова мужчины пошли танцовать — и за фрейлихсом — фрейлихс

---

[21]) Веселая круговая пляска.

Так и гремел в балагане. Проснулся дурак-барабанщик
И разошелся: гремел, тарахтел, оглушая нещадно
Звоном тарелок своих, — а люди, подвыпив, плясали,
Звали, тянули друг друга и вслух подпевали капелле.
Вдруг новобрачный пропал... А люди все пляшут и пляшут...
Этот сидит и поет, другой ударяет в ладоши —
До истощения сил, до обильного пота... Танцуют,
Передохнут, подкрепятся за дружеской легкой беседой
Или за спором о текстах — и снова: за фрейлихсом фрейлихс.

Вскоре веселье дошло до предела. Когда же напитки
Сделали дело свое в душе Мордехая — встает он,
Кличет жену свою, Хьену: «А ну-ко-ся, сватушка, выйди.
Ну-ка мы спляшем с тобой. Пускай поглядят молодые».
Тянет он за руку Хьену: «Эй, фрейлихс! Живей, музыканты.
Пляшет жена моя Хьена!»—Жена, застыдясь, увернулась:
— «Что ты, старик, одурел? Вишь, разум пропал у еврея».
— «Если не хочешь со мной, я пожалуй один протанцую!
Ну-те-ка мне казачка, музыканты! Да с чувством, с запалом!
Место, почтенные, мне!» — И гости очистили место.
Длинные фалды свои подвернул Мордехай расторопно,
Взвизгнула первая скрипка, тарелки залязгали часто,
И загремел казачок, разудалый, веселый, проворный.
Руки фертом изогнув, Мордехай поглядел на собранье,
Крепко притопнул ногой — и легчайшим полетом понесся.
То пролетал он по кругу, локтями гостей задевая,
То застывал он на месте и дробь выбивал каблуками,
То разводил он руками, как будто в любовной истоме,

То разлетался опять — и носился в каком-то забвеньи.
Люди стояли вокруг, восхищались и били в ладоши.
И пробудились опять петухи и зарю возгласили.

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Среда, четверг, пятница,
„веселая суббота"

Сильно в тот день заспались евреи в счастливой Подовке.
Встали поздненько, а вставши, бродили сонливо и вяло,
Точно осенние мухи, которых морозом хватило —
И неподвижно они повисают на стенках и стеклах.
Грустно стоял балаган опустелый. Мальчишки копались
В грудах вчерашнего сору.
Одни лишь девицы порхали
Из дому в дом, от подруги к подруге. Порой заходили
К Эльке они посмотреть, к лицу ли парик ей [22]). Капелла
Тоже явилась попозже, и с нею бадхан. Инструменты
Были настроены. Тут полилась безутешным напевом
Чудная, нежная песня — печальная «Песня разлуки».
Все собралися в кружок: Мордехая служанки и слуги,
Скромницы-Эльки подружки, зашедшие в эту минуту.
Слезы стояли в глазах: уж очень красивая песня.
Вновь получила капелла вино, угощенье, закуску,
Села в готовую бричку и стала усердно прощаться,
Очень довольная всем, потому что не малую плату
Ей заплатил Мордехай, не обидели также и гости.
(Хоть и сказал Мордехай, что на нем все расходы за танцы,

---

[22]) Как замужняя женщина, она уже ходила в парике.

Гости однако желали платить хотя бы за фрейлихс,
Ибо приятно же слышать, как Мазик рычит, что такой то,
Сын такого то рабби, вельможа, богач знаменитый,
Нанял и платить за фрейлихс для всех именитых евреев).
Свистнул возница, рванули ретивые кони, помчался
С лаем обшмыганный Зорик, и тень побежала за бричкой.
Солнце полудня стояло средь синего неба, на землю
Ярко струило свой блеск, собираясь склоняться на запад.
Вскоре накрыли на стол в Мордехаевой зале просторной.
Сели к столу молодые с ближайшими только друзьями.
Элька была в парике и сидела с достоинством, словно
Много уж лет пребывала в замужестве. Слушала важно,
Важно сама говорила, как людям степенным пристало,
Только на щечках ее румяные розы пылали.
Впрочем, несколько лет парик ей как будто прибавил.
С радостью сваты глядели на юную пару. Былое
Припоминали они, говорили друг с другом о прошлом.
Чуждое всякого шума кругом разливалось веселье.

Тихо тот день проходил, и вечер прошел молчаливо.
Было совсем уж темно, как сошлись Мордехаевы гости
Вновь за обильным столом, установленным яствами тесно.
Начали с шуток, острот, а кончили шумным весельем —
И до полуночи так засиделись. Одни лишь девицы
Разом куда то исчезли: уж их по домам разослали,
Ибо иссякла мука, припасенная к свадьбе, и хлеба
Не было больше, — и значит, на разные вкусные вещи
Шесть с половиной мешков Мордехаем истрачено было.

Стали в четверг по домам раз'езжаться: пора. Большинство-же,

Впрочем, осталось еще до исхода «веселой субботы».
Много веселия было тогда в Мордехаевом доме.
Весело дни проходили и краткие ночи. В субботу
Шествием важным и чинным вели молодых в синагогу.
Там молодого почтили торжественным вызовом к торе[23]).
Не был забыт Мордехай: за него особливо молились,
И Мордехай с молодым пожелали пожертвовать много
В пользу своей синагоги — к немалому счастию клира.
Сватьи же скромницу-Эльку с парадом вели в синагогу,
Там усадили ее на место старухи-раввинши;
Молча сидела она, не молясь, — и сияла, как солнце[24]).

Снова большой балаган наполнился шумом и гамом,
Снова большие столы скатертями накрыли; подносы
Ставили с разной едой, и блюда и тарелки с закуской.
Много тут пряников было, и разных печений, и водки,
Ибо с вечерней молитвы в тот день прихожане Подовки
Не разбрелись, как всегда, по домам, — а зашли к Мордехаю:
Женщины, дети, мужчины,—вся община в полном составе.

Быстро вечерние тени сгустились и мир полонили,
Темную ночь навели; во дворе Мордехая возницы
Ждут запоздалых гостей, но те не спешат раз'езжаться,
Ждут «прощального борща» — и борщ закипает в кастрюлях,

---

[23]) Вызываемый читает отрывок из торы. При этом на него, или на то лицо, какое он укажет, призываются благословения. Потом вызванный жертвует на синагогу.

[24]) В первую субботу после свадьбы молодая не молится.

Распространяя вокруг благовонный, наваристый запах.
Тихо прохладная ночь мировой проходила пустыней,
Тихо все было вокруг, ~~лишь~~ долго над темною степью
Слышался топот коней и скрип дребезжащих повозок:
То по домам возвращались усталые гости и сваты.

Так то ~~справляли~~ в Подовке веселую, славную свадьбу —
Так ~~выдавали там~~ Эльку, разумную дочь Мордехая.

А. Высоцкий

В ПАЛЕСТИНЕ

Очерк

I

Это — граница двух огромных морей, может быть самых древних в истории человека.

Одно — Средиземное море, хрустальное царство Посейдона. Другое — Палестина, море священных камней, седых преданий, мстительного ислама.

И между двумя морями, точно клин, вбитый могучей рукой, втиснулся город Тель-Авив.

Ночью море кипит, рвется к берегу, разбивая синюю грудь о прибережные камни. Царство Библии.

Здесь пророк Иона ушел в море от гнева Господня и был проглочен китом. Сюда причаливала царица Савская. У этих камней покачивались корабли из Офира, пришедшие за целебным бальзамом. Потом приходили сюда греческие корабли, полные воинов в медных шлемах. Шли века. Волны все так же бились о молчаливые камни.

Исчезли греки. Пришли римские галеры с легионами. Когорта за когортой, неудержно внедрялись они в страну, как острый меч в распростертое тело.

Кровью сочилась Палестина! Исчезал народ Библии, казалось, умерла и сама Библия.

Где императоры Рима, растоптавшие Палестину? Где римляне, владыки мира?

Жива Библия. На сцене истории — другие артисты.

Тель-Авив залит электрическим светом. По улицам мчатся автомобили, шумит жизнь, пришедшая из другого, далекого мира. Осколок Европы перелетел сюда.

За воротами Тель-Авива, черная ночь припала к земле древней Аравии. Оно не шумит и не клокочет, как Средиземное море: тихо, коварно чернеет оно, полное мрачных замыслов. По одну сторону дороги шумит европейский город, по другую — тянутся апельсиновые леса, огороды и поля арабов.

Полуостровом выдвинулось поле, окруженное высоким каменным забором, все изрезанное оросительными желобами, по которым течет вода из большого бассейна в глубине поля, возле апельсиновой рощи. У бассейна дом араба Абу Ибрагима. Тут-же колодец, очень глубокий, выложенный камнем. Над колодцем вертится колесо с ковшами, вычерпывая воду в бассейн. Верблюд, очень спокойный и гордый, вращает колесо, медленно шагая по утоптанному кругу и глядя в безоблачное небо. Точно он уже все понял и все видел на земле и незачем ему больше смотреть на нее.

Скрипит колесо, холодная вода непрерывно льется в бассейн. Дети Абу Ибрагима целыми днями плещутся в воде, как рыбы; сам Ибрагим не купается. Он — большой, ему восемнадцать лет, высокий вытянулся, почти, как отец. Носит он широкие, как юбка, шаровары и остроконечную маленькую шапочку, а когда идет в город,

одевает красную феску. Под феской глаза, как два больших горящих угля, раздуваемые ветром. Он дал имя своему отцу; отца звали Ахмед, а когда родился Ибрагим, отец потерял свое имя. Его зовут с тех пор Абу Ибрагим — отец Ибрагима.

В этом году поле засеяли пшеницей, так захотел Ибрагим, отец часто исполнял его желания.

Ибрагим говорил, что Тель-Авив уже дополз до их огорода; еврейские парни, играя в футбол, могут забраться в огород и украсть что-нибудь. Но что они сделают с пшеницей?

— Таиб*), — согласился Абу Ибрагим. Он лежал на рогожке под фиговой пальмой, раскачивавшейся, как веер. Возле него стоял «наргиле», старик медленно потягивал холодный дым, прошедший через воду.

— Таиб. Пусть будет пшеница.

Потом он задумался и, как бы про себя, произнес, показав на землю соседа:

— Вот Шейх Али уже продал вчера землю евреям. Дорого взял с них!

Он знал, как это не нравится сыну и быстро сбоку посмотрел на него. Тот гневно ударил по дереву уздой, которую держал в руке:

— Зачем он продал? Так евреи отберут у нас всю землю, и нам придется кочевать на верблюдах в пустыне...

Абу Ибрагим молча курил, покряхтывая; потом сказал:

— Цена большая — как не продать! — Сын пытливо посмотрел ему в глаза и с угрозой нагнулся к нему:

---

*) Таиб — хорошо.

— Ты тоже продашь? — Абу Ибрагим долго глядел на сына, точно не видя его, потом ответил:

— Нет еще. Посей пшеницу. Все поле засей — до самых могил и вокруг могил. Только около дома будет огород. — Он лениво указывал длинным черным пальцем, полузакрыв глаза и сильно втягивая дым. Приближались сумерки. Знойное солнце готовилось погрузиться в холодное море.

Издалека долетел волнующий голос. Спускаясь на землю и ослабевая, он снова уносился в темнеющее небо, о чем-то напоминая.

Это муэдзин звал правоверных на вечернюю молитву. Абу Ибрагим совершил омовение и скинув сандалии стал на цыновке. Подошли два-три соседа и несколько человек рабочих. Они разостлали свои верхние одежды и выстроились все рядом, как солдаты, сзади Абу Ибрагима. Огромный в своей чалме, он весь вытянулся, желая, чтобы Бог увидал его прежде других людей. Падали ниц установленное количество раз, вставали, как по команде, закрывали лица руками, все в раз, и казалось, что они все ослеплены необычайным видением. Когда молитва окончилась, Абу Ибрагим ушел в дом к своим трем женам и ужину, а Ибрагим еще долго ходил по полю. Сумерки синели, темнели, темнела земля и зажигалось звездами небо. Черная завеса медленно спадала вниз, покрывая землю. Около двух могильных памятников Ибрагим остановился. В большей могиле покоился его дед, а в меньшей — та жена деда, которая родила его отца. У него было много жен: он был богат. Ибрагим постоял немного около могил, думая о чем-то и потом скользнул взглядом по темному полю Шейха-

Али, проданному евреям, и еще дальше — в Тель-Авив, весь сиявший огнями, шумный, радостный и светлый, будто солнце заблудилось между его домами.

На поле Абу Ибрагима колосилась густая пшеница.

Поле, огражденное каменной стеною, как огромная чаша до края налитая золотом. Только вокруг двух могил пшеница расступилась, пригибаясь колосьями до земли.

А поле Шейха-Али уже не поле. Все желоба для орошения разрушены, землю выравняли, размерили, разрезали на улицы, на нем строят новый город. Возле стены Абу Ибрагима разбили палатки. В одной, побольше, живут девушки, между ними есть красивые. Работают они наравне с мужчинами. В двух других живут молодые парни, с закатанными до плеч рукавами рубах. Вечерами они и девушки вместе песни поют. Песни хорошие, чаще грустные, и Ибрагим ночью долго прислушивается к этим песням, к жизни чужих людей; иногда ему жалко их. Но он слышал, что их отовсюду гонят и что теперь с'езжаются они со всего света сюда, чтобы отобрать у арабов землю.

— Пускай идут в другое место, — думает он, лежа на цыновке под деревом и глядя в звездное небо.

— Мы не знаем, что эта земля была когда-то ихняя, как говорят они. Эта земля дана нам самим Аллахом — кто может ее отнять?

— Будет много крови, — вспоминает он слова одного эффенди *), говорившего в мечети перед народом.

*) Эффенди — помещик.

Это было в начале, когда евреи еще не провели воду к постройке; пришла к бассейну одна девушка, худенькая, беленькая, с голубыми глазами и с золотистым облаком волос. Пришла с ведром и сказала Абу Ибрагиму одно только слово: —«Мойэ», — воды. Под бесстыдным взглядом араба девушка смутилась и быстро опустила ведро в бассейн. Девушка не могла достать ведро. Ибрагим, стоявший тут-же, не помог ей. Один только шайтан*) знает, отчего его била лихорадка...

Грязный взгляд отца, устремленный на девушку, заставил его отвернуться, отойти. А отец смеялся сиплым смехом.

«Сил нет у тебя, девочка? У тебя слишком много мужей в палатке, потому ты осталась без сил».

И медленно, хохоча только подвязанным брюхом, он приближался к бассейну, очевидно, с целью помочь ей. Вдруг со стены соскочил парень. Соскочил как-то странно, не сгибая ног, не дрогнув ни одним мускулом, точно ударил землю чем-то тяжелым. Ибрагим заметил его давно уже и знал, что звали парня — Моше. Сильный парень с могучей выпуклой грудью и с большим лицом, в котором, казалось, все было ясно и открыто, как на поле, облитом солнцем.

Абу Ибрагим вытянул руку, чтобы поднять ведро, но в этот момент Моше оттолкнул его от бассейна незаметным боковым движением плеча, безмолвно схватил ведро и сильным взмахом выплеснул воду на землю, так что несколько брызг попало на босые ноги отошедшего Ибрагима. Потом он повернулся к Абу Ибрагиму и мгновение смотрел на него выпуклыми, близорукими

---

*) Шайтан — чорт.

глазами, будто спрашивая о чем-то, а не получив ответа, отвернулся и быстро пошел к стене, едва сказав девушке:

— Идем.

Абу Ибрагим весь день был молчалив. Угрюмо тянул дым, лежа на цыновке, и разговорился только к вечеру, когда пришел Шейх-Али.

— Он ударил тебя? — спросил Шейх.

— Нет. Оттолкнул только. Но мне казалось, что это дом на меня обрушился.

— Москоби*), — задумчиво произнес Шейх-Али.

— Это — не здешние евреи. Москоби сильны. — Абу Ибрагим сказал сыну: — Стань евреем и иди в палатку;будет у тебя много женщин и не нужно покупать жену.

Шейх-Али смеялся и приговаривал:

— Пора, пора ему жениться — кбир! Большой!

Ибрагим много думал в этот день о евреях. Он чувствовал, что между этими девушками и молодыми парнями существует совсем другая связь, более сильная, чем та, о которой говорил отец.

— У них руки белые. Они не рабочие, — думал он. — Они — эффенди, а тут работают на солнце, как простые феллахи. Это закон их, — решил он. — Так они будут прибывать пароход за пароходом и будут тянуть улицы дальше и дальше: до Рамлы, до Луда, до гор, до Иордана. И дальше, дальше... Всюду будут они, а мы уйдем. Наши поля, наши Мечети — все ихнее будет... Если мы не соберемся, как говорил этот эффенди..

Евреи больше не ходили к ним.

---

*) Москоби — москвичи, русские.

Но, в субботу, эта самая девушка, Саррой звали ее, увидела со стены голубые васильки в пшенице. Она обрадовалась этим цветам, точно увидела свою родную мать. Она звала своих подруг и товарищей и им указывала на васильки и радовалась, как дитя.

— Девочка! — позвала она сестренку Ибрагима: — Нарви мне цветов. Вот тебе пиастр.

Дети Абу Ибрагима, как и все дети, близкие к Тель-Авиву, уже понимали немного по-еврейски. Девочка подала ей пучек цветов и она прижала их к сердцу и долго целовала.

— Мажнун! — удивлялся Ибрагим: — Сумасшедшая. — А потом решил:

— У нее глаза, как эти цветы.

На второй день утром рано, девушки, выйдя из своей палатки, увидели у дверей букет васильков. Было всеобщее изумление. На веки осталось тайной, кто принес цветы. Букет единогласно был присужден Сарре.

Скоро началась жатва. Серпы сверкали на солнце, золотые кисти срезанной пшеницы вскидывались над полем, как чьи-то зовущие руки. В халуцах *) заиграла кровь.

Вековая тоска по колосящейся ниве, по творческому содружеству с родным полем; — голод о земле, с великой силою охватил их. Был обеденный перерыв. В молчании стояли они у стены, охваченные тихой печалью.

— Ну — вот мы здесь, в стране отцов, — заговорил Фельдман на свою любимую тему. — Но у нас и тут нет поля. Мы стоим у ограды чужого поля и завидуем. А сами чужие дворы подметаем.

---

*) Халуц — сионист-пионер.

Его черные брови уже сдвинулись. Он обводит всех своими глубокими глазами и ждет возражений. Но на этот раз — тихо. Молчат. Наконец, Сарра ответила певучим голосом:

— Так ты же работаешь на земле. — Фельдман быстро бросился в ее сторону, точно она обожгла его.

— На земле мы работаем, говоришь ты?

Язвительная улыбка подняла левый уголок его губ, глаза то зажигались гневом, то покрывались пеленой холодного смеха.

— На земле? А что мы делаем с этой землей? Смотри, какое поле мы уничтожаем: оно сотни лет унаваживалось и песок его превратился в чернозем. А мы уничтожили поле, как варвары. Выравняли, улицы нарезываем, дома строим. Видишь? Вот тут, на этом месте, где я стою, росла пшеница, а через месяц тут будет стоять будка с лимонадом и такой же вот парень, как я, в ней продавать лимонад.

— Но, ведь, нужны и города, — слабо возражала Сарра.

— Города? Ты говоришь, мы приехали сюда строить города? — Фельдман засмеялся прерывающимся хриплым смехом, и глаза сверкнули, как две молнии:

— Не нужно нам городов! Слишком долго жили мы в городах. Слишком много Бердичевов мы понастроили в мире! — Он схватил в пригоршнь свеже накопанную рыхлую землю и с силой сжал ее:

— Вы видите, как она жирна? Она ждет семени, солнца и воды, а мы ее, как мертвую, похоронили под камнями.

— А — а! Концерт Фельдмана, — громко сказал по-русски Саша Абрамов, подходя откуда-то со стороны.

Это еврей-сибиряк, откуда-то из-под Иркутска. Худо давался ему еврейский язык!

— Тут что такое?

Абрамов сощурил глаза от солнца, ослепительно золотившегося поле, поглядел вправо, поглядел влево:

— Жнут пшеницу! Ах ты солнышко мое ясное! — и соскочил со стены. Ближайшего араба, обернувшего к нему полуслепое старческое лицо, он дружески треснул по спине, весело крикнув, по-русски:

— Здрасти! Пусти-ка пожать.

Полуслепые глаза заглянули в бойкие серые глаза сибиряка — морщины дрогнули и расплылись в улыбку:

— Москоби, хе-хе-хе! — засмеялся араб и уступил ему свой серп.

Абрамов жал ловко, быстро, точно он всю жизнь только этим и занимался. Он работал в упоении, во все горло распевал сибирские частушки. Со стены ему аплодировали, особенно Сарра.

— Браво, Абрамов! Сейчас и я.

Арабы побросали работу и окружили Абрамова. Позже всех подошел Ибрагим. Он не смеялся, в его глазах не смягчилась черная сталь.

— Таиб, Москоби! Таиб! — одобряли арабы, а один старик положил ему руку на плечо и припомнив русское слово, когда-то привившееся к нему от русских богомольцев, проговорил:

— Карошо, русска! Карошо!

В недобрый час подошел он к Абрамову: тот не доглядел и полоснул себя серпом по пальцу.

— У него кровь! — закричали девушки на стене. Абрамов, сюда, скорее! Где иод, Сарра?

— Подь ты к лешему, — выругался Абрамов и засунув палец в рот пососал его и выплюнул кровь на землю.

— Ничё — сейчас пройдет.

— Эй, Ибрагим, — крикнул кто-то, — скажи селям твоему полю: уже кровь еврея на нем. Быть еврею хозяином поля!

У Ибрагима лицо побелело, как полотно и еще больше и темнее зачернели его глаза.

— Слушай, — сказал он угрюмо подходя к Абрамову:

— Ялла рух! — Уходи скорей. И он стал проклинать Абрамова, его народ и его веру.

— Чего такое? — спрашивал Абрамов, завязывая платком палец:

— Что ему надо? — крикнул он товарищам на стене. А арабы кинулись между Ибрагимом и Абрамовым и стали удерживать молодого араба.

— Уходи, уходи! — кричали со стены девушки, поняв что-то недоброе.

Понял и Абрамов. Моше тоже понял, что пришло его время. Он тяжело спрыгнул со стены и вскинув голову, навстречу солнцу, пошел к Ибрагиму. А Ибрагим весь красный рвался из рук арабов.

Моше вплотную подошел к арабам, державшим Ибрагима. Они отпустили его. Моше стоял перед ним спокойный, выжидающий, заложив за пояс большой палец правой руки. Кругом была мертвая тишина. Ибрагим

резко повернулся и ушел. Моше тогда медленно обвел всех своими большими близорукими глазами.

Все стояли молча.

Он взял Абрамова под руку и увел его.

Абу Ибрагим приехал из города на извощике. С ним были два еврея: один маленький, кругленький, другой — высокий, грузный, ударявший землю сперва каблуками, а потом — толстой подошвой.

Все трое медленно обходили поле вдоль стены. Говорил все время маленький еврей и араб. Высокий еврей только посмеивался. Халуцы уже оставили работу. Они умывались под водопроводным краном возле палаток. Девушки хлопотали в палатке, служившей кухней, готовя ужин. На арабском поле жатва еще продолжалась. Ибрагим работал далеко — возле апельсиновой рощи. Он долго не замечал отца. Голос муэдзина послужил сигналом кончать работы, и только тогда Ибрагим увидел издали отца и ходивших с ним евреев. Он долго разглядывал их издали, потом почему-то побежал в дом и одел феску. Когда он вышел, евреи уже ушли, а отец шел по полю к излюбленному своему месту под финиковой пальмой. Кончился Намаз, — все разбрелись, Абу Ибрагим одевал, покряхтывая, сандалии. Ибрагим подошел и присел на корточки.

— Зачем приходили евреи ? — спросил он.

Абу Ибрагим тихонько засмеялся :

— Так приходили.

— Нет, отец, — нахмурился Ибрагим, — ты им поле продаешь ?

— Продаю? — переспросил отец, — нет не продаю. — В это время он одолел сандалии и весь красный от усилия встал.

— Хитрые эти евреи, как шайтаны, — проговорил он про себя, поправляя пояс. — Кольцом хотят меня охватить! Кругом, говорит, землю купили, а ты останешься один среди новых улиц.

Ибрагим следил за каждым жестом отца.

— Так ты продашь поле? — тихо спросил он опять. Абу Ибрагим громко закричал, точно ушедшие евреи могли его услышать:

— Если дадут мне лиру за пик земли — продам. Меньше не возьму.

Высокий Ибрагим с суровыми морщинами меж бровей и с чернеющими усиками в одну минуту стал опять маленьким мальчиком. У него задрожали губы, глаза, в которых сверкали такие синие лезвия, вдруг наполнились слезами. Он прижал руку отца к своим губам и тихо, как маленький, взмолился:

— Не продавай поля! Я буду работать. Я много денег тебе заработаю, но поля не продавай евреям. — Отец вырвал у него руку и гневно крикнул на него:

— Замолчи, осел! Что ты понимаешь!

Но Ибрагим не слушал.

— Отец, — молил он, — ведь это поле — наше и наших отцов. Я на нем совсем маленьким пас коз. Куда мы уйдем отсюда? Всюду евреи пойдут за тобой и новое поле тоже заберут. Не продавай!

Отец взял с земли цыновку, собираясь уходить.

— Отец! — крикнул Ибрагим и снова появились у него морщины меж бровями: — А могилы? Ты их тоже продашь евреям?

— Сядь, — мягче сказал тогда отец, и опустился на цыновку, — и понимай, как мужчина, а не как мальчик.

Он оглянулся, не подслушивает-ли его кто-нибудь:

— Они скупят землю у Арефа-Эффенди и оставят меня в стороне. Там им хватит земли на целый город. А мне нужны деньги — много денег. Налоги нужно платить, — и нечем, а инглиз *) не любит ждать. И долги у меня есть. И для тебя нужны деньги — уплатить калым**) за жену...

— Не нужно мне жены!

— Молчи! — крикнул отец, — тебе еврейки нравятся! Все велят тебя женить.

Он вдруг мечтательно закатил глаза кверху и заговорил:

— Евреи мне дадут вот какую груду денег. Мы купим дом в городе. Поля не нужно нам. Жену достану тебе — другой в городе не сыщешь такой! Купим ослов... нет, двух лошадей мы купим! — знаешь каких: с маленькими головками, на тоненьких ногах. Кто это едет в кофейню на расшитых седлах? Ибрагим-Эффенди с отцом — Абу Ибрагимом! Сын у тебя родится. Назовем его Ахмедом, как моего отца...

— А могилу твоего отца продашь евреям?

— На это воля Аллаха. В бумаге напишем, чтобы могил не трогали.

— Воля Аллаха! И на это воля Аллаха, чтобы за деньги продать евреям всю страну, и мечети, и веру?

---

*) Инглиз — англичанин.
**) Калым — выкуп.

— Молчи! Кто ты такой, что так говоришь? — Но мальчика уже больше не было: стоял высокий, молодой араб с горящими глазами:

— Я — Араб, — сказал Ибрагим: — И я — Мусульманин. Веру я не продам неверным за деньги, за веру я кровь пролью.

— Молчи, молокосос!

— Отец, — прошептал Ибрагим сквозь стиснутые зубы: — Никто живой не возьмет у меня этого поля.

Солнца уже нет.

Кто-то невидимый и огромный уронил в синее море голубую мантию и утонувшее солнце подожгло ее. Золотым севом засевают небесную ниву. Затихает утомленная земля. Возле палаток, за большим столом сидят халуцы. Сарра пишет; есть дальний уголок за столом — уголок Сарры. Там она вечером зашивает чью-то ветхую блузу или перевязывает чей-нибудь раненый палец, или готовит урок еврейского языка для своего строгого учителя Моше. Или беседует со своей тетрадкой, в которую заносит все радости и печали истекшего дня. Ее щадят и не тревожат—она любовь квуцы *),—голубоглазая Сарра. Около нее стоит маленькая лампочка. Воздух так тих и неподвижен, что лампа горит спокойно, точно в комнате.

Но нет покоя Липскому. Ну, да, это его грех: он пишет стихи. Фельдман говорит, что у него есть все, что необходимо для поэта: и буйные кудри, и белая шея, не хватает ему только хороших стихов. Злой язык у Фельд-

---

*) Квуца — группа, об'единение.

мана. Липский сидит недалеко от Сарры и пишет, а сестра Фельдмана, чернобровая хохлушка Златка, через стол бросает в него крошками хлеба. Он очень серьезно просит не трогать его. Златка надувается и уходит. Рифма, как известно, боится житейских дрязг. Он зол. Бормочет что-то, об уходе из квуцы. Потом прячет бумагу в ящик стола и тоже уходит. Двое играют в шахматы: сибиряк Абрамов и Гриша Расов. При каждом удачном ходе Абрамов поет песню о том, что:

«Погорела лебеда без дождя,
Моя белая лебедушка...»

А Гриша Расов хватает тогда двумя пальцами кончик своего носа и, поглаживая несколько мгновений, вдруг проясняется величайшей радостью, — так, что сияет у него и большой блестящий лоб и маленькое лицо и круглые серые глазки.

— Ах ты хитрец, хитрец! Разве я не вижу насквозь твоей хитрости? — Он часто видит Абрамова насквозь, и все же постоянно терпит от него поражения. На этот раз он, действительно, угадал и план Абрамова разбит. Абрамов ругается, а Грише становится жаль его:

— Ну, ладно, я возьму обратно свой ход, — утешает он.

Но Абрамов уязвлен и не допускает этого. Игра продолжается.

Юноша лет восемнадцати, Зеэв Любимов, слоняется в темноте недалеко от палаток. Не дай Бог его назвать Вольфом или, по домашнему, Волей. Он бесповоротно стал именоваться Зеэвом. На медной пряжке его пояска, которую он усердно чистил камнем, еще по дороге в Палестину, все же остались инициалы Немировской гимна-

зии. Он уже пятый день в Палестине и второй день работает. Он не захотел отдохнуть с дороги и, как в бой, ринулся в работу. Целый день вместе с другими халуцами срезал лопатой небольшой бугор, бросая землю в вагонетку, отвозившую ее по рельсам на низменное место. Теперь у него странное состояние, точно он пьян, голова у него тяжелая и сильно болит спина. И руки обожжены. Он и ужинать не мог. С восторгом, как во сне, смотрит он кругом. Вот финиковые пальмы; на ночном небе они выделяются, как огромные спящие птицы, широко раскинув свои крылья. Точно такими он их видел на рисунках в «Тысяча и одной ночи». Да, да: он в Палестине, стране отцов! Он, — Зеэв, все время разговаривает на языке пророков. Правда, он раньше придумывает каждую фразу, но это — ничего, пройдет. Вот худо, что он думает по-русски. Ну-ка — по-еврейски? Он смотрит вверх и думает о дрожащих звездах, нависших над ним, как огненные слезы. Но не заметив, снова перешел на русский язык. Да, он работал весь день на палестинской земле. Ах, если бы папа мог видеть, как он счастлив! Тянет к земле, лечь хочется. Он медленно бредет к палатке — кухне, где две девушки моют посуду. Одна из этих девушек — его сестра Эстерка, другая из их же местечка приехала вместе с ними. Эстерка такая же высокая и тонкая, как сам он, но глаза у нее больше и холоднее.

— Шалом, — приветствует он девушек: — Добрый вечер. Ну, Эстерка, как ты себя чувствуешь?

— Ничего, — говорит она. — Только руки потрескались и от соли сильно болят.

— Болят? — вырвалось у него с глубоким состраданием. — Что же делать?

Вдруг послышалось всхлипывание другой девушки и к Зеэву обернулось толстое лицо, залитое слезами.

— Волюня. Я не могу видеть: я уже час прошу ее — дай мне домыть посуду. Для меня вымыть еще пять горшков то же самое, что ей сыграть какой-нибудь вальс на рояли. Но она не хочет. Господи! — залилась она слезами, — если бы увидели ваши родители!

— Ну, милая Лея, не плачь. Уже кончено. Вот — конец, — сказала Эстерка.

И вдруг разглядела брата:

— Что с тобою? Ты красный, как огонь!

— Ничего, это от солнца.

Брат и сестра вместе вышли из палатки. Эстерка подошла к Сарре и попросила вазелину для рук.

— Дабур и иврит, — ответила та вставая. — Говори по-еврейски. Разве твои болящие руки не напоминают тебе об этом?

Оне обнялись и пошли в палатку за вазелином, а Зеэв направился к группе халуцим, работавших при лампе мебель для квуцы: скамейки, шкаф для кухни. Но не клеилась сегодня их работа; душистое, шелестящее поле лежало где-то тут же рядом в темноте и волновало их. Закуривали каждый раз и принимались обсуждать слова Фельдмана.

— Конечно, он прав, — говорил один косоглазый парень и казалось при этом, что его глаза смеются:

— Когда я уезжал, плакала моя старая мать. А отец ей говорит: Не плакать, а радоваться надо. Через пол года или год мы приедем к нему, а у него уже курочки кудахтают и плуг стоит во дворе, как у крестьянина. И мы оба с тобой выйдем на заре в поле сорные травы полоть.

Это будет твое поле и никто тебя не обидит на нем. — Вот это его слова были и это мои мысли. А мы тут уничтожаем поля!

Зеэву интересен был разговор, но его тянуло лечь, а он не хотел поддаться. Пошел дальше. Тут же на бугре раскопанной земли лежали двое. Оба были из одного местечка с ним и вместе совершали они путь в Палестину.

— Ложись, Воля, — сказал один. — Тут так мягко и прохладно.

Зеэв с наслаждением опустился на влажную землю.

— Ну, дальше? — спросил первый.

Разговор происходил на жаргоне и Зеэву подобало бы протестовать. Но есть вещи, о которых можно говорить на только на одном языке: это — о родном местечке.

— Да. Так вот наш учитель Шымалы после обеда засыпал, а я убегал из местечка. Большею частью я убегал по немировской дороге. Не знаю, знакомо-ли вам это место, по ту сторону церкви. Этот луг похож на раскрытую книгу, в которую заложили разноцветную закладку.

— Знаю, — сказал Зеэв. — По одну сторону гора, по другую гора, а между ними узкая тропинка.

— Да, да, — продолжал рассказчик. Тропинка на которой растет старая верба. Однажды там косили мужики и один из косарей попросил у меня папироску. Я от него узнал, что он два раза уже ходил в Палестину на богомолье. Целую неделю ни Шымалэ, ни отец мой не могли меня разыскать. Белый хлеб исчезал ежедневно неизвестно куда, а я являлся спать через окно, которое открывала мне моя Роза.—Ну ну?—встречала она меня шопотом: — Что он еще рассказал про Палестину. Я кормил мужика белым хлебом и снабжал его папиросами, а он мне

рассказывал про Иерусалим, Яффу и Вифлием. Велико было мое страдание: я его спрашиваю про Бет-Амигдаш, а он мне про могилу Божией Матери рассказывает.

— А потом тебе всыпали ?

Спросил Фельдман, тихонько подошедший во время рассказа.

— На этом лугу вся наша семья пряталась во время одного погрома, — сказал Фельдман. — Хорошее место !

Подошли столяры. Один из них, проникшись общим настроением, вслух подумал :

— Сейчас выходят у нас из Бет-Амедраша. Вспоминают нас. Завидуют. И надеятся на нас.

Что-то пробежало тенью по всем сердцам. Опустились головы, задумались : на них надеялись где-то там, в страшном зверином логове.

И один из них ответил на это :

— Холуц ибнэ а Галил !

— Холуц ибнэ а Галил !

И взорванные одним порывом все пропели песню о том, как Холуц выстроит Галлилею. Вся квуца собралась вокруг них. Пели дружно, хорошо спевшимся хором. Но особенной силы достигло пенье, когда над палестинским полем полилась малорусская думушка. Казалось, и финиковые пальмы забыли свою многовековую грусть о великом прошлом и затихли — прислушиваясь к звукам певучей Украины.

Хорошо пели еврейские юноши и девушки украинскую песню, сладкую, как сладкий яд, и мучительную, как последнее прощание. Вот в широкий ток песни, точно алый ручей влила Сарра свои звенящие слезы. Вот чей-то могучий бас захотел остановить теченье, но не смог и сбитый, сам понесся, разливаясь по широкому руслу.

Вдруг песня остановилась.

Из темноты вынырнули двое, те самые, что перед вечером торговали у араба поле.

— Шалом лахам.

— Шалом.

— Поете? — спросил маленький, оглядываясь кругом.

— Вы славно поете. Пели когда-то и мы. Пойте друзья, чтобы веселее было.

— Хе-хе-хе, — показывая кончик языка из беззубого рта, посмеивался высокий.

Маленький сел на песок, а высокий, потоптавшись нерешительно, обратился к Сарре:

— Будьте добры, дайте мне что-нибудь подложить: земля сырая, а у меня ревматизм.

Маленький приступил сразу:

— Видите, господа, мне необходимо знать, не приходил-ли кто-нибудь к арабу после нас.

— Нет, не приходил никто, — отозвались некоторые.

— Это дело большой важности. Городу необходимо это поле, иначе весь план будет исковеркан.

— И к черту, — отозвался Фельдман. — Пусть город хоть и весь пропадет, а поля жалко.

Маленький живо обернулся к нему:

— Как вы выразились, товарищ? К чорту город? Мы, старые палестинцы, умеем дорожить полем не хуже вас.

— Зачем-же вы отдаете поле на с'едение Бердичеву или, как там его, Тель-Авиву? Лимонад...

— Подождите! — с удивительной силой сказал маленький.—Не смешивайте все вместе! Тель-Авив—это пока единственный винт, которым мы прикрепились к берегу Средиземного моря.

Он встал и, указывая куда-то в темноту пальцем, говорил:

— Вот там, у Иордана, у Рафы, у Кинерета — не менее десяти винтов таких мы пустим в землю и между ними расстелются деревни, хутора, фермы. А без этих десяти городов легкие поселения не удержатся. Их снесет и затянет место песком.

Он остановился на миг и потом опять обвел всех глазами:

— Кто захотел бы сослужить службу этому делу?

Встал Моше. Два шага вперед:

— Я.

Маленький посмотрел на него и в первый раз улыбнулся:

— Вы согласны со мной?

— Вам нужно мое мнение?

— Да.

— Да, города нужны. И города строятся на земле. Но я четверть жизни был немецким солдатом. На смерть шел по одному жесту, не рассуждая. Во Израиле я тоже солдат. Что нужно делать?

Маленький отвел его в сторону. Все молчали. Высокий смеялся:

— Хе-хе-хе. Споры, споры! Выбрали нас — меня с ним — сделать покупку. Ноги болят, а нужно итти!

Все молчали.

— А я принужден уехать в Аргентину, — вдруг сказал он со вздохом. — Дети зовут и жена хочет туда. А я не хочу: тут климат очень хорош для моих ног.

— Как! Только это? — спросила удивленно Сарра. А Сион?

Старик внимательно посмотрел на нее и засмеялся, показывая кончик языка:

— Хе-хе-хе.

Все расходятся на ночлег. Затихает лагерь. На бугре, лицом к восходящей луне, лежит еще Липский, сверкая широко раскрытыми глазами. Златка нашла его. Какой он непонятный...

— Почему вы один весь вечер? — склоняется она к нему. — Что с вами?

Он обрадовался ей:

— Это вы, Златочка, милая девушка! Как хорошо, какое счастье кругом! — Может быть, на этом же месте, две тысячи лет назад, лежал древний еврей и глядел в звездное небо. Пел. О стаде своем, что задремало кругом него. О Боге, что почиет на Горе Сионе. И вдруг он видит на ближней вершине тревожный костер. И вдруг проехал всадник и возвестил ему восстание Маккавеев. — А теперь тут я — милая Златочка!

Он схватил ее руку и жмет ее. Но он весь в тумане своей мечты. Он ее почти не видит... Ах, почему он такой... далекий. Он не замечает ни ее черных глаз под густыми бровями. Его не волнует ее высокая грудь. Он вечно в мечте. И она присела к нему. Нагнулась, заглянула ему поглубже в глаза.

Уснули палатки, чуть белеют в темноте. Все гуще и чернее ночь, точно со дна земли ползет она все выше и выше к темному небу, к бодрым звездам. Только над Тель-

Авивом прорвана ночь, сожженная сверкающим светом. По апельсиновым садам, по тропам шакалов и лисиц, бежит волчьим бегом Ибрагим. Уж поздно. Тысячи, тысячи правоверных были в мечети. Эффенди говорил опять. Плакал старый имам и бил себя кулаком в грудь. Гудели правоверные, клялись и сверкали глазами.

Ибрагим бежит кратчайшим путем, через чужие сады. Добежал, наконец, до своего поля, но свернул к палаткам. Он шел тихо, как кошка, пригнувшись к земле. Недалеко от палаток он встал и несколько мгновений вглядывался, вытянув шею. Что-то зашевелилось, зашуршало. Ибрагим знал, что это не ящерица.

— У-у-у! — прошипел он, ударив темноту кулаком. И как змея скользнул со стены и исчез на своем поле.

— Ми шам? Кто это? — спросил Зеэв, вглядываясь в темноту. Ему не спалось. Болела голова.

— Чего такое? — спросил Абрамов, просыпаясь. — Видел кого-то? Тише. Сходим, посмотрим. Вороватые арабишки. И не заметишь, как унесут что-нибудь.

День похож на бесконечную огненную дорогу. Медленно бредет по этой дороге Зеэв, уж сил нет итти. Он, конечно, вышел на работу, хотя все товарищи по палатке не позволяли ему итти. У него свои мысли, которых он не может доверить даже сестре. Если он не пойдет на работу, значит за него кто-нибудь другой будет работать. За этим, разве, ехал он в Палестину? У него болят руки, ноги и спина, потому что он не привык к тяжелой работе. Все товарищи страдают не меньше его. Нужно привыкать. Если не выходить на работу из-за

всякого пустяка, то кто же возродит страну своим трудом? Разве нежиться приехал он в Палестину? И даже на часы нечего смотреть. Киркой по окаменевшей земле — рраз, рраз! Так. И взял он на помощь из своего молодого сердца всю любовь, всю веру, всю силу, — и подкрепился. Бьет по земле киркой. Еще четверо таких же, как он, работают рядом с ним.

— Эй, ребятишки, потише! Уморитесь скоро, — говорит Абрамов, под'езжая к ним с вагонеткой.

Один не стерпел, снял с себя рубашку. Мокрая она, от пота, жжет тело, как огнем.

— Заболеешь от солнца! — кричат ему опытные рабочие.

— Ничего, — отвечает он. — Это будет потом. Зато теперь прохладнее...

Расов стоит рядом с Зеэвом и тихо говорит ему:

— Ничего, не пугайся — это с начала только так трудно. Сегодня, действительно, что-то очень уж жжет. Вот увидишь: в половине десятого начнет дуть с моря ветерочек. Чуть-чуть заметный ветер. Вот увидишь — в половине десятого, ровно. Потом уж легче становится, не жарко. И все время дует этот ветер. Нигде в мире нет такого приятного ветерка. Который час, Абрамов? Ах, еще только девять. Вот увидишь: ровно в половине десятого.

Огненная дорога становится все труднее, все круче. Зеэв все так же бьет кайлом по земле, но кажется ему, что он ударяет по собственному лбу. Невыносимо болит голова, слезы катятся из глаз и страшная мысль колеблет его дух, мысль о том, что он не годится для физической работы — для той единственной работы, которая сейчас так необходима его родине. Зачем же тогда он,

Зеэв, живет на этом свете?

И с глубокой тоской взглянул он на небо, на палестинское небо, о котором страстно мечтал он все юные годы. Ближайший товарищ крикнул:

— Что с тобой, Зеэв? Ты страшно бледен.

Двое взяли его за руки, но одно мгновенье он еще сопротивлялся.

— Ничего. Это голова.

Потом покорился. С отчаянием выронил кирку и с подавленным рыданьем пошел, куда его повели.

Ему обливали голову водою из-под крана. Прибежала Эстерка. Тоже бледная, крепко сжав губы, испуганно раскрыв темные глаза. Увидев ее, он попытался улыбнуться.

— Это — пустяки, Эстерка! Голова.

И закрыл глаза. Его увели в палатку. А Расов о чем-то пошептался с Моше и побежал в дальний угол поля, где группа рабочих отливала бетонный фундамент для первого дома.

— Слушай, доктор, — сказал Расов одному рабочему, — этот красивый новенький заболел. Пойдем.

— Я здесь не доктор, а бетонщик, и отойти мне нельзя без позволения.

Единственно, что осталось в докторе докторского, это очки. Загорелый, здоровый парень, в парусиновой рубахе, весь запачканный бетоном. Он стал бетонщиком, находя, что в Палестине бетонщики нужнее врачей.

— Надо взять кровь для исследования, — сказал доктор, осмотрев больного:

— Но мне впрочем и без того ясно, что у него малярия. Слышь, товарищ, — пощекотал он Зеэва под подбородком, — ты получил первый палестинский орден — малярию.

Великое счастье засветилось в глазах больного.

— Спасибо, доктор — пробормотал он, пожимая руку врача. — Это скоро пройдет, неправда-ли?

— Конечно, конечно. Шалом вам. Иду к моему бетону.

— Это не из-за слабости, — говорил он возбужденно Эстерке. — Я гожусь к работе не хуже остальных. Это обыкновенная малярия!

На поле, у Абу Ибрагима, жатва близилась к концу. Абу Ибрагим приехал из города не в духе. В кофейне он узнал, что евреи не спрашивали его, следовательно, — они что-то затевают. Он всю дорогу нещадно бил своего маленького ослика; ослик немного больше собаки едва семенил ногами под тяжестью араба.

Огромный, красный, потный пошел Абу Ибрагим в поле. Ниже согнулись спины, быстрее заходили серпы: араб издали чует приближение эффенди.

— Ты почему не жнешь? — накинулся он на ближайшего парня, оправлявшего свой сложный головной убор, грязную тряпку. И безжалостно, метко ударил его ногой.

— Ты не бей! — вскрикнул рабочий: — Я за десять пиастров не буду работать, как осел.

Изумленный неслыханной дерзостью, Абу Ибрагим окаменел и, казалось, потерял рассудок, глядя на всех сверкающим взглядом. Рабочие мгновенно окружили парня.

Старичек, уступивший Абрамову свой серп в первый день жатвы, вдруг ударил парня по лицу и иступленно завизжал:

— Собака! На кого ты поднял голос? На отца правоверных, который кормит нас всех хлебом! На колени, бешенный шакал — или я убью тебя.

Рабочие гневно гудели, тоже угрожая парню. Толкнули его вперед — и он покорно припал лицом к поле одежды отца правоверных, Абу Ибрагима.

Не проронив ни звука больше, с тем величавым смирением, которое никто не в состоянии так изобразить, как умеет делать это араб, Абу Ибрагим удалился под пальму и сел за наргиле. Евреи не приходили.

И вдруг близко по дороге зазвенел колокольчик, и к воротам подкатил экипаж знатных эффенди— он встал и пошел к воротам встречать гостей. Тогда Моше немедленно кликнул товарищам-ребятам на поле Арефа-эффенди захватив землемерные инструменты. Заходили ребята по полю, размахивая длинными цепями и остроконечными палками. Высоко стояла астролябия; около нее орудовал Фельдман, он взял на себя роль главного землемера и потому оделся в праздничный черный костюм, надел очки; громко кричал, ругался, даже ногами топал. Саша Абрамов счел необходимым свистеть каждый раз, закладывая два пальца в рот. Появился сам Ареф-эффенди в сопровождении двух покупателей поля: маленького и большого. Абу Ибрагим заметил все, что творилось на соседнем поле как раз в тот момент, когда эффенди закончили страстный призыв к нему, к арабу, сыну земли, не продавать евреям своего поля.

— Купите вы поле, — ответил он им очень спокойно, отрыгнув для большей солидности. — Мне евреи дают целую гору золота. По лире за пик предлагают, но я так дешево не продам.

— Хорошо, — сказал один эффенди. — Мы купим твое поле, если тебе непременно нужно его продать. Но евреям ты не должен продавать земли.

И начался торг, неподражаемый арабский торг, когда обе стороны взывают к Аллаху, Магомету, Корану и вообще ко всему святому, а потом, как бы охладев к покупке, смотрят на солнце и безнадежно коротко зевнув собираются уходить. И вот в это самое время стало видно все, что творится на соседнем поле...

Расчет маленького был верен. Приехавшие эффенди были представители антисемитской организации, в которой участвовали также и французские монахи. Увидев у Арефа-эффенди землемеров, они сообразили, что небольшое поле Абу Ибрагима не так уж необходимо евреям после того, как они приобрели другое огромное поле. И они тихонько уехали, оставив Абу Ибрагима в состоянии столбняка.

Но все же поле Абу Ибрагима было куплено евреями только недели через две. Он очень торопился очистить его и раньше обыкновенного приступил к молотьбе.

Хлеб был вывезен на ровное место и разложен толстым слоем в форме большого круга. Весь скот Абу Ибрагима был выгнан на этот мягкий круг и целые дни, с утра до ночи, ребятишки гоняли его по снопам, — обычный способ арабской молотьбы. Шествие открывал горделивый верблюд. За ним, по старшинству, следовала пугливая лошадь, голова ее обязана мешком, затем две ко-

ровы, несколько бычков, козы и даже петух. За скотом оживленной стаей бежали разнокалиберно дети Абу Ибрагима, рожденные тремя его женами. Их было много. Почти у всех глаза слезились, а у нескольких уже были бельма.

Только Ибрагим удался Абу Ибрагиму, красивый, зрячий — как эффенди. Он родился в пору молодости отца, от первой любимой жены. Давно умерла она и унесла с собой в могилу его богатство, унаследованное от отца. Только поле осталось. Так судил Алла Керим.

Хлеб под ногами скота превращался постепенно в серую труху, смешанную с пылью и песком. Скот тут же удовлетворял свои нужды, хотя в руках одного из погонщиков всегда была лопата, которую он иногда успевал подставлять неприличному животному. Покачивались многодумные пальмы, глядя на эту картину: так делалось людьми при патриархах библейских, так они будут делать до окончания века...

Придет через неделю хозяин зерна с соседями, наберут они по пригорошне трухи, подумают, посудят, зубами попробуют зерно и постановят: пора веять. Тогда начнут лопатами подбрасывать труху в воздух, а ветерок морской — тот самый, — о котором так любовно говорил Расов, — подхватит песок, навоз, солому, всю грязь, высушенную солнцем и отнесет в сторону, а людям оставит чистое зерно, жизнь правоверных. Так велит ветру Алла Керим, да святится имя его! Возьмет потом правоверный десятую часть урожая «ошер», и отдаст инглизу, ибо жаден инглиз к деньгам, как песок к воде, и готов он за деньги сжечь огненной машиной деревню. Соломенная труха легче всего и относится ветром дальше песка, в особую кучу. Это Алла, заботясь о скоте, велит ветру

ссбрать мякину в большую мягкую кучу с острым гребнем наверху.

Часть зерна правоверный продаст в городе безносому эффенди, у которого шайтан выгрыз нос за то, что смущал эффенди чужих жен. На деньги араб купит себе белый платок на голову, старый солдатский мундир для старшего сына, а жене и дочери ничего не купит.

Жене за то, что не рожает больше сыновей, а дочери — за то, что ее не покупает никто. Останутся у него еще деньги, он выменяет их на серебро или золото, их зароет где нибудь в глиняном горшке так, чтобы знали об этом только двое: он да всеведущий Алла Керим.

— Сарра. Сарра!

Чей-то знакомый голос, громкий, но с ноткой страха, словно кричавший боялся разбудить кого-нибудь.

— Войдите, — ответила громко Сарра, готовившая в палатке все нужное к ужину.

— Сарра, Сарра!

— Что там такое? — подумала Сарра и выскочила из палатки. Мутными хлопьями оседали на землю сумерки. Над стеной темнела красная феска, перед Саррой выступило бледное лицо, искрящиеся глаза Ибрагима.

— Сарра, — оказал он тихо, смешивая арабские и еврейские слова, пойдем... ко мне.

Тихо стало.

Наконец, Сарра пришла в себя:

— Прочь отсюда! — крикнула она по-еврейски, но тотчас вспомнила и арабское слово: — Рух!

—Сарра шелаби, — произнес он тихо, — Красивая Сарра. Иди со мной. Всем вам скоро сделают вот так, — показал он на горло.

— Товарищи ! — закричала она.

Он засмеялся, — схватившись руками за гребень стены :

— Товарищи ушла.

Сарра быстро скользнув в палатку встала среди ее с револьвером в руке.

Действительно, все перед ужином разошлись.

Бесконечно долго продолжалась тишина. Девушка чувствовала приближение араба и вот, у входа появилась его высокая фигура. Слышно было его порывистое дыханье; Сарра подняла револьвер, но араб вдруг исчез, — вдали послышались голоса.

...Долго шумели и волновались во время ужина, решая как наказать молодого араба. Ведь была обижена Сарра, любовь квуцы!

После ужина Моше подошел к Сарре, и по новому — странно, спросил ее:

— Так ты побежала за револьвером, а не в Тель-Авив ?

Она внимательно посмотрела на него, ничего не ответив.

Жизнь квуцы резко изменилась. Кончилась земляная работа. Нужно было ждать, когда покупка поля у Абу Ибрагима окончательно состоится и будет новая работа. А тут вдруг пришел иейменит*) из Городского ваада**) и спросил : кто глава квуцы. Вышел Моше.

*) Иейменит — еврей с полуострова Иеймен.
**) Ваад—управа.

— Вот, — сказал иейменит, подавая пакет: — Распишись.

Ваад требовал снять палатки и очистить место. Это был повод для Фельдмана отточить свои злостные стрелы. Квуца послала Моше и Фельдмана в ваад для переговоров.

Стоявший в приемной сторож-иейменит показал им заведующего этим отделом, молодого человека с землистым цветом лица. Он сидел за перегородкой и читал газету.

— Шалом, — приветствовали его делегаты.

Газета не дрогнула, чтение продолжалось. Через пол минуты голова властно вскинулась кверху:

— Что вам нужно?

У Фельдмана подергивались губы, стрелы сверкали в его глазах.

— Извиняюсь,—сказал Моше.—Мы сказали вам шалом.

Еще выше поднялась левая бровь:

— Ну и прекрасно! Значит, я вам должен один шалом. Что вам нужно?

Чуть-чуть нахмурился Моше.

— Почему вы велите снять палатки нашей квуцы?

— Так постановил ваад. Может быть, хозяин участка строиться захочет.

— Нет, он не будет строиться этим летом. Он вчера был у нас, — ответил Фельдман.

— Значит, — так нужно. Можете перейти на новое место. Это не так трудно. На берег моря.

— Но мы скоро будем иметь работу там же, на новой земле, купленной у Абу Ибрагима, — сказал Моше.

— Это для нас все равно. В три дня вы должны очистить место.

— Но тогда мы через неделю должны будем вторично переносить палатки с берега моря на новое поле. Ведь это бессмысленно!

— Ах, вы тоже большевик! — воскликнул чиновник. — Тогда знайте, что я с вами не буду разговаривать.

— Вы немного ошиблись, — вмешался Фельдман, — он не русский большевик, а германский офицер. Он приехал, чтобы вместе с вами возрождать Палестину.

— Разговор окончен, — встал с места заведующий. — За вами никто не посылал и никто для вас тут дворцов не построил. А место через три дня должно быть очищено.

— Нельзя-ли поговорить с городским головой? — спросил Моше у иейменита.

Тот осмотрел делегатов с головы до ног.

— Нужно написать в чем ваша просьба.

Моше набросал карандашем:

— Представители квуцы рабочих, которых сгоняют с места без всякого разумного основания, просят принять их для об'яснений.

Через минуту иейменит вышел с ответом:

— Некогда.

Фельдман тихонько смеялся. Моше задумчиво потер свой большой лоб. Потом ровным солдатским шагом подошел к перегородке заведующего и сказал:

— От имени нашей квуцы заявляю вам, что место мы не очистим до тех пор, пока нельзя будет палатки перенести на соседнее поле.

Тот через плечо ответил:

— Через три дня полиция снесет ваши палатки.

— Пусть попробует, — ответил Моше.

Грустно квуце расставаться с насиженным местом.

Девушки так любовно поливали цветы, насажденные вокруг палаток. Недавно они, по инициативе новенькой Эстерки, взяли немного цемента с построек, смешали его с песком и покрыли полы в палатках. В палатках после этого стало опрятнее — к великой радости всей квуцы.

По субботам квуца долго любовалась далью, где синие горы Иудеи колебались, дрожали на горизонте, точно небесный занавес, скрывший за собою великую тайну прошлого.

— Не видно будет нам теперь милых, тихих гор, — грустит Сарра.

— Ничего: будет видно море, — утешает ее Расов, всеобщий утешитель, и пускается в длиннейшее описание моря.

В квуце стало скучнее. Зеэв уже поправился, но еще не работал, проводя все дни над учебниками еврейского языка. Некоторые ходили без работы, скучные, подавленные. Трое уехали в Галлилею на разведки: нельзя-ли переселиться туда? Главный проповедник поездки Фельдман, сибирский хлебороб Абрамов и поэт Липский. Квуца ждала больших перемен в своей жизни. И вот, наконец, вернулись галлилейские разведчики.

Наступал тихий летний вечер. Вся квуца собралась вокруг длинного стола. Каждую минуту выростала из темноты новая фигура, приходили слушатели из других квуцот, узнавшие о возвращении ходоков.

Первым говорил Абрамов.

— Ну, ребятки, — начал он и, конечно, по-русски, — спасибо большое Фельдману, что надоумил таки нас переехать. Вот это жисть, так жисть! Вот видели мы несколько квуцот. Дают, значит, им землю. Местами земля

жирная, прямо-таки чернозем. Местами — голый камень, горы. Но ребята не унывают и тут. Выгребают, значит, камень, который покрупнее, и складывают его у подошвы, стеной складывают, чтобы земля не осыпалась, а потом выравнивают место. И так, посмотришь, на горе ступени понаделали. И какая на этих ступенях, ребятушки, капуста растет, так я в Сибири такой капустищи не видывал. Да и хлеб хорош у них нонче! Видели вы хлеб у этого идола, чорт его имя выговорит? Куда ему до того хлеба. Там и больше созрело, и природа зерна лучше. В Сибири нет такой пшеницы! А, ведь, у некоторых первый урожай был нынче!

Слушатели дрожали от восторга. Из уст в уста переходило:

— Пойдем в ваад проситься в Галлилею.

— Я пойду в ваад только вместе с Моше, — ввернул Фельдман. Моше перевели все сказанное Фельдманом.

Он тихо повернулся к Фельдману и сказал:

— Что-же? Я пойду с тобой в ваад. Но, ведь, кто-нибудь должен и города строить!

Внимание вновь привлек второй ходок, Липский.

— Были в одной новой квуце. Даже не квуца. Это — всего пять человек. Едешь целый час горами — не видишь человека. И вдруг — две палатки меж горами. Пять человек затерялись в горах. В этой глуши целую армию можно перебить — так, чтобы никто и не услышал, а они, пятеро, сели там! Бедуины в горах скот пасут, конечно, разбойники они, да еще натравлены антиеврейской пропагандой. Эти пятеро на работу ходят с винтовкой за плечами. Ночью один все время караулит. Почти каждую ночь — стрельба: к их лошадям добираются арабы. Ночью война, и днем — каторжная работа:

бой с первобытной целиной. Вдруг днем издали колокольчик слышен, караван идет: какой караван? С какими намерениями? Двое ложатся за камнем с винтовками наготове. Остальные трое берут в карманы динамитные мячики: ведь, неизвестно, может быть большая толпа идет. И моментами чудилось мне, что эти пятеро не люди, а огромные, каменные глыбы, стоящие там со дня мироздания.

— Я не люблю войны, — сказал громко Расов: — Я люблю мир без анексий и контрибуций.

Громкий хохот был ему ответом. Фельдман вскочил на стол и сказал:

— Тут не Палестина. Тут какой-то еврейский городок. Может быть он в Америке. А может быть — в России. А там — Палестина. Я пойду туда даже и без ваада. А вы — как хотите. Я не могу больше живое поле под бетоном хоронить.

Затихла квуца, укладываясь спать.

Златка и Липский прогуливались недалеко от палаток. Зеэв ушел дальше. Он был взволнован рассказом ходоков. В этот вечер исчезли все его сомнения: он окончательно соглашался с Фельдманом. Сегодня днем он видел, как высокие финиковые пальмы падали под ударами топора. Когда падала пальма, взмахивая ветвями, ему казалось, что это убили человека. И вспомнилось ему, что такое же точно чувство испытывал он в четвертом классе, когда учитель рассказывал, как приносили в жертву Молоху малых детей.

Да, он поедет в Галлилею! В глубокой задумчивости шел он по разровненному полю и дошел до самой бояры.

Оттуда вдруг выскочили двое, трое. Он даже не успел испугаться: грохнуло, сверкнуло, ударило его в грудь. И он упал, ударившись об что-то головой.

И, наступило ничто.

Необычайно красив был Зеэв, когда его, мертвого, одели в белое...

Траурно темнели его шелковые брови. И усики чернели резче, но губы оставались все такие-же детски-наивные, добрые, стыдливые.

Не стало Зеэва, тихого мальчика.

Над койкой его все так же висела гимназическая фуражка с белыми кантами, да еврейские учебники, раскрытые на последнем уроке, казалось, ждали его.

...Квуца рассыпалась. Ваад отказался переселить ее в Галлилею и тогда, сами по себе, уехали Фельдман, Златка, Абрамов и еще несколько человек и в том числе бедная Эстерка, осиротевшая сестра Зеэва.

Сегодня Абу Ибрагим вывез весь хлеб, всю соломенную труху и весь скот. Жен и детей он вывезет завтра. И завтра же на поле начнется работа. Ибрагим давно исчез. Отец об'яснил, что он уехал за Иордан искать невесту.

Ночью караулил Моше. Всю ночь он зорко смотрел по сторонам, охраняя квуцу.

А рано утром, когда на горизонте показались золотые ресницы еще закрытого ока и голос дня прозвучал над миром, рабочие подошли к стене Абу Ибрагима и стали разбивать ее железными ломами.

8-го февраля 1924 года.
Тель-Авив.

Джон Голсуорти

ЛЕС

Перевод с английского

Сэр Артур Хиррис, баронет, землевладелец одного из северных графств, решил продать свой строевой лес, что во время войны было так-же выгодно, как и патриотично.

Его настроение, — так же как настроение издателей газет, авторов стратегических сочинений, строителей судов, владельцев фабрик и орудийных заводов и широких кругов рабочего класса вообще, — могло-бы в то время выразиться в следующих словах: «я хочу послужить родине и ничего не имею против того, чтобы при этом увеличить свои доходы и поместить капитал в Государственный Заем!»

Имение было заложено, оно славилось одной из лучших охот всего графства,—и не было особенно желательно продавать строевой лес, пока он не стал во что-бы то ни стало необходим Правительству. До сих пор было выгоднее сдавать охоту, теперь же патриотический поступок и выгодная сделка стали синонимами. Сэр Артур принадлежал к лучшему обществу и вращался в нем с присущей ему неуклюжестью; это был человек 65 лет, но еще не седой, с рыжеватыми усами и красноватым оттенком лица,

слегка согнутыми коленями и большими плоскими ступнями. Благодаря повышенной цене, продажа строевого леса Хиррино обеспечивала его на остаток его дней. Поэтому в один прекрасный апрельский день, когда вести с войны были особенно плохи, он продал его на месте правительственному чиновнику. Продажа состоялась за наличные деньги в половине шестого дня и по окончании ее он выпил стакан виски, слегка разбавленного содовой водой, чтобы уничтожить неприятный вкус, оставшийся от сделки; он не был сентиментален, но все-же не мог забыть, что его пра-пра-прадед посадил большую часть леса, а дед остальную. В свое время августейшие гости охотились в нем, и сам он, не будучи хорошим спортсмэном, не раз промахивался по дичи в ложбинах и на верховых дорожках своих чащ. Но страна нуждалась в лесе и цена была внушительна! Расставшись с чиновником, сэр Артур закурил сигару и пошел через парк прощаться со своим лесом.

Он направился в чащу по дорожке, ведущей мимо группы грушевых деревьев, только что начинавших цвести. Сэр Артур любил сигары и предпочитал днем виски чаю, красоту-же природы он мало чувствовал; но эти грушевые деревья произвели на него впечатление, выделяясь своими зеленовато-белыми шапками на синем небе и перистых тучках, которые как будто предвещали снег. Как они были хороши и какой богатый урожай обещали они в этом году, если не будет поздних морозов, — а сегодня что-то смахивало на это! Он приостановился на минуту у калитки, чтобы еще раз обернуться на фруктовые деревья, которые походили издали на одетых в белые воздушные ткани молодых девушек, вышедших гурьбой на опушку леса. Это поэтическое сравнение не пришло в

голову сэра Артура Хирриса, который в эту минуту размышлял о том, как ему лучше поместить остаток полученных денег после уплаты по ипотеке. В Правительственный Заем, — ведь страна в нужде! Пройдя через калитку, он пошел по верховой дорожке, ведущей в чащу. Леса его, тянувшиеся на мили кругом, пестрели разнообразием пород деревьев. Предки его посадили почти все существующие породы: бук, дуб, березу, дикую смоковницу, ясень, вяз, орешник, остролист, сосну, изредка, — тут и там, — липу и граб, а дальше вглубь леса встречались места, заросшие колючим кустарником и опоясанные лиственницей. Вечерний воздух был свеж и по временам из мчавшихся мимо туч с шумом падал град; он шел быстрым шагом, затягиваясь своей душистой сигарой и еще ощущая в себе тепло от виски. Его охватила меланхолическая задумчивость, переходившая понемногу в досаду, при мысли, что он никогда больше не будет указывать тому или иному из своих гостей где ему следует встать в ожидании дичи. Фазаны стали выводиться за время войны, но он все-же вспугнул двух или трех старых петухов, которые с шумным хлопаньем крыльев и криком вылетали справа и слева; кролики спокойно пересекали взад и вперед верховые дорожки на расстоянии выстрела. Он пришел к месту, где 15 лет тому назад высокопоставленный гость стоял во время последнего загона. Он вспомнил, как Его Высочество сказало: «Отличная охота на этом месте, Хиррис; дичь взлетает как раз на ту высоту, которая мне удобна». Почва здесь поднималась довольно круто кверху, и лес состоял главным образом из дуба и ясеня; на фоне сероватых, еще голых дубовых веток и едва начинающих зеленеть ясеней выделялись темными пятнами несколько сосен.

— «Они в первую голову срубят эти сосны», думал он, глядя на стройные деревья с голыми и прямыми, как мачты, стволами, украшенными наверху густыми зелеными шапками, которые с жалобным скрипом раскачивались под ударами ветра. «Сосны втрое старше меня, отборный лес». Дорожка круто заворачивала и вела к группе высоких лиственниц, которые совершенно скрыли собой зловещий закат; воздух среди этих темных и неподвижных деревьев, окрашенных в нежно-каштановые и серые тона, был напоен ароматом юных зеленых, с красноватыми кончиками, побегов, — но дым сигары заглушал его. — «Это пойдет у них на колышки», — размышлял он, пересекая место, заросшее колючим кустарником и выходя в поросшую вереском березовую рощу. Не будучи знатоком леса, он сомневался — пригодятся ли им эти белые блестящие стволы? Сигара его потухла и он остановился под кружевным переплетом покрытых почками ветвей, прислонившись к одному из гладких и шелковистых, как атлас, стволов, чтобы защитить от ветра пламя зажженной спички. Заяц проскочил между кустов черники; сойка, пестрая, как раскрашенный веер, порывисто и шумно вспорхнула мимо него по направлению долины. Сэр Артур интересовался птицами и к тому-же ему недоставало еще одной сойки для его коллекции чучел, поэтому, хотя и не имея при себе ружья, он поспешил за промелькнувшей птицей, чтобы выследить ее гнездо. Долина круто спускалась вниз и характер леса изменился, — деревья становились все внушительнее, стволы все толще в обхвате.

Сойка исчезла и начинало темнеть. — «Пора возвращаться», подумал он, «я опоздаю к обеду». Минуту он задумался — итти-ли назад по той же дороге, или

пересечь буковую рощу и вернуться к дому, описав круг? Сойка, появившись слева, заставила его принять последнее решение. Он пошел по узкой дорожке, ведущей через частый смешанный лес, густо поросший кустарником. Дорожка эта вела сначала влево, потом вправо; сэр Артур торопливо следовал по ней, заметив, что сумерки быстро сгущаются и ожидая каждую минуту, что она повернет снова влево! Так и случилось, но ненадолго, и скоро дорожка вновь стала заворачивать вправо, и, так как кустарник по обеим сторонам ее был очень густ, ему оставалось или итти по ней дальше, или повернуть обратно по своим следам. Он пошел дальше и ему становилось жарко, несмотря на град, падавший в темноте. Природа не снабдила его качествами, нужными для быстрой ходьбы, — колени его были ввернуты внутрь, а ступни смотрели врозь! — но он шел хорошим шагом, с досадой сознавая, что дорожка уводит его все дальше от дома и ожидая, ежеминутно, но тщетно, что она повернет снова к дому. Наконец, сбитый с толку, запыхавшийся и разгоряченный, он остановился в надвигавшейся темноте и стал прислушиваться. Ни звука, кроме шума ветра, качавшего верхушки деревьев, и скрипа двух стволов, растущих так тесно, что они терлись друг о друга.

Дорожка была коварна и обманчива, как блуждающие огни. Он должен пройти напрямик через кустарник и выйти на другую дорожку! Никогда раньше не бывал он в своем лесу в сумерки и не предполагал, что эти проклятые деревья могут принимать такой угрожающий вид, — способны так заколдовать! Он быстро шел, спотыкаясь, между кустарником, не находя дорожки. — «Вот так застрял в проклятом лесу!» думал он. Для него было

облегчением назвать эти, окружавшие его со всех сторон чудовища, — «лесом». В конце концов это его лес, и ничего особенно неприятного не может случиться с человеком в его собственном лесу, как-бы темно ни было; он не мог находиться больше, чем в полутора милях расстояния от своей столовой! Он взглянул на часы, стрелки которых едва можно было разглядеть, — почти половина восьмого! Град перешел в снег, но снежинки едва достигали его, так густ был лес в этом месте. Однако на нем не было пальто; и вдруг он ощутил первое болезненное замирание в груди, предвещающее беду. Никто не знает, что он в этом проклятом лесу! А ведь через четверть часа ни зги не будет видно! Он должен выбраться! Деревья, между которыми он брел, спотыкаясь, производили на него теперь болезненное впечатление, — на него, который до сих пор никогда не обращал на них серьезного внимания. Что за чудовищный рост! Мысль, что семена, крохотные семена или черешки, посаженные его предками, могли достичь таких угрожающих размеров, — вид этих громадных привидений, достигавших до неба и отрезавших его от остального мира, — раздражали его и лишали мужества. Он побежал, запнулся о корень и упал лицом вниз. Проклятые деревья оказались сильнее его! Растирая себе локти и лоб мокрыми от снега руками, он прислонился к стволу, чтобы перевести дух и ориентироваться. Однажды, в молодости, он попал в западню на острове Ванкувер; это была скверная история! И все таки он вышел из нее невредимым, хотя его лагерь был единственным цивилизованным пунктом на протяжении 20 миль вокруг. А теперь, на собственной земле, в одной, двух милях от дома он так глупо попал в просак! Это идиотство! Он рассмеялся. В ответ ему

застонали верхушки деревьев под ударами ветра. Теперь дул настоящий ураган, — с севера, судя по холоду, но еще вопрос — с северо-ли запада или с северо-востока? Как можно было разобраться в направлении в этой темноте без компаса? Да еще в густом лесу где ветер, разбиваясь о могучие стволы, дул одновременно в разных направлениях? Он посмотрел вверх, но различил только две-три звезды, которые не могли помочь ориентироваться. Что за чепуха! Он с трудом закурил окоченевшими руками вторую сигару. Проклятый ветер забирался под его спортивную куртку и пронизывал разгоряченное тело, к которому прилипала промерзшая рубашка; он начал дрожать от холода. Это будет ему стоить воспаления легких, если он не поторопится! И он снова пустился в путь, ощупью пробираясь от ствола к стволу; недоставало того, чтобы он, сам того не зная, кружился на одном месте или пересекал верховые дорожки! Опять что-то как будто оборвалось у него в груди... Он остановился и закричал. Ему показалось, что он кричит в стену, ударившись о которую звук его голоса возвращается к нему обратно. «Будьте прокляты!» подумал он про деревья «жаль, что я не продал вас пол года тому назад!» Ветер засмеялся над ним в верхушках деревьев; он снова двинулся с места и бежал в темноте, пока не ударился головой о низкорастущую ветку и не упал, ошеломленный. Пролежав несколько минут без сознания, он очнулся от холода и с трудом поднялся на ноги.

— «Чорт возьми!» подумал он, «дело плохо! Я могу застрять здесь на всю ночь». Замечательно для человека лишенного воображения, как он, какие яркие картины проносились теперь перед его глазами! Он видел лицо чиновника, купившего у него лес,

и легкую гримасу, с которой тот согласился на незначительную цену. Он видел своего дворецкого, который, после обычного удара в гонг, застыл в неподвижной позе около буфета, ожидая, чтобы он вошел в столовую. Что будут делать его слуги, когда увидят, что он не возвращается? Хватит ли у них ума предположить, что он заблудился в чаще, взять фонари и пойти его искать? Скорее они подумают, что он прошел пешком к Гринландам или Берримуру и остался там обедать. Вдруг он увидел себя замерзающим здесь, в снежной ночи, в этом проклятом лесу. Он энергично встряхнулся и снова побрел вперед между стволами. Он был сердит теперь, — и на себя, и на ночь, и на деревья, — так сердит, что ударил кулаком ствол, о который запнулся, и ободрал себе при этом пальцы на руке. Это было оскорбительно, а сэр Артур не привык к оскорблениям! Пускай это случилось-бы с ним в чужом лесу, но заблудиться так в собственной чаще! Ну, он выберется отсюда, хотя бы ему пришлось для этого итти всю ночь! И он упрямо брел в темноте.

Он боролся теперь со своим лесом, как будто это было живое существо и каждое дерево — враг. Пока он с усилием и спотыкаясь ощупью пробирался вперед, его злобная досада перешла в полудремотное философское настроение. Деревья! Его пра-прадед посадил их! С тех пор они пережили четыре поколения хозяев, — он сам принадлежит к пятому, но казались все так же молоды; они не считаются с человеческой жизнью! Он засмеялся исподтишка: а человек за то не считается с ними! Разве они знают, что их скоро срубят? Тем лучше, если знают и заранее трясутся от страха! Он ущипнул себя, — что за странные мысли приходят ему в голову! Он вспомнил,

что раз, когда он страдал печенью, ему мерещилось, что деревья, покрытые грибчатой корой, испещренной рубцами, пузырями и язвами, представляют собой различные болезни земли. Что-ж, так оно и было! А он один среди них, в темную снежную ночь, борется со смертью! Промелькнувшее в сознании слово «смерть» заставило его встать на ноги. Почему он не может сосредоточить мысли на необходимости выбраться из леса? К чему бредить о деревьях, когда необходимо припомнить расположение чащи и с'уметь ориентироваться в ней? Он зажег одну за другой несколько спичек, чтобы посмотреть на часы. Боже мой! Он бродил уже два часа с тех пор как смотрел на них в последний раз; и куда же он шел? Говорят, что в тумане человек описывает круги, думая, что идет по прямому направлению! Он стал ощупывать деревья, отыскивая пустое дупло; оно могло-бы послужить защитой от холода, — это было его первое признание истощения. Он не был в «тренинге», и ему было 65 лет. Мысль, что он не вынесет, если это еще долго будет продолжаться, вызвала в нем снова взрыв гнева. Проклятие! Подумать только, что он сейчас стоит, быть может, на том самом месте, где раньше много раз сидел на своей складной охотничьей палке, смотря на освещенные солнцем ветки, или на нос сидящего рядом с ним спаниэля, слушая стук палок загонщиков и их резкие выкрики.

Не выпустят ли они собак по его следам? Нет! Девяносто процентов за то, что они решат, он ночует у Сомерсэтов или у Лоди Мэри, как он часто делал и прежде, обедая там. Вдруг его усталое сердце рванулось в груди: он вступил на верховую дорожку! Мигом в его напряженном мозгу что-то соскочило на место, как слишком натянутая резинка, которую вдруг отпустили, и все его су-

щество охватило чувство благодарности. Теперь оставалось только следовать по этой дорожке и где нибудь, как нибудь, он выберется к дому. Чорт его подери, если он им там проговорится, какого дурака свалял он сегодня! Куда повернуть, вправо или влево? Он повернулся так, чтобы ветер гнал снег ему в спину, и торопливо пошел вперед между двух стен чернеющего в темноте леса, размахивая перед собой руками крест на-крест, как будто играя на гармонике, для того чтобы увериться, что идет по дорожке. Он прошел таким образом, как ему казалось, бесконечно долго, пока не остановился, как вкопанный, вплотную перед деревьями, не находя продолжения дорожки. Он повернулся на месте, лицом к ветру, и пошел обратно, пока не был снова остановлен деревьями. Он стоял, тяжело дыша. Это ужасно, ужасно! И в паническом ужасе начал он бросаться из стороны в сторону, силясь найти поворот, выход, продолжение дорожки. Град ударял ему в глаза, ветер насмешливо свистел, ветки скрипели и стонали. Он зажигал спички, силясь холодными, мокрыми руками защитить их от ветра, но они гасли одна за другой, а он все не находил поворота. Дорожка оканчивалась, повидимому, тупиком с обоих концов, — поворот должен быть где нибудь посередине. В нем воскресла надежда. Никогда не следует отчаиваться! Он вторично повернул обратно по своим следам, ощупывая каждый ствол с одной стороны дорожки, чтобы найти промежуток. Он дышал с трудом. Что-бы сказал старый Бродлэй, если бы увидел его, — промокшего, вспотевшего, замерзшего и уставшего до полусмерти, — увидел-бы как он бредет, спотыкаясь, в темноте в этом проклятом лесу, — старый Бродлэй, который говорит, что его сердце в плохом состоянии?!.. Промежуток?.. А-а!

Нет стволов — наконец дорожка. Он повернулся, почувствовал острую боль в колене и упал. Он не мог подняться, — повидимому, вывихнутое шесть лет тому назад колено было снова повреждено. Сэр Артур стиснул зубы. Что еще могло случиться с ним!?.. Но через минуту, полную горечи — он начал ползти по найденной дорожке. Странно, что на четверенках он ощущал меньше страха и уныния. Для него было облегчением смотреть в землю вместо того, чтобы разглядывать деревья; или же быть может так было меньше напряжения для сердца. Он полз, останавливаясь каждые две-три минуты для того, чтобы собраться с силами. Он полз механически, ожидая, чтобы сердце, колено или легкие помешали ему ползти дальше. Земля была покрыта снегом и он чувствовал ее сырой холод, медленно подвигаясь вперед. Легко было-бы следовать по его следам, если-бы на них напали! Впрочем — в этой темноте... Во время одной из своих остановок он вытер насколько мог руки, зажег спичку, защищая ее с усилением от ветра, и вытащил часы. Больше десяти часов! Он завел часы и положил их обратно в карман. Если бы он только мог завести так же свое сердце! Полулежа скрючившись в темноте он пересчитал свои спички — четыре. Он угрюмо подумал: «я не буду зажигать их, чтобы любоваться на свой проклятый лес. У меня еще есть сигара; я сохраню их для этого!» И он снова пополз. Он должен подвигаться пока может!

Он полз пока его сердце, легкие и колено не отказались служить, и прислонился, скорчившись, к дереву в таком изнеможении, что не чувствовал больше ничего кроме какой-то тупой боли в сердце. Он даже заснул ненадолго и во сне увидел себя сидящим в мягком кресле у себя в клубе; очнувшись, он вздрогнул от резкого пе-

рехода из тепла и света в холод и мрак лесной, с мокрым снегом и завываньем ветра в верхушках деревьев. Он попробовал-было снова ползти, но не смог, и на несколько минут застыл неподвижно на месте, крепко обхватив себя руками. «Ну», неясно пронеслось в его голове, «это конец!» Его ум настолько оцепенел, что он не ощутил даже жалости к себе. Он вспомнил о спичках: не зажечь-ли костер? Но он не был опытен в этом деле и как ни шарил кругом, а подходящего топлива не находилось — все промокло под снегом. Он вырыл ямку в земле и попробовал разжечь сырые ветки с помощью найденных в кармане бумажек. Ничего не помогало. У него оставалось теперь всего две спички и он вспомнил о сигаре. Он вынул ее, откусил конец, и с бесконечными предосторожностями приготовился закурить ее. Первая же спичка загорелась и сигара закурилась. Оставалась одна спичка на случай если-бы он задремал и сигара потухла. Смотря вверх в темноту, он увидел звезду. Не отрывая от нее глаз, он прислонился к стволу и глубоко затянулся. Скрестив руки и крепко прижимая их к груди, он медленно курил. Что будет, когда сигара кончится? Холод и вой ветра в вершинах деревьев до утра!! Докурив сигару до половины, он задремал, проспал долго и проснулся настолько озябший, что едва мог собрать достаточно сил для того, чтобы зажечь последнюю спичку. Каким то чудом она загорелась и он снова закурил свою сигару. На этот раз он докурил ее почти до конца, без всякой мысли, почти без чувств, кроме ощущения жестокого холода. Только раз, в минуту просветления, в мозгу его промелькнула неясная мысль: «Слава Богу, я продал деревья и они все будут срублены!» Холод мешал развить эту мысль и она улетучилась, как дым его сигары,

развеянный метелью; он снова задремал, с легкой усмешкой на губах...

Помощник лесного сторожа нашел его в 10 ч. утра, посиневшим от холода, под высоким вязом, в расстоянии мили от его постели; одна нога его была вытянута, другая, спрятанная по щиколотку в кустарник как-бы для защиты от холода, была так согнута, что колено почти упиралось в грудь; голова ушла в поднятый воротник куртки, руки были скрещены на груди. Было установлено, что он умер не менее пяти часов тому назад. С одной стороны его занесло снегом. Другой бок и спина были защищены стволом высокого вяза, у которого он сидел. Тонкие верхние ветки свешивали над ним зеленовато-золотистые кисти своих крохотных сморщенных цветочков, которые ярко выделялись на синем фоне неба. Ветер стих и, радуясь тому, что миновал ночной холод, птицы громко пели на солнце хвалебную песнь Творцу...

Вяз, под которым было найдено тело, не был срублен вместе с остальным проданным лесом; его окружили низенькой железной решеткой и прибили к стволу дощечку с надписью.

Луиджи Пиранделло

СКАЛЯБРИНО

Перевод с итальянского

Три часа пополудни. В пыльном слабом свете осеннего солнца, черные похоронные дроги третьего разряда остановились перед запертыми воротами нового дома, в одной из бесчисленных тоже новых улиц Рима, в квартале Прати ди Кастелло.

Новые дома, построенные для жизни, но в большей части еще не обитаемые, смотрели пустыми окнами с досадой и обидой на черные дроги смерти.

Гм... смерть уже прислала за своей добычей? Торопится. Сонный кучер, в потертом, сдвинутом на нос цилиндре, качаясь на козлах, остановил лошадь у первых ворот показавшихся ему закрытыми в знак траура, остановил дроги, повернул ручку тормоза и улегся спать на ящике.

В дверях единственной лавки во всей улице, раздвинув сальную измятую занавесь, явился растрепанный, полнокровный потный человек, с засученными рукавами на волосатых руках.

— Пcc! — позвал он. — Эй! Поближе... Сюда...

Кучер наклонил голову, посмотрел из под цилиндра; тряхнул вожжами и под'ехал к лавочке.

Тут или там, все равно.

Ворота дома, в котором была лавочка также закрыты.
— Что-ж тут в каждом доме готов покойник?

— Болван! — проворчал лавочник, пожимая плечами.
— В этот час все ворота заперты. Новичек в деле?

Так это и было. Ему, Скалябрино, не нравилось это ремесло. Он был дворником, но поссорился со всеми жильцами, а затем и с хозяином дома; — был пономарем в Сан-Рокко — поссорился с приходским священником; стал извощиком, но ссорился со всеми, кто нанимал его. Он не был зол или сварлив, он любил покой, а люди... Теперь же, не найдя ничего лучшего, вчера он нанялся кучером в Бюро Похорон, но и тут придется поссориться с людьми, — он в этом был уверен. Он терпеть не может различных причуд. И при этом он не сдается. Почему у него лицо желтое, точно восковая маска, а нос красный? Почему красный нос? Все считают его пьяницей, а он даже не знал вкуса некоторых вин.

— Тьфу!

Этой свинской жизнью он сыт по горло! И не сегодня-завтра он начнет и кончит последнюю настоящую ссору в волнах Тибра. Прощайте!

А пока вот он, с'едаемый мухами и скукой ожидает свой груз: мертвеца.

Быть может суетно живут, не во время умирают и ничего умнее не могут придумать. Этот мертвец уже вылез из других ворот двора, с другой стороны улицы? Ага вот он...

— Чтоб тебя... — проворчал сквозь зубы Скалябрино, наблюдая как злятся гробовщики, запыхаясь под тяжестью гроба, покрытого черным сукном, окаймленного белой тесьмой.

— Чтоб тебя... кричат они Скалябрино. — Чорт побери! Разве тебе не сказали номера дома?

Скалябрино повернул дроги не промолвив ни слова и ждал когда они поставят гроб. Какая скука эти церемонии!

— Трогай!

Надвинув цилиндр поглубже на голову, Скалябрино критически осмотрел гроб еще раз. Ни ленты, ни цветка на крышке. А провожает одна единственная женщина с черной вуалью на лице, в темном платье с желтыми цветочками, в руке она держит светлый зонтик, хотя сентябрьское солнце не требует этого. Голову низко опустила. От стыда бедности, или от скорби?

— Доброй прогулки, эй Рози!! — крикнул ей вслед лавочник, вновь появляясь на пороге лавочки, и сопроводил привет свой непристойным смехом.

Женщина обернулась и рукою в митенке сделала знак приветствия, после чего подобрала юбку, обнажив рваные ботинки. Но все же у нее были митенки и светлый зонтик.

— Бедный синьор Бернардо! Как собаку! — сказал кто-то громко из окна одного дома.

— Учитель, с горничной позади... — пренебрежительно крикнула старуха из другого окна.

Странно звучали в тишине пустынной улицы эти голоса. Скалябрино хотелось ехать скорей: он предложил спутнице взять извощика.

— Ведь кроме вас ни одна собака не явилась проводить этого учителя.

— При таком солнце... в этот час...

Розина отрицательно покачала головою. Нет она поклялась сопровождать своего хозяина пешком до поворота в улицу Сан-Лоренцо.

— Да разве видит вас хозяин?

— Все равно! Клятва! А уж если возьму извощика, то там, до Камповерано.

— А если я сам заплачу за извощика? — настаивает Скалябрино.

— Все равно. Клятва, есть клятва.

— Совершенно правильно говорят, что женщины — глупы.

Скалябрино процедил из под цилиндра проклятие и продолжал ехать шагом, сперва через мост Кавура, затем через вия Томачелли, вия Кондотти, Піяцца ди Спания.

Он честно старался избегать столкновений с извощиками, трамваями и автомобилями, рассудив, — что вряд ли кто будет уважать эти мизерные похороны и уступать дорогу ему.

Но когда он проехал Піяцца Барберини и повернул на вия Сан-Николо да Толентино, то он снова надвинул цилиндр на нос, уселся поудобнее и задремал.

Лошадям дорога должна быть хорошо известна.

Редкие прохожие, останавливаясь, оборачивались посмотреть, не то изумленные, не то возмущенные. Сон кучера на ящике и сон мертвеца внутри дрог: сон мертвеца и мрак ящика и эта одинокая женщина со своим светлым, зонтиком с черной вуалью, спущенной на лицо. В этих похоронах было что-то и смешное и жутко безжалостное. Ведь так же не уходят на тот свет! Плохо выбраны и день и час. Этот мертвец не счел нужным отдать смерти надлежащую дань почтительности. Это непристойно. Кучер был прав, что спит.

Скалябрино мог бы спать до кладбища, но лошади, едва преодолев под'ем, повернули на вия Вольтурно, ускорили шаг; тогда Скалябрино проснулся.

Проснулся и видит на левой подножке дрог худощавого бородатого господина в черных очках, в сером, мышиного цвета, костюме. Человек свирепо ругаясь, сует ему в лицо кулак.

Вот он спрыгнул, этот человек, бросился впереди лошадей, остановил их под узду и, точно желая швырнуть в Скалябрино свои руки, за неимением чего либо другого, закричал:

— Мне? Мне-то? Негодяй, мошенник! Отцу семьи?! Отцу восьмерых детей?! Бездельник! Свинья!

— Почему он кричит? — спросили Скалябрино все прохожие, все лавочники улицы, и покупатели столпились вокруг дрог, жильцы ближайших домов высовывались из окон, прибежали любопытные люди из смежных улиц, кричали, кричали.

— Что произошло?

— Гм... кажется, впрочем не знаю!

— Да есть-ли мертвец?

— Где?

— В дрогах есть?

— Гм... Кто мертвец?

— Составляют протокол!

— Это не мертвец, а контрабанда...

— Э-э!

— Протокол на кучера...

— За что?

— Да... говорит что...

Между тем серый господин продолжал горланить около витрины кофейни, куда его затащили; он требовал назад сверток покупок, которым швырнул в кучера; однако, никто не понимал почему именно он им швырнул? На дрогах, Скалябрино, мертвенно мигая близорукими гла-

зами, сдвинув цилиндр на затылок отвечал полицейскому, который среди возни и шума, делал пометки в записной книжке.

Наконец дроги двинулись среди посторонившейся ревущей толпы; но когда снова явилась эта женщина со светлым зонтиком, с опущенной черной вуалью на лице, — все смолкло. Лишь какой-то уличный мальчишка засвистал.

Что же однако произошло?

Почти — ничего. Еще три дня тому назад будучи извощиком, Скалябрино забыл, что находится на похоронных дрогах, в дремоте ему показалось, что он сидит на козлах извощичьей кареты и, привыкший приглашать в свою пролетку людей с улицы, он, увидев перед собою стоящего на подножке серого господина, сделал ему знак пальцем: — не желаете-ли проехаться?

А господин, из-за незначительного знака, которым Скалябрино пригласил его к смерти, обиделся и поднял всю эту кутерьму...

Грегорио и Мария Мартинец-Сиерра

СЛЕПЫЕ ДЕТИ

Перевод с испанского

I

В усадьбе, бывшей когда то собственностью королевы, стоит среди парка приют для слепых детей. Парк вековой, обширный, в нем стройные тополя и эвкалипты, извилистые тропинки, и уютные беседки; цветники и лабиринты, версальские самшиты и верески южных садов. Есть фонтаны; каналы и желоба, в траве они, по вечерам, журчат ясным детским голосом. Вот устье реки, где когда-то качались красивые лодки, а в изгибах илистого устья — островок, в форме звезды, весь покрыт кустами роз.

Приют для слепых детей помещен в доме, который был жилищем придворных королевы; в нем большие холодные залы с белыми стенами.

В зале стоят клавикорды. Клавиши их желты, струны старчески дребезжат, хотя касаются их легкие руки детей. Но кто-бы ни играл на них, звуки струн этих клавикорд всегда напоминают старинные мелодии, и неж-

ные слова о любви и озерах, о спящих царевнах и трубадурах, напоминают о вечном томлении любви и грозных замках, неприступных башнях рыцарей.

II

В апрельский полдень слепые дети выходят в парк, печально шагая рядами в шесть человек. Одних сопровождает дядька, других — приютский мальчик из тех, которые «что-то видят». Таких четверо или пятеро, некоторые родились зрячими, но мало по малу перестают видеть; другие — знали только смутные проблески света, и от существующих в мире вещей постигают лишь тени их. Они служат проводниками совершенно слепым. Один из них — Хосэ-Луис, четырнадцатилетний крепкий мальчик, его пухлое, полусонное лицо неподвижно; кажется, что душа его спит, а тело пользуется сном, чтобы тайно развить свою силу. В его ряду — шестеро слепых, и на лице каждого грусть положила свою печать; у двух, очень высоких — быть может они братья — глаза темные, красивые глаза широко и безнадежно открыты, точно вопиют к солнцу, которого не видят; бледные лбы, печально искривленные губы выражают тревогу души, погруженной во тьму. У одного глаза закрыты, лицо безропотно покорное. Другой мальчик медленно поднимает и опускает ресницы, беспрерывно размахивает беспокойными руками, он как бы ищет чего-то в воздухе. Вот еще один коренастый, с чувственным и счастливым лицом, он непрерывно разговаривает и смеется. И еще очень маленький, белокурый, ему следовало бы иметь голубые глаза, но они у него белые, неподвижные и тусклы, точно опал. Его имя Антонио, но монахини, дядьки и учителя прозвали его: Тонин. Ему исполнилось тринад-

цать лет, но на вид нельзя дать более десяти, так слабо он развит физически, и лицо у него детское. Опаловые глаза раскрыты, и если бы они видели, то наверно они выражали бы любовь ко всему и ко всем; кажется, что губы и руки и все существо трепетно ищат ласки; он нежно ощупывает гибкими пальцами все, что подвертывается под руки его, наслаждаясь ласками неодушевленного мира. Звуки не имеют тайн для него, и старые клавикорды их в приюте, друзья ему, он различает их по звуку и каждый оттенок хрупких голосов ему хорошо знаком. Он друг птиц и цветов сада, он знает их различные запахи также, как тона клавикорд, восторгаясь благоуханием роз у открытого окна общей спальни. Тонин безошибочно различает оттенки запахов. Любит сестру Грацию, потому что ему нравится это имя, потому что голос ее был свеж и ясен, как голос ручья в парке, и потому что маленькие руки ее нежны и теплы. Они напоминают Тонино птичку, которую дядька однажды нашел под деревом. Каждый раз, как Тонино держит в своих руках руки монахини, они ему кажутся пленными птичками, и он часто беседует об этих руках Грации с Хосэ-Луисом, своим другом.

Сегодня полдень точно уснул в благоухающей теплой весне; воздух спокоен; чувствуется, что на деревьях появились свежие листья, слышен их запах. По стволам вязов вьется глициния, пышные грозди экзотической благовонной мальвы обвивают ее; немного дальше свежая сирень наполняет воздух сладостным ароматом; благоухают ранние розы; должно быть цветет гвоздика, анютины глазки и трепещут колокольчики барвинка.

Слепые дети идут мимо цветов не видя их. Многие не знают на что похожи цветы, но чувствуя нежный аро-

мат, знают, что цветы легки, бархатисты и что некоторые из них скрывают в чашечке своей каплю меда, — за все это слепые дети любят цветы.

III

Слепые дети идут к площади вблизи решетки сада. Здесь они разбиваются на группы в два, три человека. Опасности нет: земля ровная; деревья и стены далеко; можно ходить не рискуя споткнуться, упасть, ушибиться. Солнце апреля льет свое тепло, — лаская и веселя сердца детей; дети оживленно беседуют, смеются. Некоторые, с самоуверенным инстинктом, идут искать цветы, они находят их по запаху; другие, — приближаясь к решетке парка, прислушиваются к шагам людей идущих по дороге, к скрипу возов, звонкам трамваев, называя все то, что они слышат, так уверенно, точно они все это видят.

Человек — как скоро он идет!

Собака! — Две лошади!

Маленькая девочка, носящая корзину с апельсинами, проходя, приветствует их:

— Добрый день! — Обрадованные звуком ее дружеского голоса, они бросаются к решетке, как будто желая посмотреть на нее, и дружно отвечают:

— Прощай! Прощай!

Она уходит и на мгновение они умолкают; затем один из них говорит:

— Это Хуанита, продавщица апельсинов; — остальные улыбаются, словно имя, которое все они давно знают, явилось для них неожиданным и радостным откровением.

Тонин и Хосэ-Луис садятся на ствол дерева около решетки и долгое время сидят неподвижно и молчат, нежась на солнце. В окружающем их покое гармонично сли-

ваются: голоса мальчиков, шум дороги, беспрерывное пение птиц и мягкий шелест молодой листвы...

— Как хорошо пахнет! — говорит Тонин, — должно быть расцвели розы на острове.

— Нет, это запах райского дерева; это оно пахнет медом и мне хочется его есть. Ты не любишь есть цветы?

— Я люблю их целовать. Это надо делать очень осторожно, когда их изомнешь, они теряют запах.

— Листья розы очень приятно пахнут, но они горькие, а цветок акации сладкий также как гвоздика, жимолость и жасмин. Хочешь, будем искать акацию?

— Нет, не хочу. Что это бежит у меня по рукам? Это божья коровка, красная с черными пятнышками. Тонин осторожно ощупывает ее кончиками пальцев. — Это божья коровка! — восклицает он, — какая она гладкая! Потрогай ее, Хосэ-Луис.

Хосэ-Луис в свою очередь ощупывает насекомое.

— Божья коровка, — повторяет он, — она красная, цвета крови.

— Как ты это знаешь?

— Потому что прежде, когда был маленьким, я видел. А ты?

— Я никогда не видел... Как это видят?

— Это невозможно об'яснить. Когда видят то говорят, что божьи коровки красны, небо голубое, а деревья зеленые. Вот и все.

— А свет какой?

— Свет, он... Это тоже нельзя об'яснить.

— А где он?

— Говорят, он в солнце, но это неправда, он везде. Тонин жадно слушает; его опаловые глаза широко раскрываются и дрожат.

— Невозможно об'яснить, — повторяет Хосэ-Луис. Я думаю, что свет — это запах, который ловят глаза.

Божья коровка, пробежав по пальцам мальчика, улетела.

— Что ты видишь? — спрашивает Тонин после продолжительного молчания.

— Когда светит солнце вижу людей и вещи. Вот там, очень толстое дерево, а налево — тень, должно быть дом сторожа, но если почти уже ночь, я вижу лучше: вчера, когда мы находились в столовой, я видел сестру Грацию. Она несла котел супа. Это называется видеть тени.

Сестра Грация! Лицо Тонина озаряет улыбка радости, но в следующую секунду она грустна и покорна. Если-б он мог увидеть сестру Грацию! Он представляет ее созданной из самых мягких запахов и обаятельных звуков, из теплоты и нежности всех вещей.

Сестра Грация! Думая о ней, Хосэ-Луис краснеет; он тоже любит монахиню, любит больше чем Тонин. Еще-бы! Он видит ее красивой женщиной, а его тело уже умеет желать; Хосэ-Луис уже проводит ночи в лихорадочном томлении. Но монахиня, часто лаская Тонино, никогда не касается Хосэ и мальчик зная, что она умеет читать книги, уверен, что она читает и в его полуслепых глазах, читает и боится его. Когда Хосэ-Луис думает об этом, сердце его наполняет злой горячий стыд и мрак; эти чувства отравляют ему кровь. Он ослеп, когда ему было уже одиннадцать лет. Кто отнял его зрение как раз в те годы, когда он только что начинал наслаждаться тем, что видел? Цветы, это они выпили и ослепили его глаза. Он помнит, как постепенно цвета гасили его глаза, ослепляя их.

Вчера, когда он увидел сестру Грацию, ему показалось, что монахиня одета в белое и черное, — ну, а лицо? У красивых женщин лица розовые. Каков розовый цвет? Он забыл цвет роз. Серый, как вечерний сумрак?

— О чем ты думаешь? — спросил Тонин.

— Ни о чем — резко ответил Хосэ. Но мальченок, угадывая мысли друга, столь родственные его собственным мыслям, тихо говорит:

— У сестры Грации руки нежны как бархат, немножко солены и очень сильно пахнут свежестью.

— Э, что ты знаешь!

— Да, я знаю; три ночи тому назад было ее дежурство у нас, и когда она подошла ко мне, я взял ее руки, поцеловал, и провел языком по ее пальцам, и тогда она назвала меня глупым и ударила тихонько по лицу. Но она смеялась и мне было не больно, только приятно... Хосэ-Луис, куда ты идешь?

Хосэ-Луис буйно вскочил, побежал к решетке, прижался к ней лицом и заплакал тихо, но яростно.

А Тонин, вздохнув, стал слушать пение птиц и шелест деревьев.

IV

В классе, большом сумрачном зале с окнами, которые разделяют широкие простенки, учитель об'ясняет урок. Учитель, человек сорока пяти лет, малорослый и толстый, груб и грязен. Он непрерывно курит едкую сигару, сигара крошится в зубах его, обсыпая отвороты сюртука и жилета табаком и пеплом. От окурка он зажигает новую сигару, дымит, жует, и от этого слова урока выходят из губ отрывисто шамкающими звуками; ленивые, темные слова вызывают скуку. Класс наполнен густым креп-

ким дымом, глаза слепых слезятся. Учитель говорит о звездах и морях; но какое дело до звезд и морей тем, кто никогда их не видел, не увидит?

Ученики шепчутся, беспокойно ерзают на скамейках; скамьи, окрашенные черной краской, напоминают формой своей гроба. Шепот учеников раздражает учителя, он сердито кричит на них; его душа, обитая в здоровом теле, не родственна душам детей, живущим во тьме. Здоровье враждебно страданию, оно всегда боится его и, часто, от страха мстит ему. Когда резкий окрик учителя создаст тишину, слышно пение птичек в саду. Тяжеловесные ученые об'яснения следуют одно за другим, точно клокочет скудный болотистый источник; учитель говорит, говорит, а ученики постепенно подчиняясь звукам его голоса, похожим на удары молотка по мягкому, — перестают слушать: одни дремлят, другие уже заснули. Вдруг, учитель умолкает, затем — все слышат строгий окрик:

— Антоньо Менэндес, повторите, что я только что об'яснил?

Тонин поднимается, но не отвечает. Дело в том, что его скамейка стоит около окна; в саду, под окном, растет эвкалипт. В это майское утро, теплое и пахучее, поднялся тихий ветерок и ласково медленно качает ветви величавого дерева. Чуткий слух мальчика уловил шелест листьев, смена свежести и теплоты на коже его лица позволяет ему угадывать нежную игру света, наслаждаться ласками солнца. Если-б можно было проглотить свет, много света, так, чтоб он брызнул из глаз! Тонин плохо слышал мудрое об'яснение учителя и стоит в смятении, широко беспомощно открыв глаза, с алой краской на испуганном лице. Учитель повторяет свой страшный вопрос:

— Не желаете-ли вы сказать мне, что вы знаете о солнце?

— О солнце? Что-бы Тонин мог сказать о солнце? О его нежной теплоте, о сладкой сонливости, которую оно разливает в воздухе, когда наступает летний полдень, о том, как солнце веселит тело и душу, когда в полдень зимою тает изморозь; да, он мог-бы кое-что рассказать! Но Тонин знает, что он сказал-бы о солнце не то, что интересует учителя. Учитель — друг чисел, определяющих об'емы и расстояния; он желает чтоб ему сказали, что солнце — центр чего-то там, что оно кружится, или падает, летит, что на нем — пятна... Тонин не верит в пятна на солнце. Хотя ему неизвестно что такое пятна, но от сестры Грации он слышал, что это нечто грязное, противное. Нет, конечно, на солнце пятен быть не может, и нельзя понять, зачем говорят об этом, зачем? Тонин продолжает молчать, шевеля пальцами, а учитель голосом, в котором звучит гнев и негодование, упрекает его в чем-то. Из мертвых глаз Тонина текут слезы, и тени листьев гладя его лицо, дружески осушают слезы его.

V

Свои огорчения Тонин рассказывает клавикордам. Вечер. Сквозь открытые окна проникает аромат акаций — ладан мая. Солнце заходит, потому что начинают поливать сад; доносится клокотанье насосов, и свежая пыль воды падает на листья кустов; листья шелково шелестят. Мягкая славная свежесть поднимается с земли, щедро орошенной. Руки Тонина скользят по клавишам, из под его пальцев изливается тихая, горестная мелодия. Неискусная, но красноречивая она вначале по-

рождает жалобные звуки, сдержанные рыдания; затем постепенно печаль сменяется задумчивой грустью, мелодия становится спокойней. Солнце должно быть окончательно зашло, запах акаций более силен; в воздухе ощущается особенная чистота, присущая только сумеркам весны. Она точно отдаляет и утончает звуки; голоса звучат как-бы в хрустальных грудях, и над всеми звуками торжественно веет странный мир тишины. Тишина — это должно быть удивление земли.

Старческий голос клавикорд точно голос ребенка; Тонин вздыхает и на челе его зажигается пламя восторга; затем тихонько он произносит, в такт музыке, странные слова, рассказывающие кому-то его огорчения. Эти несвязные мелодии и слова — утешение Тонина; клавикорды — друг грустных минут его жизни; кому, если не им может он рассказывать все то неимеющее имени и что так едко щемит сердце? Хосэ-Луис, несомненно, хороший товарищ, но печаль и грусть противны его натуре, он не знает нежных слов, которые-бы утешали. Когда Хосэ огорчен, он не плачет, он бормочет какие-то скверные слова, от которых становится страшно. И если он может, он мстит.

Также и сестре Грации нельзя передать огорчений, потому что она любит смеяться. Каждый раз, когда Тонин плачет в тоске, она называет его глупым. Хотя, правду говоря, приятно слышать смех сестры Грации и получать от нее легкие удары по щеке, которыми она награждает и когда сердится, и когда ласкает. Это почти также приятно, как играть на клавикордах. Может быть в сердце сестры Грации тоже спит музыка клавикорд.

Ночь вероятно уже наступила: пение птиц не слышно, кузнечики начали свой треск, лягушки квакают в пруде

и чувствуется сильный, опьяняющий запах жимолости. Тихо вздыхают клавикорды. Раздается звон колокола и тотчас же сердитый крик Хосэ-Луиса:

— Да где же ты, Тонин? Уже давно звонили к ужину! Ты глохнешь и глупеешь от этой музыки...

— Тебе музыка не нравится?

— Нет.

— Почему?

— Потому что наводит грусть.

— А тебе не нравится погрустить иногда?

— Нравится грустить?..

— Да, мягкая грусть, от которой плачется.

— Ну уж ты совсем с ума спятил!

VI

В гардеробной свежо, пахнет чистыми простынями и зрелой айвой. Уже полдень, но неистовая жара в комнате умерена, благодаря каким то заботам сестры смотрительницы. В этом месяце смотрительница гардеробной сестра Грация. Слышно как она быстро и мягко ходит по скользкому паркету.

— Что вы делаете, сестра Грация?

— Складываю простыни, сынок. Видел-бы ты, как хорошо я укладываю их в шкаф. Вот, помог бы ты мне... Бери за этот конец и за этот... Тяни... Крепче, крепче! Ух, как мало силы у этого мальчика! Ну вот и выпала у него простыня! Не стыдно-ли тебе?

Музыку своих слов монахиня сопровождает смехом, и слепой мальчик вторит ей. После первой сложенной простыни, Тонин точно очарованный складывает свежее прохладное полотно, работа приятна ему.

— Что за талант у этого мальчика! Знаешь ли Тонин, что ты хороший помощник? Каждый четверг будешь помогать мне. Теперь посмотрим, сумеешь-ли ты расправлять тесемки подушек. Вот, как это делается, — смотри!

Пальцы монахини сплетаются с пальцами мальчика. И как она задушевно смеется, в то время, когда Тонин расправляет и вытягивает тесемки!

— Вот, вот именно так это делается. Да ты прямо таки Соломон!

— Сестра Грация, — спрашивает Тонин, — сколько вам лет?

— А тебе, глупый, какое до этого дело? В день Вознесения мне исполнилось двадцать два года.

— И всегда, всегда вы были монахиней?

— Господи помилуй! Разве ты воображаешь, что монахинями родятся? Только пять лет прошло с той поры как я постриглась, то-есть, стала монахиней.

— А почему вы не пришли к нам раньше?

— Потому что меня не назначали. Прежде чем придти сюда, я была в школе для глухо-немых девочек.

— Глухо-немых?

— Ну да, те что не говорят и не слышат.

— Не слышат? Значит — они вас не слышали, когда вы говорили с ними?

— Нет, конечно.

— О, это очень несчастные девочки! И не слышали пения птиц?

— Ну да...

— Ни рояля, ни воды источника, ни ветра в деревьях?

— Ни рояля, ни ветра, ни воды; глухо-немые ничего не слышат.

Тонин молчит; в глубине сердца он чувствует, что эти девочки страшно несчастны, и ему хотелось бы сказать это монахине, но он не находит слов, трудно выразить словами такое глубокое чувство.

— Вы сказали, никогда!

— Никогда в этой жизни; но после смерти, если они были добрыми, пойдут на небо, язык глухо-немых развяжется.

— Неужели?

Мальчик напряженно хочет понять тайну; монахиня проницательно следит за ним.

— Да, да... И раскроются глаза слепых детей.

— Глаза! Будут видеть свет?

— Конечно. На небе ты будешь видеть цветы, которые так тебе нравятся, солнце и деревья.

— И воду в источнике, и птичек... А вас я увижу там, сестра Грация!

— Надейся на Бога, сынок! Ну вот, работа кончена. Ты что-то заработал. Открой рот.

Слышно бряцанье чоток, и чего-то в глубине кармана — наперстков или ключей; — затем, нечто сладкое всовывается в рот Тонина и тотчас-же легкий удар по щеке ласкает его.

— Уж я тебе говорила, что убью тебя, если ты будешь руки мне лизать! Вот капризный мальчик! Ну-ка, возьми еще конфетку, и не строй грустного лица. Христос! Уж к обедне звонят!

Монахиня поспешно удаляется и Тонин слышит ее скользящие по корридору шаги. Когда она уже далеко, Тонин подходит к столу по-среди гардеробной, погружает свою голову в кучу пахучего полотна и долго плачет, неимоверно счастливый.

VII

При первых дождях октября души слепых детей охватывает сосущая грусть. Нет уж прогулок в саду; солнце не желает заглянуть в класс, наука учителя становится еще более холодной и тяжелой. Шорох дождя бесконечен и тосклив.

— Плакать хочется! — сказала сестра Грация, проходя по корридору. — С трудом дышишь сырым воздухом. Стены дома отдают плесенью и сырой печалью.

В этот день дождь лил с утра до вечера; в столовой, во время ужина, читали скучную историю какого-то святого. Тонину слова казались ударами молотка, которым били его по голове. Когда покончили чтение и ужин, он поднялся со стула и почти упал, обессиленный. Крепкая рука Хосе-Луиса поддержала его. В полночь, в тишине общей спальни, Тонин продолжает чувствовать в голове назойливые удары молотка. Как липко постельное белье! Сырость, проникая всюду, словно разлагает тело. Тело Тонина стало воздушным, а голова налилась свинцом. Затем голова точно исчезла, и остается только железный, жгучий обруч, стискивающий виски. Из чего сделаны виски, если у них столько сил, чтобы противостоять этой ломающей боли? Все вокруг пропитано запахами, от которых тошнит: пахнет сигарой учителя, краской скамеек часовни, которые недавно окрасили; пахнет ладаном и тающим горячим воском. Эти запахи вонзаются в переносицу и больно щиплят.

Но где же благоухание майских роз, пахучая свежесть летних дождей и запах спелой айвы? Тонину смутно кажется, что от боли в переносице его мог-бы избавить вот именно этот запах айвы. Если бы сестра Гра-

ция захотела повести его в гардеробную... Мальчик кричит голосом маленького беспомощного животного.

— Что с тобой? — спрашивает Хосэ-Луис, кровать его рядом. Тонин хотел бы ответить, но не может: пылающий обруч, стискивая его лоб, сжигает слова, и Тонин продолжает кричать.

Тогда из глубины спальни доносится шорох приближающихся шагов.

— Тебе, Тонин, нездоровится? — Это голос сестры Грации. Он чувствует свежесть ее мягких рук, слышит тихие слова, от них тяжесть воздуха стала легче. Монахиня удаляется, и снова она у кровати, слышен звон стекла.

— Пей, дитя мое, пей! — Почему в эту ночь голос сестры Грации так серьезен, почему она не смеется?

— Лучше тебе? Вот сейчас ты уснешь. — Мягкие руки оправляют одеяло, губы прикасаются к страдающему лбу.

С кровати рядом раздается крик. Сестра Грация пытливо всматривается. Это Хосэ-Луис кричал. Но кажется он спит. Дождь однообразно бьет в окна.

VIII

Сегодня показался луч солнца. Слепые дети выходят на прогулку.

Земля скользкая. Она издает запах гниющих листьев.

Не холодно, но насыщенный сыростью воздух окутывает тела липкой кисеею; волосы прилипают к вискам, как в поту лихорадки. Тихо беседуют дети, зябко прижимаются друг к другу. Впереди всех шагают Тонин и Хосэ-Луис. Тонин чувствует в глазах и висках следы

ночных страданий, как будто все там высохло, выгорело и ему содрали кожу с лица. Напиток, данный ему сестрой Грацией, избавил от ужасной боли в голове, но в то-же время опустошил его мозг. Тонин идет как во сне, думая о чем-то бесформенном. Что за труд, что за мучение собрать обрывки мысли и сложить их в слова! Он молчит.

Молчит и Хосэ-Луис; крепко держа руку друга, он ведет его порывисто, то слишком быстро, то очень медленно. Тонин замечает эту странность, но у него нет сил спросить своего Хосэ о причине капризной прогулки. Шли мимо группы деревьев; порыв ветра, качнув ветви, бросил несколько капель влаги в лица мальчиков. Какое наслаждение — свежесть влаги! На еще лихорадочный лоб. На Тонина, на его измученные бессонной ночью глаза, капли дождя, напоенные свежестью утра, действуют как бальзам. Тонин ощупью нашел ветвь какого-то дерева и сильно стряхивает ее: благоухающий ливень шумно обрушился на него; маленькое тело, измученное лихорадкой, блаженно вздрогнуло; жадно раскрыв рот, Тонин ловит капли, скользящие по его лицу. Славно пахнут эти холодные капли, они тают на языке, как замороженные конфеты. Но Хосэ-Луис недовольно ворчит:

— Ты с ума спятил! Перестань, я промок до костей! — Тонин останавливается; в голосе его друга слышится непривычная резкость, почти ненависть!

Слепые дети, как всегда идут вдоль решетки, направляясь к площади, где нет опасностей и можно бегать. Дорога им хорошо известна, они знают эту широкую ласку открытого неба над своими головами, скрип крупного песка под ногами на тщательно утрамбованной площади, тихий шелест кустов по краям ее, едкий запах самшита.

Поэтому Тонин молча удивляется, чувствуя, что мягкая и липкая земля бесшумно уходит из под его ног, и что он дышит незнакомым воздухом, полным странных запахов. Он замечает также, что голоса его товарищей удалились.

— Куда мы идем? — испуганно кричит он. Хосэ-Луис не отвечает.

— Куда ты меня ведешь? — повторяет Тонин. Тогда Хосэ-Луис неистово толкает друга, и, потеряв равновесие, Тонин катится куда-то вниз, все быстрее, быстрей до поры, пока не погружается в болотистые воды устья реки.

IX

В тишине спальни Хосэ-Луис отчаянно плачет, мучимый угрызениями совести. Тонина вытащили из устья реки, но уже мертвым.

— Какой ужас, Боже мой! Смерть в доме! — Целый день плакали и монахини, и мальчики. Теперь они заснули, но многие тяжело бредят во сне, напуганные смертью непонятной для них еще более, чем для зрячих. Хосэ-Луис задыхается, горло его высохло, глаза горят от слез. Теперь он знает, что ужасно любит своего друга Тонина, влюбленного в нежную музыку и в благоухающие цветы. Он любит его как еще никогда не любил, но — боится его. Что он играет, Тонин? Это гнилые воды устья реки поднимаются, поднимаются все выше и выше, окружают кровать Хосэ, качая ее.

— Тонин! Тонин! — на крик его, как прошлой ночью, подходит сестра Грация и слышно, что она плачет.

— Что с тобой, Хосэ-Луис? — Побуждаемые жалостью, руки ее гладят пылающий лоб Хосэ, но он в порыве ненависти к ней схватывает эти руки, сдавливает и яростно кусает. Монахиня кричит, бьется, хочет убежать, а Хосэ все сильнее и глубже вонзая зубы в мягкую кожу рук, пачкает лицо свое теплой кровью до той поры, пока обессилев, теряет сознание. Сестра Грация убегает и крики ее, раздирая зловещую тишину ночи, рождают трагические кошмары в мозгах спящих слепых детей, будят их к жизни тьмы и ужасов.

М. Горький

О С. А. ТОЛСТОЙ

Прочитав книжку «Уход Толстого», сочиненную г. Чертковым, я подумал: вероятно найдется человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения — опорочить умершую Софью Андреевну Толстую.

Рецензии, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет еще одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя ее — Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой «правды» считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же, — я думаю, — для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами.

Нижегородский портной Гамиров говаривал:

«Можно сшить костюм для украшения человека, можно и для искажения».

Правду, украшающую человека, создают художники, все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют «правды» для искажения друг друга. И, кажется, мы так неутомимо пеняем друг на друга потому, что человек человеку — зеркало.

Меня никогда не прельщало исследование ценности тех «правд», которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дегтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую ее.

Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он умер; это ясно хотя-бы потому, что о мертвых мы говорим также скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые посвятив нам всю жизнь, все силы чудеса творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно замученные нашей пошлостью, об этих людях мы говорим и пишем, кажется, всегда только для того, чтоб убедить самих себя: люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами.

Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам удобно и приятно рассматривать, как необходимый закон, второй же тревожно волнует нас, как чудо опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку.

И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением, во втором-же, лицемерно радуясь, тайно боимся: а, вдруг, подлецы, черт их возьми, сделаются честными людьми, — что же тогда с нами будет?

Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди «к добру и злу постыдно равнодушны», они и хотят пребыть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро, и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожит нас и, чем они ярче, тем более тревожат.

Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим:

«Русская женщина, — вот лучшая женщина мира».

Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками:

«Вот — р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!»

Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к «лучшей» женщине Европы.

Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто, испугались: а, что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И, при всяком удобном случае, мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить ее покраснеть.

Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.

Человек не становится ни хуже, ни лучше даже и после смерти своей, но он перестает мешать нам жить и, не чуждые — в этом случае — чувства благодарности, мы награждаем умершего немедленным забвением о нем, бесспорно — приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение — самое лучшее, что мы можем дать живому и мертвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей — лучше, жизнь — гуманнее.

Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко нарушается нашей мелкой злобой, нищенской жаждой мести и лицемерием нашей морали, как о том свидетельствует, например, отношение к покойной Софии Андреевне Толстой.

Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но — не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученника мужа, как мух, комаров, вообще — как паразитов.

Возможно, что ревность ее иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и Медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадавшие с установленной моралью; в «Дневнике» 82 г. он записал об одном знакомом своем:

«Если-б у него не было страсти к собакам, он был-бы от'явленный мерзавец».

Уже в конце 80-х годов его жена могла убедиться, что близость ко Льву Толстому некоторых из стада поклонников и «учеников» приносит ему только неприятности и огорчения. Ей, разумеется, известны были скандальные и тяжелые драмы в «толстовских» колониях, такие, как, например, драма Симбирской колонии Архангельского, кончившаяся самоубийством крестьянской девицы и, вскоре после того, изображенная в нашумевшем рассказе Каронина «Борская колония».

Она знала скверненькие публичные «обличения лицемерия графа Толстого», авторами которых являлись такие, раскаявшиеся «толстовцы», как, например, Ильин, сочинитель истерически-злой книжки «Дневник толстовца», она читала статьи бывшего ученика Льва Толстого и организатора колонии Новоселова, — он печатал статьи эти в «Православном Обозрении», журнале «воинствующей церкви», ортодоксальном, как полицейский участок.

Ей, наверное, известна была лекция о Толстом профессора Казанской Духовной Академии Гусева, одного из наиболее назойливых обличителей «ереси самовлюбленного графа»; в лекции этой профессор, между прочим, заявил, что он пользовался сведениями о домашней жизни «Яснополянского лже-мудреца» от людей, увлекавшихся его сумбурной ересью.

Среди таких «увлеченных» проповедью мужа ее, она видела Меньшикова, который, насытив свою книгу «О любви» идеями Толстого, быстро превратился в мрачного изувера и начал сотрудничать в «Новом Времени», как один из наиболее видных человеконенавистников, шумно и талантливо работавших в этой распутной газете.

Много видела она таких людей и в их числе самородка-поэта Булгакова, — обласканного ее мужем; Лев

Толстой печатал его бездарные стихи в «Русской Мысли», а малограмотный, больной и болезненно самолюбивый стихотворец, в благодарность за это, сочинил грязную статейку «У Толстого. Открытое письмо ему». Статейка была написана так грубо, лживо и малограмотно, что, кажется, нигде не решились напечатать ее; даже в редакции «Московских Ведомостей» написали на рукописи «Не будет напечатано, вследствие крайней грубости». Эту рукопись вместе с надписью Булгаков послал Толстому и при письме, в котором требовал, чтоб Толстой опубликовал «правду о себе».

Вероятно, не дешево стоила Софье Андреевне история известного «толстовца» Буланже и, конечно, всем этим не исчерпывается все то грубое, лицемерное, своекорыстное, что видела она от людей якобы «единомыслящих» со Львом Толстым.

Отсюда вполне понятно ее острое недоверие к поклонникам и ученикам мужа, этими фактами вполне оправдывается ее стремление отпугнуть паразитов от человека, величие творчества, напряженность духовной жизни которого она прекрасно видела и понимала. И, несомненно, что благодаря ей Лев Толстой не испытал многих ударов ослиных копыт, много грязи и бешеной слюны не коснулось его.

Напомню, что в 80-х годах, почти каждый грамотный бездельник считал делом чести своей обличение религиозных, философских, социальных и прочих заблуждений мирового гения. Эти обличения доходили, — повидимому — и до людей «простого сердца», — бессмертна милая старушка, которая подкладывали хворост в костер Яна Гуса.

Я, как сейчас, вижу казанского кондитора Маломеркова у котла, в котором варился сироп для карамели и слышу задумчивые слова делателя конфект и пирожных:

«Вот-бы ехидну Толстого прокипятить, еретика...»

Царицынский парикмахер написал сочинение, озаглавленное — если не ошибаюсь — «Граф Толстой и святые пророки». Один из местных священников размашисто начертал на первом месте рукописи ярко лиловыми чернилами:

«Всемерно одобряю сей труд, кроме грубости выражений гнева, впрочем справедливого».

Мой товарищ, телеграфист Юрин, умный горбун, выпросил у автора рукопись, мы читали ее и я был ошеломлен дикой злобой цирульника против автора «Поликушки», «Казаков», «В чем моя вера» и, кажется, «Сказки о трех братьях», — произведений, незадолго пред этим, впервые прочитанных мною.

По донским станицам, по станциям Грязе-Царицинской и Волго-Донской дорог ходил хромой старик, казак из Лога, он рассказывал, что «под Москвой граф Толстой бунт против веры и царя поднимает», отнял землю у каких-то крестьян и отдал ее «почтальонам из господ, родственникам своим».

Отзвуки этой темной сумятицы чувств и умов, вызванной громким голосом мятежной совести гения, наверное, достигали Ясной Поляны и, конечно, 80-е годы были не только поэтому наиболее трудными в жизни Софии Андреевны. Ее роль в ту пору я вижу героической ролью. Она должна была иметь много душевной силы и зоркости для того, чтоб скрыть от Льва Толстого много злого и пошлого, многое, что ему — да и никому — не нужно знать и что могло повлиять на его отношение к людям.

Клевету и зло всего проще убить — молчанием.

Если мы беспристрастно посмотрим на жизнь учителей, мы увидим, что не только они — как принято думать — портят учеников, но и ученики искажают характер учителя, один — своей тупостью, другие — озорством, третьи — каррикатурным усвоением учения. Лев Толстой не всегда вполне равнодушно относился к оценкам его жизни и работы.

Наконец — жена его, вероятно, не забывала, что Толстой живет в стране, где все возможно, и где правительство, без суда, сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать лет. «Еретик» священник Золотницкий даже 30 лет просидел в тюрьме Суздальского монастыря, его выпустили на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.

Художник не ищет истины, он создает ее.

Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина, которую он проповедывал людям. В нем противоречиво и, должно быть, очень мучительно совмещались два основных типа разума: созидающий разум творца и скептический разум исследователя. Автор «Войны и Мира» придумал и предлагал людям свое вероучение может быть только для того, чтоб они не мешали его напряженной и требовательной работе художника. Весьма допустимо, что гениальный художник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головою. В «Дневнике юности» Толстого есть прямые указания на его резко враждебное отношение к мысли аналитической; так, например, в 52 г. III, 22, он записал:

«Мыслей особенно много может вмещаться в одно и то же время особенно в пустой голове».

Видимо уже тогда «мысли» мешали основной потребности его сердца и духа, — потребности художественного творчества. Лишь тем, что он мучительно испытывал мятеж «мыслей» против его бессознательного тяготения к искусству, только этим борением двух начал в духе его, можно об'яснить, почему он сказал:

«...сознание есть величайшее зло, которое только может постичь человека».

В одном из писем к Арсеньевой, он сказал:

«Ум, слишком большой, противен».

Но «мысли» одолели его, принудив собирать и связывать их в некое подобие философской системы. Он тридцать лет пытался сделать это и мы видели, как великий художник дошел до отрицания искусства, неоспоримо основного стержня своей души.

В последние дни своей жизни, он писал, что:

«Живо почувствовал грех и соблазн писательства, — почувствовал его на других и перенес основательно на себя».

В истории человечества нет другого, столь печального случая; по крайней мере я не помню ни одного из великих художников мира, который пришел бы к убеждению, что искусство, — самое прекрасное из всего, достигнутого человеком — есть грех.

Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX-го столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-

либо иной, видела и чувствовала как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людями? Но, в то же время, она видела и понимала, что великий художник по истине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится как обыкновенный смертный и даже, порою, неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди, и, как, вероятно, делала сама она.

Не одна только София Толстая плохо понимала, зачем гениальному романисту необходимо пахать землю, класть печи, тачать сапоги, этого не понимали многие, весьма крупные современники Толстого. Но они только удивлялись необычному, тогда как София Толстая должна была испытывать иные чувства. Вероятно, она вспоминала, что один из русских теоретиков «нигилизма», — между прочим автор интересного исследования о Апполонии Тианском, — провозгласил:

«Сапоги — выше Шекспира».

Конечно София Толстая неизмеримо более, чем кто-либо иной, была огорчена неожиданной солидарностью автора «Войны и Мира» с идеями «нигилизма».

Жить с писателем, который по семи раз читает корректуру своей книги и каждый раз почти на ново пишет ее, мучительно волнуясь и волнуя; жить с творцом, который создает огромный мир не существовавший до него, — можем ли мы понять и оценить все тревоги столь исключительной жизни?

Нам неведомо, что и какговорила жена Льва Толстого в те часы, когда он, глаз на глаз с нею, ей первой чи-

тал только что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной проницательности гения, я все же думаю, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту.

Очевидно для того, чтоб как можно более усложнить путанницу жизни, мы все рождаемся учителями друг друга. Я не встречал человека, которому было-бы совершенно чуждо назойливое желание учить ближних. И хотя мне говорили, что порок этот необходим для целей социальной эволюции, я всетаки остаюсь при убеждении, что социальная эволюция значительно выиграла бы в быстроте и гуманности, а люди стали-бы более оригинальны, если-б они меньше учили и больше учились.

Головные «мысли», насилуя великое сердце художника Льва Толстого, принудили его в конце, взять на себя тяжкую и неблагодарную роль «учителя жизни». Неоднократно указывалось, что «учительство» искажало работу художника. Я думаю, что в грандиозном историческом романе Толстого было-бы больше «философии» и меньше гармонии, если-б в нем не чувствовалось влияния женщины. И, может быть, именно по настоянию женщины философическая часть «Войны и Мира» выделена и отодвинута в конец книги, где она ничему и никому не мешает.

К числу заслуг женщины пред нами, следует отнести и тот факт, что она не любит философии, хотя и рожает философов. В искусстве вполне достаточно философии. Художник, умея одевать нагие мысли в прекрасные образы, чудесно скрывает печальное бессилие философии пред лицом темных загадок жизни. Горькие пилюли детям

всегда дают в красивых коробочках, — это очень умно, и очень милостиво.

Саваоф создал мир так скверно, потому что был холост. Это не только шутка атеиста, в этих словах выражена непоколебимая уверенность в значении женщины, как возбудителя творчества и гармонизатора жизни. Избитая легенда о «грехопадении» Адама никогда не потеряет своего глубокого смысла: мир обязан всем счастьем своим жадному любопытству женщины. Несчастиями мир обязан коллективной глупости всех людей, в том числе и глупости женщин.

«Любовь и голод правят миром» — это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека. Но там, где правит любовь, мы, недавние звери, имеем культуру, — искусство и все великое, чем справедливо гордимся. Там же, где возбудителем деяний наших является голод, мы получаем цивилизацию и все несчастия, сопряженные с нею, все тяготы и ограничения, впрочем — необходимые недавним зверям. Самый страшный вид тупоумия, — жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жадны, они были-бы более сыты, более умны. Это не парадокс; ведь ясно: если-б мы научились делиться излишками, которые только отягощают нашу жизнь, — мир был бы счастливее, люди — благообразней. Но только одни люди искусства и науки отдают миру все сокровища своего духа и, как все, питая, после смерти, червей, они еще при жизни служат пищей критиков и моралистов, которые растут на коже их, как паразитивные лишаи на коре плодовых деревьев.

Роль змея в раю играл Эрос, неукротимая сила, которой Лев Толстой подчинялся охотно и служил усердно. Я не забыл, кем написана «Крейцерова соната», но я помню, как нижегородский купец А. П. Большаков, семидесяти двух лет от рода, наблюдая из окна дома своего гимназисток, идущих по улице, сказал, вздохнув:

— «Эх, зря состарился рано я! Вот, — барышни, а мне они не нужны, только злость и зависть будят».

Я уверен, что не потемню яркий образ великого писателя, сказав: в «Крейцеровой сонате» чувствуется вот эта, вполне естественная и законная большаковская злость. Да и сам Лев Толстой жаловался на бесстыдную иронию природы, которая, истощив силу, оставляет желание.

Говоря о жене его, следовало-бы помнить, что при всей страстности натуры художника, София Андреевна была единственной его женщиной на протяжении почти полувека. Она была его интимным, верным и, кажется, единственным другом. Хотя, по щедрости богатого духом, Лев Толстой называл друзьями многих людей, но ведь это были только единомышленники его. И, согласитесь, трудно представить человека, который, по истине, годился-бы в друзья Толстому.

Уже один этот факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения; уже только поэтому г. г. исследователи «семейной драмы» Толстого должны-бы сдержать свое злоязычие, узко личные чувства обиды и мести, их «психологические розыски», несколько напоминающие грязненькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное

и даже циническое стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя.

Вспоминая о счастливых днях и великой чести моего знакомства со Львом Толстым, я нарочито умолчал о Софии Андреевне. Она не нравилась мне. Я подметил в ней ревнивое, всегда туго и, пожалуй, болезненно натянутое желание подчеркнуть свою, неоспоримо огромную роль в жизни мужа. Она несколько напоминала мне человека, который, показывая в ярмарочном балагане, старого льва, сначала стращает публику силою зверя, а потом демонстрирует, что именно он, укротитель, тот самый, единственный на земле человек, которого лев слушается и любит. На мой взгляд такие демонстрации были совершенно излишни для Софьи Толстой, порою — комичны и даже несколько унижали ее. Ей не следовало подчеркивать себя еще и потому, что около Толстого не было в те дни никого, кто был-бы способен померяться с его женою умом и энергией. Ныне, видя и зная, отношение к ней со стороны различных Чертковых, я нахожу, что и мотивы ревности к чужим людям, и явное стремление встать впереди мужа и еще кое-что неприятное в ней, — все это вызвано и оправдано отношением к жене Толстого и при жизни, и после смерти его.

Я наблюдал Софию Андреевну в течение нескольких месяцев в Гаспре, в Крыму, когда Толстой был настолько опасно болен, что ожидая его смерти, правительство уже прислало из Симферополя прокурора, и чиновник сидел в Ялте, готовясь, как говорили, конфисковать бумаги писателя. Имение графини С. Паниной, где жили Толстые, было окружено шпионами, они шлялись по парку, и Леопольд Сулержицкий выгонял их, как свиней из огорода.

Часть рукописей Толстого Сулержицкий уже тайно перевез в Ялту и спрятал там.

Если не ошибаюсь в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших «мелочей жизни» кружилась Толстая — мать, пытаясь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость «искренно сочувствующих» посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, напоить. Нужно было также примирять взаимную ревность врачей, — каждый из них был уверен, что именно ему одному принадлежит великая заслуга исцеления больного.

Не преувеличивая, можно сказать, что в эти тяжелые дни, — как, впрочем, всегда во дни несчастий — ветер злой пошлости намел в дом огромное количество всякого сора: мелких неприятностей, тревожных пустяков. Лев Толстой не был так богат, как об этом принято думать, он был литератор, живший на литературный заработок свой, с кучей детей, хотя и очень взрослых, но не умевших работать. В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищурив умные глаза, изумляя своей неутомимостью, уменьем всюду поспеть во время, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом.

Испуганно ходила анемичная жена Андрея Толстого; беременная, она оступилась, ожидали выкидыша. Задыхался и хрипел муж Татьяны Толстой, — у него было больное сердце. Уныло и безуспешно искал партнеров для преферанса Сергей Толстой, человек лет сорока,

скромный и бесцветный. Он, впрочем, пробовал сочинять музыку и, однажды, играл у меня пианисту А. Гольденвейзеру романс на слова Тютчева «О чем ты воешь ветр ночной»? Не помню, как оценил эту музыку Гольденвейзер, но доктор А. Н. Алексин, человек музыкально образованный, нашел в творчестве Сергея Толстого несомненно влияние французских шансонеток.

У меня, повторяю, сложилось странное, хотя, может быть, неверное впечатление: все члены огромной семьи Толстого были нездоровы, все они были мало приятны друг другу и всем было скучно. Впрочем, кажется, Александра Толстая заболела дезинтерией, уже тогда, когда отец ее выздоравливал. Все требовали внимания и забот Софьи Толстой, многое могло неприятно и опасно встревожить великого художника, который спокойно собирался отломиться от жизни.

Помню, как С. Толстая заботилась, чтоб в руки мужа ее не попал № «Нового Времени», в котором был напечатан рассказ Льва Толстого-сына, или критический фельетон о нем В. П. Буренина. Это легко смешать; дело в том, что Толстой-сын, печатал некоторые рассказы свои в той-же газете, где злой фельетонист Буренин грубо высмеивал его, именуя «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев» и даже указывал адрес неудачливого писателя: «У Спаса на Болвановке, Желтый дом».

Лев Толстой-сын был весьма озабочен тем, чтоб его не заподозрили в подражании великому отцу и, видимо, с этой целью напечатал в неряшливом журнале Ясинского «Ежемесячные сочинения», «анти-толстовский» роман о пользе висмута и вреде мышьяка. Это — не шутка, таково было задание романа. И в этом-же журнале Ясинский поместил неприличную рецензию на «Воскресенье»

Толстого-отца, причем рецензент разрешил себе говорить и о тех главах романа, которые не были пропущены цензурой в русском издании и явились только в Берлинском, появившемся ранее русского. Софья Андреевна справедливо оценивала эту рецензию, как донос.

Я говорю обо всем этом не очень охотно, и лишь потому, что нахожу нужным еще раз указать, насколько исключительно сложны были условия, среди которых жила Софья Толстая, как много ума и такта требовали они. Как все великие люди, Лев Толстой жил на большой дороге, и каждый, проходящий мимо, считал законным правом своим так или иначе коснуться необычного, удивительного человека. Нет сомнения, что Софья Толстая оттолкнула от мужа немало грязных и корыстных рук, отвела множество равнодушно любопытных пальцев, которые хотели грубо исследовать глубину душевных ран мятежного человека, дорогого ей.

Особенно тяжким грехом Софии Толстой считается ее поведение во дни аграрной революции 5—6 годов. Установлено, что она действовала в эти дни также, как сотни других русских помещиц, которые нанимали разных воинственных дикарей для «охраны разрушаемой дикарями русской сельско-хозяйственной культуры». Толстая тоже, кажется, наняла каких-то кавказских горцев для защиты Ясной Поляны.

Указывают, что жена Льва Толстого, отрицавшего собственность, не должна была мешать мужикам грабить его усадьбу. Но, ведь, на этой женщине лежала обязанность оберегать жизнь и покой Льва Толстого, он жил

именно в Ясной Поляне, и она давала наибольшее количество условий привычного и необходимого покоя для работы его духа. Покой был тем более необходим ему, что он жил уже на последние силы свои, готовый отломиться от мира. Ушел он из Ясной Поляны только через пять лет после этих дней.

Проницательные люди могут вообразить, что здесь скрыт грубый намек: Лев Толстой, революционер, анархист должен был уйти или лучше-бы сделал, если-б ушел из усадьбы именно тогда, во время революции. Разумеется, такого намека здесь нет, то, что я хочу сказать, я говорю открыто.

По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому вообще и никогда не следовало уходить, а те люди, которые помогали ему в этом, поступили-бы более разумно, если-б помешали этому. «Уход» Толстого сократил его жизнь, ценную до последней ее минуты, — вот неоспоримый факт.

Пишут, что Толстой был выжит, вытеснен из дома его психически ненормальной женою. Для меня неясно, кто именно из людей, окружавших Льва Толстого в эти дни был вполне нормален психически. И я не понимаю: почему, признав его жену душевно-ненормальной, нормальные люди не догадались обратить должное внимание на нее и не могли изолировать ее.

Органически ненавидевший собственность, анархист по натуре, а не по выучке, честнейший Леопольд Сулержицкий, не любил Софью Андреевну Толстую. Но, — вот как он рисовал себе ее поведение в 905—6 годах.

— «Вероятно семья Толстого не очень весело смотрела, как мужики растаскивают понемногу имущество Ясной Поляны и рубят березовую рощу, посаженную его

руками. Я думаю, что и сам он жалел рощу. Эта общая, может быть и бессловесная, безгласная грусть и жалость, вынудила, спровоцировала Софью на поступок, за который — она знала — ей влетит. Не знать, не учесть этого — она не могла, она умная женщина. Но — все грустят, а никто не смеет защищаться. Тогда — рискнула она. Я ее за это уважаю. На днях поеду в Ясную Поляну и скажу ей: уважаю! Хотя и думаю, всетаки, что ее молча принудили сделать этот шаг. Но, — все это неважно, был-бы цел сам Толстой».

Немножко зная людей, я думаю, что догадка Сулержицкого — верна. Никто не посмеет сказать, что Лев Толстой был неискренен, отрицая собственность, но. я тоже уверен, что рощу-то ему всетаки было жалко. Она — дело его рук, его личного труда. Тут уж возникает маленькое противоречие древнего инстинкта с разумом, хотя-бы искренно враждебным ему.

Прибавлю: мы живем в годы широко и смело поставленного опыта уничтожения частной собственности на землю и орудия труда и, вот, видим, как темный, проклятый инстинкт этот иронически разрастается, крепнет, искажая честных людей, создавая из них преступников.

Лев Толстой — великий человек, и нимало не темнит яркий образ его тот факт, что «человеческое» не было чуждо ему. Но это отнюдь не уравнивает его с нами. Психологически было-бы вполне естественно, чтоб великие художники и во грехах своих являлись крупнее обыкновенных грешников. В некоторых случаях мы видим, что так оно и есть.

В конце концов — что-же случилось?

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе — страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому ненужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частоколу морали, который возведен для ограничения человека людями, плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А, затем, она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением клеветать на нее.

Вот и все.

В 4-ой книге «Красного Архива» напечатана глубоко интересная статья «Последние дни Льва Толстого». Между прочим в статье этой приведен доклад жандармского генерала Львова, и вот что читаем в докладе его:

«Андрей Толстой в разговорах с ротмистром Савицким высказывает, что изолирование Толстого от семьи, в особенности от жены является результатом воздействия именно Черткова на врачей и дочь Александру».

И далее:

«По отдельным фразам можно было заключить, что семья Толстого умышленно не допускается к больному по причинам не имеющим прямого отношения к состоянию его здоровья».

Владислав Ходасевич

ПОЭТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУШКИНА*)

Продолжение

42

Уверен, что ни у одного поэта не встречается так часто прием перечисления, как у Пушкина. Перечислением я называю ряд однородных частей предложения, соподчиненных одному слову, как например: ряд подлежащих при одном сказуемом, ряд сказуемых при одном подлежащем, ряд прямых дополнений, зависящих от одного сказуемого, и т. д.

В дальнейшем я привожу, конечно, лишь часть имеющегося материала, при чем условно считаю перечислениями лишь те случаи, когда мы имеем дело не менее, чем с четырьмя однородными частями предложения. Примеров на меньшее число можно бы выписать целый том.

Мне кажется, что перечисления возникают у Пушкина из фигуры повторения, обычной у всех поэтов. Сопоставление Пушкинских повторений, отличающихся порою значительной многочленностью, растягивающихся порою в целую цепь, — наводит на мысль о сходстве обоих примеров: Пушкинские повторения имеют тенденцию превратиться в перечисление. Поэтому я и приведу сначала несколько примеров Пушкинских повторений:

1) *Еще* амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;

*) Продолжение, см. „Беседа“ № 2 и 3.

Еще усталые лакеи
На шубах у под'ездов спят;
Еще не перестали *топать,*
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони — и т. д.
(«Онегин», I. 21).

2) *Кого* ж любить? *Кому* же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы на нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?
(«Онегин», IV, 22).

3) У тетушки, княжны Елены,
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все так же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович *так же* глуп,
Семен Петрович *так же* скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг, мосье Финмуш,
И *тот же* шпиц, и *тот же* муж;
А он *все* клуба член исправный,
Все так же смирен, *так же* глух,
И *так же* ест и пьет за двух.
(«Онегин», VII, 45).

4) За что? За то, *что* разговоры
Принять мы рады за дела,
Что вздорным людям важны вздоры,

Что глупость ветрена и зла,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит.

(«Альбом Онегина»).

5) Немногим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор, как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит никого,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

(«Полтава»).

6) О чем же думал он? О том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег; *что* ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года...
Он так же думал, *что* погода

Не унималась; *что* река
Все прибывала; *что* едва ли
С Невы мостов уже не сняли,
И *что* с Парашей будет он
Дня на два, на три разлучен.

(«Медный Всадник»).

7) У всякого своя охота,
Своя любимая забота:
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,
Кто занимается вином.

(«Онегин», IV, 36).

От этих примеров, в которых повторения, т. е. ряды однородно построенных предложений, в сущности, переходят в перечисления, а иногда, как в примере 1 (топать, сморкаться и т. д.) сочетаются с ними, — перехожу к чистым перечислениям, которые разбиваю на грамматические группы

А. Ряд сказуемых при одном подлежащем:

1) Она *езжала* по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, *брила* лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок *била* осердясь —
Все это мужа не спросясь.
Бывало, *писывала* кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью,
И *говорила* нараспев;

Корсет *носила* очень узкий
И русский Н как N французский
Произносить *умела* в нос.

(«Онегин», II, 32-33).

2) Идет волшебница Зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою.

(«Онегин», VIII, 30).

3) И русский в шумной глубине
Уже *плывет* и *пенит* волны,
Уже противных скал *достиг*,
Уже *хватается* за них...

(«Кавказский Пленник»).

Б. Ряд подлежащих при одном сказуемом:

1) ...... *очи* всех,
Копыта, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, *клыки*,
Усы, кровавы *языки*,
Рога и *пальцы* костяные,
Все указует на нее.

(«Онегин», V, 19).

2) Но ни *Вергилий*, ни *Расин*,
Ни *Скотт*, ни *Байрон*, ни *Сенека*,
Ни даже Дамских мод *журнал*
Так никого не занимал.

(«Онегин», V, 22).

3) *Гвоздин, Буянов, Петушков*
И *Флянов*, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье *Трике*.

(«Онегин», VI, 2).

4) Где бурные любви *желанья*,
И *жажда* знаний и труда,
И *страх* порока и стыда,
И *вы*, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

(«Онегин», VI, 36).

5) Мелькают мимо *будки, бабы*,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И *стаи* галок на крестах*).

(«Онегин», VII, 38).

6) На нем *броня, пищаль, колчан*,
Кубанский *лук, кинжал, аркан*
И *шашка*...

(«Кавказский Пленник»).

---

*) В первоначальных вариантах, сверх перечисленных здесь предметов, были названы еще: дети, солдаты, девки, попы, сбитенщики, немцы, карлы, заборы, колонны, решетки, ружья и дрожки.

7) На нем *мерзавцев сотни три,*
Две обезьяны, бочки злата,
Да *груз* богатый шоколата,
Да модная *болезнь*...
(«Сцена из Фауста»).

8) Прибегали *звери* большие,
Прибегали тут *зверишки* меньшие;
Прибегал тут *волк*-дворянин:
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые.
Приходил тут *бобр*, торговый гость:
У него-то, бобра, жирный хвост.
Приходила *ласочка*-дворяночка,
Приходила *белочка*-княгинечка,
Приходила лисица-под'ячиха,
Под'ячиха, казначеиха.
Приходил скоморох-*горностаюшка;*
Прибегал тут *зайка*-смерд,
Зайка бедненький, зайка серенький;
Приходил *байбак* тут глумян,
Живет он, байбак, позади гумян;
Приходил целовальник-*еж*...
(«Как весенней теплой порой»).

9) Мелькали *мысли, примечанья,*
Портреты, буквы, имена,
И думы тайной письмена,
Отрывки, письма черновые...
(«Альбом Онегина»).

10) — пародически:
...И да блюдут твой мирный сон
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон.
(«Ода Его Сиятельству графу Д. И. Хвостову»).

В. Ряд дополнений к одному сказуемому:

1) На ветви вешает кругом
Свои *доспехи* боевые,
Щит, бурку, панцырь и *шелом,*
Колчан и *лук...*

(«Кавказский Пленник»).

2) ...Прощальным взором
Об'емлет он в последний раз
Пустой *аул,* с его забором,
Поля, где пленный стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал...

(Там-же).

3) Любила бранные *станицы,*
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие *гробницы,*
И *шум,* и *ржанье* табунов.

(Там-же).

4) Попроси ты от меня
Хоть *казну,* хоть *чин* боярский,
Хоть *коня* с конюшни царской,
Хоть *полцарства* моего.

(«Сказка о Золотом Петушке»).

5) Люблю *тебя,* Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный *вид,*
Невы державное *теченье,*
Береговой ее *гранит,*
Твоих оград *узор* чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный *сумрак, блеск* безлунный...
. . . .

Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный *воздух* и *мороз*,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи *лица* ярче роз,
И *блеск*, и *шум*, и *говор* балов,
А в час пирушки холостой —
Шипенье пенистых бокалов
И пунша *пламень* голубой,*)

Люблю воинственную *живость*
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную *красивость*;
В их стройно-зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою **);

. . . .

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни *блеск* и *гром*...

(«Медный Всадник»).

---

*) Кстати, эти два стиха, замечательную инструментовку которых так интересно вскрыл Андрей Белый в одной из своих статей, — суть автореминисценция двух других стихов, очень ранних, но инструментованных, может быть, не менее содержательно:

Стакан, кипящий пеной белой,
И стук блестящего стекла.

(«К Батюшкову», 1814).

**) В рукописи далее было:

Цветные *дротики* уланов,
Звук труб и *грохот* барабанов; —
Люблю на улицах твоих
Встречать по утру взводы их.

6) Везут домашние *пожитки,*
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, *тюфяки,*
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et coetera *).
(Онегин», VII, 31).

7) Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он *Гиббона, Руссо,*
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Бишо, Тиссо,
Прочел скептического *Беля,*
Прочел *творенья* Мармонтеля,
Прочел из наших кой-кого... **).
(«Онегин», VIII, 35).

---

*) Этим «et coetera», как бы предоставляющим читательскому воображению продолжить перечисление, Пушкин заканчивает еще дважды: 1) в послании к В. Л. Пушкину («Христос воскрес, питомец Феба»):

....побольше серебра
И золота, et coetera;

2) в «Графе Нулине»:

...С мотивами Россини, Пера
Et coetera, et coetera.

**) В черновом было:

Прочел он *Гердера, Руссо,*
Манзони, Гиббона, Шамфора,
Madame de Staël, Парни, Тиссо,
Прочел скептического *Белля,*
Прочел *идильи* Фонтенеля...

В первоначальном очерке этой строфы — простой перечень:

Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Барон д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций,
Локк, Фонтенель, Дидрот, Парни,
Гораций, Кикерон, Лукреций...

Г. Ряд определений к одному подлежащему:

Роман *классический, старинный,*
Отменно *длинный, длинный, длинный,*
Нравоучительный и *чинный,*
Без романтических затей.

(«Граф Нулин»).

Д. Ряд составных сказуемых к одному подлежащему:

1) К тому ж они так *непорочны,*
Так *величавы,* так *умны,*
Так благочестия *полны,*
Так *осмотрительны,* так *точны,*
Так *неприступны* для мужчин....

(«Онегин», I, 42).

2) Когда порой бывал *прилежен,*
Порой *ленив,* порой *упрям,*
Порой *лукав,* порою *прям,*
Порой *смирен,* порой *мятежен,*
Порой *печален, молчалив,*
Порой сердечно *говорлив.*

(«Онегин», VIII, I, первонач. ред.).

3) Она *была не тороплива,*
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...

(«Онегин, VIII, 14).

Е. Ряд обстоятельств места, времени и образа действий при одном сказуемом:

1) Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,

Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал,
У моря, на граните скал.
(«Онегин», I, 32).

2) Соседи с'ехались *в возках,*
В кибитках, в бричках и в санях.
(«Онегин», II, 25).

Ж. Ряд приложений к одному подлежащему:
Косматый *баловень природы,*
И *математик,* и *поэт,*
Буян задумчивый и важный,
Хирург, юрист, физиолог,
Короче вам — студент присяжный....
(«Череп»).

З. Ряд обращений:
Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! Я предан вам душой.
(«Онегин» — 1, 56).

И. Чистые перечни без легко подразумеваемого сказуемого:

1) Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь темная, двух девственных холмов,
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов
(«Гаврилиада»).

2) Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,

Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов —
И для ногтей и для зубов.

(«Онегин» I, 24).

3) Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина...

(«Онегин», IV, 39).

4) А только ль там очарованья? *)
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? а балет?
А ложа?...

(«Путешествие Онегина»).

5) Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные, графини, великаны,
И вы, любимицы златой моей зари —
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.

(«Осень» черн.).

---

*) Кажется, все издатели пишут «очарований», не решаясь исправить явную описку Пушкина, который не мог сознательно рифмовать очарований — свиданья.

При желании число этих групп и количество примеров внутри каждой группы можно бы значительно увеличить. Но я ограничусь тем, что, не приводя цитат, укажу несколько мест, в которых читатель найдет ряд *комбинированных* перечислений, т. е. таких, где, например, ряд подлежащих при одном сказуемом сменяется рядом определений к одному дополнению и т. под. Таковы в «Онегине» (дающем, вообще, наибольшее количество перечислений): 10—11 строфы I-ой главы; 26 и 37 строфы V главы; 46 строфа VII главы; 24—26 строфы VIII главы с их вариантами и черновиками; две заключительные строфы из «Путешествия Онегина»; таково же и посвящение «Онегина» Плетневу. («Не мысля гордый свет забавить»). Далее, комбинированные перечисления встречаем в «Братьях-разбойниках» (первые 27 стихов); в «Полтаве» (песнь I, стихи 7—15); в «Графе Нулине» (весь абзац, начинающийся словами: «Слуга бежит...» и кончающийся пародически растянутым перечислением того, что везет Нулин из Парижа); в «Родословной моего героя» (строфа начинающаяся словами: «Скажите: экой вздор!...). Таково, наконец, раннее стихотворение, еще 1819 года, «В. В. Энгельгардту», с начала до конца построенное на перечислениях. Оно так любопытно, что выписываю его целиком:

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый, но *живой:* } 3 определения к одному подлежащему „я“.
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной.
Здоровье, легкий друг Приапа,
И *сон,* и сладостный *покой,* } 3 подлежащих при сказуемом „посетили“.
С Киприлой посетили снова
Мой угол тесный и простой.
Утешь и ты полубольного!

Он жаждет видеться с тобой,
С тобой, счастливый *беззаконник*,
Ленивый Пинда *гражданин*,
Свободы, Вакха верный *сын*,
Венеры набожный *поклонник*
И наслаждений *властелин!*

5 приложений к одному дополнению „с тобой“.

От суеты столицы праздной
От хладных *прелестей* Невы,
От вредной сплетницы *молвы*,
От скуки, столь разнообразной,

4 обстоятельства места при одном сказуемом „еду“.

Я еду в даль! Простите, *дамы*,
Артисты, *франты*, *доктора*,
Шумящи *игры*, *вечера*,
Где льются пунш и эпиграммы.

6 обращений при одном повелении „простите“.

Меня зовут: *поля*, *луга*,
Тенисты *липы* огорода,
Озер пустынных *берега*
И деревенская *свобода*.

5 подлежащих при одном сказуемом „зовут“.

Дай руку мне — приеду я
В начале мрачном октября:
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
На счет *глупца*, *вельможи* злого,
На счет *холопа* записного,
На счет небесного *царя*,
А иногда на счет *земного*.

5 дополнений к одному обстоятельству образа действия „говоря“.

На повторениях и перечислениях сознательно построены некоторые пьесы. Такова, отчасти построенная на повторении, элегия «Мне вас не жаль». На комбинации повторения с перечислением построены «Дорожные жалобы». Целиком на перечислениях задуманы и построены: «Бог помочь вам, друзья мои», «Что дружба?...», «Полу-милорд...», «Собрание насекомых», «Сват Иван, как пить мы станем»... и удивительное по мощности «Все в жертву памяти твоей», в «неокончен-

ности» которого позволительно сомневаться и которое, кстати сказать, написано без единого глагола*).

Что касается применения перечислений, то мне кажется — Пушкин пользуется этим приемом очень широко, в самых разнообразных случаях. Какой либо закономерности мне заметить не удалось. Отмечу лишь одно наблюдение: Пушкин любит прибегать к повторениям и перечислениям при описании смятений и массовых сцен, в частности боев.

В «Цыганах» — движение табора:

....*Мужья* и *братья, жены, девы,*
И *стар* и *млад* вослед идут;
Крик, шум, цыганские *припевы,*
Медведя *рев,* его цепей
Нетерпеливое *бряцанье,*
Лохмотьев ярких *пестрота,*
Детей и старцев *нагота,*
Собак и *лай* и *завыванье,*
Волынки *говор, скрип* телег...

В «Медном Всаднике» — наводнение:

Садки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!...

---

*) Сюда не относится написанное вместе с Вяземским «Поминание». На перечислениях же построены — отчасти — «Гауэншильд и Энгельгардт» и вполне — «Молитва лейб-гусарских офицеров», что, может быть, говорит в пользу признания авторства их за Пушкиным или за его участие в авторстве.

В «Онегине» (V, 25) — приезд гостей:

Соседи с'ехались в *возках*,
В *кибитках*, в *бричках* и в *санях*.
В передней *толкотня, тревога;*
В гостинной *встреча* новых лиц,
Лай мосек, *чмоканье* девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц *крик* и *плач* детей.

Там же, строфа 9, за обедом:

Никто не слушает, *кричат*,
Смеются, спорят и *пищат*.

«Онегин» гл. VII, строфа 51, бал:

Ее привозят и в Собранье.
Там *теснота, волненье, жар*,
Музыки *грохот*, свеч *блистанье*,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие *уборы*,
Людьми пестреющие *хоры*,
Невест обширный *полукруг*
Все чувства поражают вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое *нахальство*, свой *жилет*,
И невнимательный *лорнет*.
Сюда гусары отпускные
Спешат *явиться, прогреметь*,
Блеснуть, пленить и *улететь*.

На сложной смене перечислений и повторений построено описание боя с Печенегами в последней главе «Руслана и Людмилы». На тех же приемах построен и знаменитый бой в «Полтаве». Не выписывая слишком длинных цитат, отмечу лишь некоторые черты сходства в обоих описаниях.

В «Руслане и Людмиле»:

Чудесный рыцарь на коне
Грозой *несется, колет, рубит*,
В ревущий рог, летая, *трубит*...

В «Полтаве»:

Швед, русский — *колет, рубит, режет*.

Но описание боев по приемам граничит с описаниями явлений совершенно иного колорита. Например, точно так же, как последняя фраза из «Полтавы», построено изображение грязной улицы в Одессе:

Кареты, люди — тонут, вязнут.
(«Путешествие Онегина»).

В «Руслане и Людмиле», — Руслан громит замок Черномора:

И рев, и треск, и шум, и гром.

В «Полтаве»:

Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон...

В гл. V «Онегина», строфа 44, бал у Лариных:

Треск, топот, грохот по порядку.

Там же, во сне Татьяны:

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь, и конский топ.

В «Медном Всаднике»:

Так злодей
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, *ловит режет*,
Крушит и *грабит; вопли, скрежет*,
Насилье, брань, тревога, вой!...

Здесь, между прочим, повторена рифма из Полтавского боя: режет — скрежет.

43

В заметке 19 я уже говорил о недоразумениях, возникающих у нынешнего читателя вследствии незнакомства с Пушкинским словоупотреблением. К числу слов, вызывающих такие недоразумения, принадлежит, между прочим, и слово «важный». В теперешнем понимании оно почти равно словам: чванный, гордый, надутый. У Пушкина оно никогда не имеет этого смысла и всегда означает только — строгий, серьезный,— что иногда весьма существенно для правильного понимания Пушкинского текста. Например, на основании стихов:

К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.

(«Евг. Онегин», VIII, 41).

нельзя себе представлять мужа Татьяны человеком надменным. Здесь слово «важный» означает оценку положительную. Если можно говорить о некоторой надменности этого генерала, то на основании не этих стихов, а других:

Девицы проходили тише
Пред ней по зале; и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.

(«Онегин», VIII, стр. 15).

В слове «важный» нет осудительного или иронического оттенка и в «Гаврилиаде»; когда Пушкин говрит:

И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит —

то это не должно понимать так, будто Пушкин имеет в виду торжественность обряда, — что, по контексту пьесы, звучало бы иронически. Здесь Пушкин просто хочет сказать, что после легкомысленных увлечений молодости, брак будет для него делом «важным»: серьезным.

Точно так же это слово надо понимать и в 5-ой строфе I главы «Евгения Онегина»:

С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре...

Т. е. потому то Онегину, учившемуся «понемногу, чему нибудь и как нибудь», и приходится молчать, что спор действительно серьезный, «важный» — в том смысле, какой до сих пор сохранился у нас в словосочетаниях: «*важное дело*», «*важная ошибка*» и т. п.

Нет осудительного оттенка и в варианте зачеркнутой Пушкиным 11 строфы III главы «Онегина»:

Бывало, важные поэты...

Поэтому, и в «Руслане и Людмиле», когда голова рассказывает Руслану:

— Оставим бесполезный спор
Сказал мне важно Черномор, —

она вовсе не хочет сказать, что Черномор говорил с ней «надменно»; Черномор говорил лишь серьезно, сознавая серьезность предмета, о котором шел спор*).

---

*) Поэтому и в другом месте «Руслана и Людмилы», когда в начале разговора с головой, Пушкин рассказывает, что

витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова» и т. д. —

то и эти слова надо понимать так, что Руслан решил разговаривать с головой серьезно, строго, а вовсе не собирался «важничать».

В «Черепе», рассказывая о студенте, раздобывшем скелет барона, Пушкин называет его:

Буян задумчивый и важный.

Здесь эпитеты «задумчивый» и «важный» очень близки друг к другу по смыслу, так как «важный» опять-таки равняется «серьезному», а не «надутому».

В связи с этим студентом, который, как рассказывает Пушкин, был знаком с Пушкинским приятелем А. Н. Вульфом, вспоминается то, что сказано о самом Вульфе в «Заметке о холере»: «разговор его был *прост и важен*». Если бы «важен» значило для Пушкина «надут», — то сочитание эпитетов: «прост и важен» заключало бы в себе непримиримое противоречие. В лирических стихах Пушкина так-же есть случаи, в которых слово «важный», будучи понятно в нашем теперешнем смысле, оказалось бы нелепым и безвкусным. Так, в стих. «Наперсница волшебной старины» читаем:

Средь *важных муз* тебя лишь помнил он*).

В «Музе»:

И *гимны важные*, внушенные богами.

В наброске стихов «При посылке Гавриилиады»:

Картины, вымыслы, рассказы
Для вас я вновь перемешал,
Смешное с важным сочетал...

В наброске «Как наше сердце своенравно»:

Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой южный взор,
Твой вид *задумчивый и важный*,
Твой сладострастный разговор.

---

*) То же — в черновом варианте пьесы «Земля и море»:

И забываю *важных муз*.

И ранее, — в послании к А. И. Галичу («Пускай угрюмый рифмотвор, 1815 г.):

И я, питомец *важных муз*...

В наброске 1830 г.:

Еще одной *высокой, важной песни*
Внемли, о Феб...

В наброске 1836 г. «Когда за городом задумчив я брожу»:

Стоит широкий дуб над *важными гробами*.

В «Альбоме Онегина» значение этого слова как будто равняется теперешнему:

Сегодня был я ей представлен,
Глядел на мужа с полчаса;
Он *важен;* красит волоса
Он чином от ума избавлен.

Действительно, почему бы такому человеку и не быть «важным» в нашем смысле слова, т. е. надутым. Но Пушкин все же хочет сказать не то. Здесь пушкинская ирония тоньше. Слова эти означают, что муж серьезен, и это особенно забавно, если принять во внимание, что от ума он «избавлен».

44.

Изображения от'ездов, отлетов, исчезновений, бегств, и т. п. исполнены у него необычайной живости. Большею частью это достигается сочетанием двух приемов: 1) изменением времени при изображении предот'ездного, так сказать, момента и самого момента от'езда и 2) вставкою прямой речи между этими моментами. Поясню примерами.

1. «Руслан и Людмила», — от'езд Руслана от Финна:

.....Ногами стиснул
Руслан заржавшего коня;
В седле оправился, присвистнул.
«Отец мой, не оставь меня».
И скачет по пустому лугу.

Здесь предот'ездный момент дан в глаголах прошедшего времени: стиснул, оправился, присвистнул. Самый от'езд — в настоящем: скачет. Между этими моментами вставлена прямая речь (в повелительном наклонении).

2. В том же «Руслане», при изображении того момента, когда Рогдай решает изменить направление и настичь Руслана:

Злой дух тревожил и смущал
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шептал:
«Убью... преграды все разрушу...
Руслан... узнаешь ты меня....
Теперь-то девица поплачет»...
И вдруг, поворотив коня,
Во весь опор назад он скачет.

Опять прошедшее время (тревожил, смущал, шептал), затем — прямая речь, и наконец, скачка назад — в настоящем времени: скачет.

3. «Евгений Онегин», гл. V, строфа 15, сон Татьяны:

Медведь промолвил: «здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

Опять прошедшее время (промолвил), прямая речь (в повелительном наклонении) и настоящее время: идет, кладет.

4. «Сказка о царе Салтане», ссора царя с бабами и его уход:

Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? Царь или дитя?»
Говорит он не шутя.
«Нынче же еду!» — Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Снова изменение времени: настоящее (внимает, унимает, говорит), затем прямая речь, точнее — ее заключительная фраза, непосредственно предшествующая уходу, — и, наконец, прошедшее: топнул, вышел, хлопнул.

V. «Евгений Онегин», гл. VI, строфа 19, прощание Ленского с Ольгой и его от'езд домой:

Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — Так. — И на крыльцо.

Здесь невозможно определить, применены ли *оба* приема. Один, вставка прямой речи, несомненно на лицо, но есть ли изменение времени — сказать нельзя. Перед прямой речью — настоящее время, но после нее глагол опущен, так что можно подразумевать и *вышел* и *выходит*.

От этого примера перехожу к тем, где сохранен лишь прием вставки прямой речи, — без изменения времени в описательной части.

VI. «Руслан и Людмила», отлет Наины:

И мрачно ведьма повторила:
«Погибнет он, погибнет он».
Потом три раза прошипела,
Три раза топнула ногой
И черным змием улетела.

VII. «Медный всадник», Евгений перед статуей:

И зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он, злобно задрожав:
«Ужо тебя...» И вдруг стремглав
Бежать пустился.

VIII. «Граф Нулин», — от'езд на охоту:

Вот мужу подвели коня,

Он холку хвать — и в стремя ногу,
Кричит жене: «Не жди меня!»
И выезжает на дорогу.

В сущности, здесь есть даже и изменение времени (подвели, кричит), но оно предшествует прямой речи, которая заключена между двумя настоящими: кричит, выезжает. Прямая речь и здесь, как в I и III, дана в повелительном наклонении.

На фоне этих примеров некоторый интерес представляют и те случаи, когда Пушкин не прибегает ни к изменению времени, ни к вставке прямой речи.

Таковы:

IX. «Руслан и Людмила», отлет Черномора:

Чу... вдруг раздался рога звон,
И кто-то карлу вызывает.
В смятеньи, бледный чародей
На деву шапку надевает;
Трубят опять; звучней, звучней!
И он летит к безвестной встрече.
Закинув бороду за плечи.

Все движения карлы показаны в настоящем времени вплоть до отлета. Прямой речи его нет — но все же непосредственному моменту отлета предшествует з в у к о в о й образ: «Трубят опять; звучней, звучней». — Тут — как бы суррогат прямой речи. Почти то же в следующем примере:

X. «Полтава». Погоня за Марией:

Ушла. Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков,
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикий крик погони,
Верхом, и скачут молодцы
Во весь опор, во все концы.

Здесь опять момент, предшествующий от'езду и самый от'езд даны в одинаковом времени: бегут, храпят, скачут. Но — снова движения от'езжающих перебиты звуковым образом, «диким криком погони», о котором сказано все же с изменением времени: прошедшее «раздался» — между двумя настоящими — «храпят» и «скачут»*).

Вообще, кстати сказать, изменением времени он пользуется необычайно часто. Изучение этого приема у Пушкина могло бы стать предметом особой статьи. Взять хотя бы такие примеры:

«Руслан и Людмила»:

Хотел бежать, но в бороде
Запутался, упал и бьется;
Встает, упал...

Или, в «Графе Нулине»:

Он входит, медлит, отступает —
И вдруг упал к ее ногам.

Наконец, в «Сказке о Мертвой Царевне и семи богатырях», в связи с перебоями прямой речи, после которой время меняется каждый раз:

И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала».

---

*) Любопытный материал для рассмотрения пушкинских от'ездов и т. д. представляет также 32 строфа VII главы «Онегина».

И встает она из гроба...
«Ах...» и зарыдали оба,
В руки он ее берет и т. п.

Здесь ход времени в сказуемых: прошедшее — прошедшее — прошедшее — настоящее — прошедшее — (прямая речь) — настоящее — (прямая речь) — прошедшее — настоящее. Шесть последних сказуемых даны каждый раз с переменой времени: прошедшего на настоящее и обратно.

Окончание следует.

Александр Лясковский

НОВОЕ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

Оценка произведений и литературной деятельности Михаила Евграфовича Салтыкова дана в русской литературе более или менее полная. Но для всесторонней характеристики его личности, для биографии не достает еще многого. Особенно слабо освещена служебная деятельность его, чиновничество.

Из появившихся до сих пор исследований в этой области сколько нибудь значительным и ценным является лишь труд К. К. Арсеньева «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова». Но и этот труд не может претендовать на «полноту», так как заключает в себе оценку только некоторых служебных действий, о которых случайно сохранились копии записок, найденные среди бумаг, оставшихся после смерти Салтыкова.

Авторы других трудов: Н. А. Белоголовый — «Воспоминания и статьи», Мих. Лемке — «К биографии М. Е. Салтыкова»*), Вл. Кранихфельд**), С. Н. К. — «Воспоминания о Салтыкове»***), Л. Н. Спасская — «М. Е. Салтыков. Опыт характеристики»****), В. А. Алексеев — «М. Е. Салтыков в

*) Русская Мысль. Янв. 1906 г.

**) Мир Божий. 1904 г. Июль.

***) Ист. Вестник. 1890 г. Ноябрь и Декабрь.

****) Памятная книжка Вятской губ. на 1908 г.

Вятке» *) и др. ничего существенного к тому, что уже было сказано Арсеньевым не прибавили. Повторяю, служебная деятельность Салтыкова как в вятский период, так и в дальнейший, в должности вице-губернатора в Рязани и Твери и управляющего казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани остается не исследованной, если не считать незначительных эпизодов, опубликованных в отдельных очерках и воспоминаниях разных лиц.

В моей статье «М. Е. Салтыков в ссылке»**) приведен довольно полный, если не исчерпывающий перечень поручений, выполненных Салтыковым в Вятке, в должности чиновника особых поручений и советника губернского правления. В настоящем очерке я предлагаю вниманию читателей три эпизода из службы Салтыкова в Вятке, заслуживающие особого внимания: участие Салтыкова в усмирении крестьянских волнений, расследование по раскольническим делам и организация сельско-хозяйственной выставки.

К. К. Арсеньев в «Материалах к биографии» довольно подробно остановился на истории возникновения крестьянских волнений в 1852 г. в Трушниковской волости Слободского уезда Вятской губернии, на усмирение которых был послан Салтыков, и потому я ограничусь приведением здесь только новых данных, добытых мною в архиве Вятского губернского правления, и коснусь лишь самой техники усмирения беспорядков, о которой у Арсеньева почти не говорится.

Сложность и запутанность вопроса о «починках» (лесных расчистках) в Камской казенной оброчной статье, из за которых возникли крестьянские волнения, требовали особой осторожности, внимательности, предусмотрительности и целесообразности действий со стороны администрации. Выбор Салтыкова для усмирения крестьян был, пожалуй, наиболее удачным, гарантировавший, во всяком случае, от излишних эксцессов.

---

*) Истор. Вестник. 1907 г. Ноябрь.
**) Историк и Современник, кн. III.

«Починки» находились в пользовании крестьян с давних времен, расчищены были их дедами и прадедами, а потому они считали их своими и от уплаты аренды отказывались. Камская оброчная статья, в которую входили починки, переходила от одного оброкосодержателя к другому и острота вопроса об уплате аренды за них то ослаблялась, то усиливалась, в зависимости от темперамента и аппетита оброкосодержателя. Атмосфера достигла высшего напряжения при наиболее придирчивом и настойчивом Иване Гуднине, решившем во что-бы то ни стало заставить крестьян платить оброк.

2 октября в волость приехал становой и об'явил крестьянам, что скошенная ими трава принадлежит Гуднину, который и должен ею воспользоваться. На утро прибыл и сам Гуднин с 40 подводами.

«Починки» были больным местом крестьян, оброкосодержатель — «злым гением». Если-б не этот злой гений они владели бы «починками» безоброчно, как владели их отцы и деды, если-б не Гуднин они может быть, пользовались бы всей Камской статьей*). Появился на горизонте деревни этот «злой гений», горожанин и причиняет им массу страданий: сначала вырывает Камскую статью, потом отстраняет от пользования пастбищами и, наконец, пытается отнять и «починки». Как на это реагировать? Как защитить облитые потом и кровью отцов и дедов «починки»? За средством далеко ходить не пришлось: взялись за колья и прогнали подводы. Сам Гуднин поспешил под защиту станового, но, видимо, мало в нее верил и спрятался в сарай. Крестьяне приступом взяли сарай, вытащили оттуда оброкосодержателя, избили его и отвели в плен, к себе в деревню. Там от Гуднина потребовали контракт на Камскую статью и подписку, что он никогда не будет пользоваться не только Камской статьей, но

---

*) Однажды крестьяне сами взяли в аренду всю Камскую статью, но пользовались ею недолго; на очередных торгах была предложена высшая плата и им пришлось расстаться с Камской статьей, но «починки» они оставили за собой.

не будет брать в аренду никаких земельных угодий. Отречение было подписано. Это еще больше воодушевило крестьян и окрылило их надежды. Они не удовлетворялись уже «починками», а считали себя вправе на всю Камскую статью, предназначавшуюся им в надел. Выехавшему на место отделению земского суда они заявили: «лучше погибнем со своими семействами, чем дадим пользоваться оброчной статьей мещанину».

Так обстояло дело к моменту прибытия на место происшествия М. Е. Салтыкова.

Созвав крестьян, он начал убеждать их прекратить самоуправные действия, обещая от имени губернского начальства пересмотр дела о «починках» о наделении их землею.

Крестьяне неоднократно слышали подобного рода обещания, которые приведены в исполнение не были. К салтыковскому, как и к предыдущим, отнеслись с недоверием и твердили одно: «Разработанные дедами и прадедами починки мещанину не отдадим».

Пробовал Салтыков вести переговоры по-одиночке, с менее упорствовавшими, но у всех встречал он один и тот же ответ: «Что скажет общество» *), а общество своего решения не меняло.

Сломить сопротивление и солидарность крестьян не удавалось. Ни раз'яснения об ответственности, ни увещевания, ни обещания пересмотра дела не помогали. Оставалось фатально неизбежное — применение силы.

Салтыков не верил в это радикальное, патентованное полицейское средство и меньше всего, конечно, ему сочувствовал. Грубая расправа с «бунтовщиками» не входила в его планы, ни коим образом не гармонировала с его гуманным характером, но все же он отправил рапорт губернатору, в котором просил о присылке воинской команды «для приведе-

---

*) В «беспорядках» принимали участие два сельских общества: Путейское и Нелысовское, численностью свыше 100 человек.

ния крестьян в повиновение без чего никоим образом желаемой цели достигнуть невозможно». Рапорт подписан был, кроме Салтыкова, жандармским офицером шт.-кап. Дувингом и лесным ревизором Соломко*).

Чтобы произвести на крестьян некоторого рода давление он писал рапорт губернатору в их присутствии, прочитал им и на их глазах отослал с гонцом в Вятку. Это произвело некоторое действие. Вечером, после отсылки бумаги явилась делегация и высказала намерение части крестьян «подчиниться». Салтыков воспользовался этим случаем и начал склонять упорствовавших последовать примеру своих товарищей. В то же время трое крестьян поводырей усилили свою агитацию непримиримости, которая взяла верх. Собравшись на сход, крестьяне снова решили настаивать на своем и не итти ни на какие уступки.

Блеснувшая надежда мирно уладить конфликт опять померкла. Виновниками провала и предстоявшей, может быть, кровавой развязки Салтыков считал вот этих трех агитаторов-поводырей и чтобы устранить их влияние, расчистить себе путь для дальнейших переговоров и уладить дело еще до прибытия воинской команды решил арестовать их.

В своем рапорте губернатору он об'яснял этот шаг следующим образом: «Дабы и в предстоящих по сему предмету распоряжениях не встретить в подстрекательстве сих крестьян (арестованных Дудихина и Карпова. А. Л.) главной причины недостижения возложенного на нас поручения я распорядился вызвать их из места жительства и дабы пресечь всякий способ к побегу, подвергнуть их аресту с заключением в кандалы, в каком виде и препроводил их в временное отделение Слободского суда к производимому им следственному делу с тем, чтобы в дальнейшем оно поступило с ними по обстоятельствам дела» **).

---

*) Эти лица также командированы были на усмирение «беспорядков».

**) Дело Вятского губернатра 1852 г. № 592 по 3 столу.

Упорство крестьян сильно волновало и беспокоило Салтыкова. Кроткие меры не помогали. Нужно было какое то сильнодействующее средство, но отыскать его он не мог. Расчеты с арестом не оправдались. Крестьяне разошлись по домам и для переговоров в Кай *) больше не пошли. «Ожидания наши — писал Салтыков — остались тщетны: никто из крестьян к нам не явился, а собирать их вновь мы не считали нужным» **).

Неуспех Салтыкова об'яснялся, главным образом, неопытностью его. Присущая ему аккуратность, педантичность, а также гуманные стремления давали хорошие результаты в кабинетной работе, но совершенно непригодны были при исполнении полицейских функций. Здесь требовалась своя логика, свои особые приемы. Требуя для усмирения крестьян воинскую команду, арестовывая агитаторов Салтыков внутренне был на стороне крестьян, сочувствовал их бедственному положению, соглашался с ними в их домогательствах. Действия его шли в разрез с его внутренними убеждениями, а потому и были неуверенными, нерешительными, непрактичными. Арест агитаторов, как уже сказано, не гармонировал ни с его добродушным характером, ни с гуманным обращением с «бунтовщиками». Крестьяне не могли этого не подметить, они инстинктивно чувствовали слабость Салтыкова и это придавало им больше бодрости и стойкости в своих требованиях. Все действия Салтыкова не оказывали на них должного действия, не давали осязательных результатов.

Поняло трагичность положения Салтыкова и его вятское начальство. Вместо просимой воинской команды губернатор послал на место беспорядков управляющего палатой государственных имуществ Круковского. В бумаге на имя Круковского он писал: «В донесении (Салтыкова) не об'ясняется положительно дабы крестьяне продолжали оказывать такое

---

*) Заштатный город Вятской губ.
**) Там-же.

буйное или возмутительное сопротивление, для прекращения коего было бы необходимо и при том в неотложном времени употребить силу воинской команды, а с другой стороны посылка сей команды при известной с давнего времени бедности крестьян не имеющих даже возможности уплачивать государственной подати повергло бы их в совершенное разорение» *), а потому он просил Круковского употребить все меры к вразумлению и убеждению крестьян прекратить беспорядки. Об этом же писалось и Салтыкову, чтобы и он с своей стороны приложил все старание к достижению желанного результата «если будет возможно без употребления воинской команды».

Салтыкову высказано было недоверие, неодобрение его действиям. При самолюбивом характере Мих. Евгр. это было для него не малым ударом. Чувствуя себя обиженным и оскорбленным он излил свою обиду в частном письме губернатору, в котором писал: «Ваше превосходительство сами изволите знать как тяжело мне было при постоянном моем нездоровьи отправляться в г. Кай, где я живу уже вторую неделю в самом мучительном положении; известно также в. п. и то в какой степени я дорожу добрым мнением вашим о моей службе; этих фактов достаточно, чтобы убедиться, что с моей стороны были употреблены все меры кротости и увещания и что я решился просить о присылке воинской команды движимый только крайней необходимостью».

«Василий Ефимович **) сообщил мне наставления данные в. п. о том, каким образом действовать при укрощении крестьян; все эти средства были уже употреблены мною; мало того: я уговаривал крестьян, чтобы они дали только подписку в том, что они не платят оброк не по упорству, а по бедности (ибо при таком отзыве можно было бы предоставить

---

*) Все расходы по посылке военных экзекуций относились в те времена за счет недоимщиков и неплательщиков.

**) Круковский.

Гуднину ведаться с ними своим порядком) но и этого добиться не мог. Я пред'являл Круковскому проэкт подписки, которую я от них требовал и он может засвидетельствовать, что снисходительнее поступить было невозможно».

«Быть может, что г. Круковскому и удастся кончить это дело миролюбиво, но во всяком случае я до настоящего времени имею сильный повод сомневаться в том, ибо очень может быть, что крестьяне даже и вовсе не явятся к нему. По-крайней мере, не смотря на наше приказание и посылку сотских и десятских, до сих пор собралось только самое незначительное число»*).

По поводу краткости донесения и других замечаний губернатора С. писал: «Я не счел нужным подробно об'яснить в чем состоит неповиновение крестьян, потому что это было подробно об'яснено в рапорте временного отделения земского суда. Рапорт этот был отправляем в глазах собравшихся крестьян. Я счел нужным именно в это время, а не позже сделать это для того, чтобы крестьяне убедились, что с ними не шутят, ибо они между собою постоянно и громко говорят, что все дело кончится ничем и они поставят таки на своем. Поспешность отправления и вынудила меня быть кратким».

В заключение рапорта он просил «как особой милости» разрешения вернуться в Вятку, так как «если посылка воинской команды будет неизбежной то распорядиться ею может и местная земская полиция».

Предположения Салтыкова оказались ошибочными. Общими усилиями все же удалось уговорить крестьян подчиниться требованиям властей. Они согласились уплатить Гуднину часть оброка, а последний, в свою очередь, обязался не требовать его с наиболее несостоятельных; кроме того он дал торжественное обещание совершенно отказаться с нового года от аренды Камской статьи.

---

*) Там же.

С 1 января 1853 г. крестьяне действительно получили в надел всю Камскую статью*).

Не смотря на неуверенные, может быть, ошибочные действия, Салтыков все же не мало способствовал усмирению крестьян. Круковскому легко было добиться согласия прекратить самоуправство, потому что почва была уже подготовлена Салтыковым. Но губернатор все же действиями его остался недоволен. Это был, кажется, единственный случай в службе Салтыкова.

Напрасно Круковский в своем донесении выгораживал Салтыкова и доказывал, что он очень много сделал для усмирения крестьян, разубедить губернатора не удалось: nota bene он написал: «Едва-ли? Салтыков ничего не сделал для усмирения крестьян», а на просьбе Круковского представить Салтыкова к какой либо награде, положил резолюцию: «Я согласен представить Круковского и Дувинга, но распоряжениями Салтыкова я не доволен»**). Итак, Салтыков должен был перенести еще недовольство губернатора, что в его положении ссыльного было не совсем безразлично.

---

*) К. К. Арсеньев (см.: «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова»), а затем и другие историки литературы ставят Салтыкову в особую заслугу то, что он, в дореформенное время, «да еще в исключительном своем положении поднадзорного» мог так свободно высказать свое мнение об улучшении положения крестьян Трушниковской волости. Приоритет в этом деле принадлежит не Салтыкову. Временное отделение земского суда раньше Салтыкова, а именно 6 ноября 1852 г. (рапорт Салтыкова губернатору датирован 24 ноября) указывало на необходимость наделения крестьян землею как на единственный выход из создавшегося положения и успокоения крестьян. Салтыков в своем рапорте лишь повторил то, что высказано было земским судом, развил это мнение детализировал и подкрепил яркой картиной бедственного положения крестьян. Еще до получения рапорта Салтыкова вятский губернатор, основываясь на донесении земского суда, 22 ноября отправил представление министрам государственных имуществ и внутренних дел о необходимости отдать крестьянам в надел всю Камскую статью.

**) Там же.

Спустя два года Салтыкову пришлось производить расследование по раскольническим делам.

В начале XIX столетия Вятская губерния, в числе других окраинных, являлась убежищем для раскольников, спасавшихся от преследования в центральной России. Целыми семействами они перекочевывали сюда и селились в городах и селах. В густых лесах находили приют монахи и монахини закрывавшихся властями раскольнических монастырей, раскольнические «наставники» и «странники». Поселившись в глухом месте, устроив пещеру-келью монахи и странники начинали делать вылазки в окрестные деревни и, выдавая себя за духовников, совершали требы: «там канунчик прочитаешь, в другом месте младенцу молитву дашь, в третьем просто побеседуешь...». Большинство из них мало думало о распространении раскола и своим «саном» пользовалось среди некультурного темного народа, как ремеслом, в погоне за легким куском хлеба. Все же популярность их среди населения была большая, а одиночки-кельи быстро обрастали «братией», вырастали в монастыри, «угрожая господствовавшей религии».

В первых числах октября 1854 года вятским губернатором получено было от Сарапульского городничего фон-Дрейера*) донесение о «необычайном происшествии» о пойманном «бродяге», именовавшем себя «странником Ананием».

Биография «бродяги Ситникова» или «странника Анания» была самой обыкновенной ничем не выделяющейся и не отличавшейся от биографий подобных лиц. Был казенным мастеровым на одном из Уральских заводов, особым трудолюбием не отличался, под влиянием душеспасительных бесед заходивших на завод раскольнических наставников увлекся религиозными вопросами, примкнул к расколу, отрешился от земного мира, бросил семью и ушел «спасть душу»; жил

---

*) Любопытный портрет фон-Дрейера дал Салтыков в Губерн. очерках: «Второй рассказ под'ячего», в котором он выведен под псевдонимом Фейер.

долго в раскольнических скитах, по обету принял монашество, путешествовал по святым местам — посетил монастырь св. Кирилла Белозерского, Дмитрия Прилуцкого, Соловецкий и раскольническую Мекку — Рогожское кладбище в Москве, чтобы исповедываться там и приобщиться; исполнил это, но в Туле, т. к. узнал, что священник Рогожского кладбища перешел в ведомство австрийского митрополита, а он власти его не признавал, на обратном пути в «Чердынские леса» получил приглашение в Сарапул читать «Неугасимую», в Нижнем закупил принадлежностей религиозного культа и для исполнения духовных треб и возвращался в свои края чувствуя себя вполне «подготовленным» к роли духовника «наставника».

В Сарапуле с парохода Ситников направился к своему знакомому раскольнику Смагину. Визит его не ускользнул от городничего и вызвал ревизию в квартире Смагина. Из тайных хранилищ именитого раскольника извлечены были предметы монашеского облачения, два сосуда с частицами св. даров, старинные раскольнические книги и пр. Содержимое котомочки «странника Анания» состояло из всевозможного рода записочек, воззваний, посланий по вопросам «старой» веры, среди них было послание «некрасовских» раскольников, живших в пределах Турции к некоему Ивану Александровичу.

В послании говорилось, что у них было несколько соборов, в которых участвовали единомышленники из Греции, Молдавии, Болгарии и России. На этих соборах обсуждался между прочим, вопрос о том, как правильнее совершать крещение по примеру ли греков, у которых будто иерей, погрузив младенца до плеч, правой рукой обливает его водою или по примеру тех, которые только обливают водою без погружения, или по примеру тех, которые крестят через троекратное погружение в воду, что эти соборные совещания кончились ничем и они просят его, как опытного знатока и хранителя отеческих преданий, разрешить их недоразумение.

Из переписки Ситникова и Смагина городничий узнал много тайн раскольнического мира и, между прочим, секрет — откуда они получают духовников, — а этим вопросом сильно интересовались власти. В корреспонденции говорилось, что раскольники отправляли доверенных людей за границу искать епископа. Ходоки нашли где то в Греции митрополита, привезли его в Австрию в Белокриницкий монастырь, где он и поселился и там рукополагал раскольнических иереев, протоиереев и архимандритов.

Сам Ситников о своих странствованиях по-белу-свету рассказал целую легенду, в которой затронул чуть ли не полмира. Все эти сведения из потустороннего мира сильно поразили городничего. В своих рапортах губернатору он просил поскорее прислать для расследования губернского чиновника, так как местным доверить нельзя, ибо раскольники народ богатый и могут подкупить.

Созданный городничим «бум», а главное упоминание о «некрасовском» послании под впечатлением недавнего заговора на жизнь Николая I-го, причастность к которому приписывалась «некрасовцам» создали известное настроение и в «губернии». Выбор для расследования этого чрезвычайно важного дела пал на «неподкупного» и «известного в своей благонамеренности в службе» Салтыкова.

Раздутое городничим «происшествие» представилось Салтыкову по приезде в Сарапул самым обыкновенным раскольническим делом, каких было тогда много в производстве у полиции. Ананий Ситников был также обыкновенным странником-тунеядцем, каких не мало ходило по-свету, а «окружное послание некрасовцев» имело к сарапульским раскольникам самое отдаленное отношение. Никакой «важности» и «чрезвычайности» в этом деле не было, сыскные функции не улыбались Салтыкову, занимавшему по должности советника губернского правления известное положение, и он просил губернатора освободить его от данного поручения.

Полученная из Петербурга бумага разрешила вопрос не в пользу Салтыкова. Под впечатлением записки Мельникова-Печерского о состоянии раскола в Нижегородской губернии решено было обследовать развитие раскола повсеместно. «Странник» Ананий Ситников «пойман» был, таким образом, своевременно, он явился той мухой из которой надо было раздуть «раскольнического слона» и эту роль должен был выполнить Салтыков.

В Петербурге знали о нем как о выдающемся энергичном чиновнике, привлекавшемся губернатором к делам особой важности, а потому в бумаге министерской особливо подчеркивалось, чтобы дознание о Ситникове производил именно он.

«Неподкупность», «благонамеренность» в службе и другие качества сослужили Салтыкову здесь неблагодарную службу. Следственной части он не любил, особенно если приходилось иметь дело с — «живым материалом», не по душе ему была роль полицейского, но не исполнить министерского распоряжения не мог, должен был подчиниться неизбежному и, что называется, окунуться в сыскные функции.

В канун праздника Введения во храм Салтыков решил лично проверить молитвенные собрания сарапульских раскольников. Желая застигнуть собрания врасплох он распустил слух, будто уехал из Сарапул, то же сделал по его совету и городничий, а вечером «уехавшие» в сопровождении понятых предприняли обход всех раскольнических домов, в которых по полицейским сведениям всегда собирались раскольники. Прием Салтыкова не удался. Знали ли раскольники что их мистифицируют или, просто, в виду «тревожного» времени решено было переждать, но в тот вечер нигде молитвенных собраний не было.

Чтобы получить от раскольников, отличавшихся необыкновенной сплоченностью и конспиративностью, нужные сведения, Салтыков прибегал к всевозможного рода ухищрениям: он являлся к некоторым лицам инкогнито под каким либо предлогом, скрывая свое настоящее звание, иногда даже пе-

реодевался в простую крестьянскую одежду и в частной беседе узнавал необходимое, получал нужные сведения.

Приехав однажды в Глазовскую волость для проверки скитов Салтыков узнал, что туда прибыл из Вятки чиновник Протопопов для расследования одной кражи. По уговору с этим чиновником он об'явил себя «Протопоповым» (фамилия Салтыкова уже достаточно была известна всем раскольникам) и под предлогом расследования кражи собирал нужные сведения о местах расположения таких скитов *).

Проверка скитов дала самые неожиданные результаты. Жизнь в них мало походила на монашеско-сподвижнеческую. Под видом иноков и послушников, составлявших «братию», в скитах скрывались молодые люди, убегавшие от рекрутчины, от податей, немало здесь укрывалось и беглых уголовных преступников. Слухи о привольи «Чердынских лесов» шли так далеко, что сюда стекались со всех концов из самых отдаленных мест Сибири.

— Откуда же ты к нам меченый **) проявился?

— А тут неподалечку был, в Иркутской губернии, около Нерчинска, в том самом месте где солнце восходит великое...

— Зачем же к нам?

— Да проведал про ваши добродетели многие и думаю чем душегубством мне займоваться, так стану, мол, я душу спасать.

Рядом с мужскими скитами располагались женские. В них поступали женщины развратного поведения, тут же находили приют, желавшие скрыть признаки своих увлечений.

В одном из своих донесений губернатору Салтыков писал, что укрывательство преступного элемента в тайных скитах «приняло такие обширные размеры, что вся северная часть Чердынского уезда а также северо-восточная часть Усть-

---

*) Рапорт Салтыкова в деле вятского губернатора 1854 г. № 58, хранящемся в Пушкинском Доме при Российской Академии Наук.

**) Клейменный, ссыльно-каторжный.

Сысольского в полном смысле кишит беглыми людьми, безнаказанно живущими там под защитой непроходимых лесов и покровительством простодушия и робости лесных жителей пермяков и зырян. При открытии скитов всегда находят кости и могилы, что свидетельствует о том, что здесь скрываются самые гнусные злодеяния»*).

Этим сообщением приоткрывался лишь край покрывала тайн Чердынских лесов: проникнуть вглубь Салтыков не решался, так как это сопряжено было с большой опасностью. Он рекомендовал высшим властям организовать отряд лыжников человек в 200 и с наступлением весны сделать облаву, но проект его, видимо, не встретил сочувствия.

В Пермской губернии, как и в Вятской распространение раскола было довольно сильно. В производстве полиции и суда было масса раскольнических дел, но раскольники откупались деньгами и все эти дела кончались ничем.

Салтыков явился сюда непрошенным гостем. Приезд его неприятен был обеим сторонам: и раскольникам и чиновникам; ему пришлось вести борьбу на два фронта.

На пермской земле был свой «Ситников» — некая Наталия Мокеева или «мать Торсила», монахиня закрытого Иргизского монастыря. Против нее возбуждено было дело по обвинению в распространении раскола; до суда ее взял на поруки Аггей Шалаевский, после чего она благополучно скрылась. Проверяя в Чердынских лесах скиты, Салтыков обнаружил тайный женский монастырь. Настоятельницей в нем была — мать Торсила. Воскресло дело о Мокеевой, возникло новое дело о поручителе ее, Шалаевском.

Шалаевский принадлежал к местному купечеству. Чтобы избавиться от ограничений, которым подвергались раскольники, он принял православие, но в душе оставался раскольником. Обрядов православной церкви не исполнял и своей сильной рукой помогал своим прежним единоверцам. Салтыков привлек его к делу и отдал под надзор полиции. Это

---

*) Там же.

сильно задело купца и он начал доказывать свое «православие». Между Шалаевским и Салтыковым завязалась борьба. Купец работал золотом, Салтыков своей привычной настойчивостью, желанием «подкопаться под самый корешок». Дело в сущности мелкое не заслуживавшее особого внимания, но Салтыков им увлекся и не мог успокоиться пока не вывел купца на чистую воду. Шалаевский представил удостоверение причта Пермского собора о том, что он говел и приобщался. Салтыков раскрыл подлог: удостоверение выдано было за взятку —: Шалаевский записан был в исповедные книги задним числом, по подчищенному месту.

Ситников из тюрьмы продолжал, между тем, раскрывать раскольнические тайны. Он называл все новых и новых лиц из раскольнического мира, о которых знал, с которыми имел соприкосновение во время своего странствования, указывал места расположения тайных монастырей. Поверяя его указания, Салтыков об'ездил скиты, раскинутые по рекам Лупье и Леле, побывал в Ильинском, на Вьюгокнаувском, Бикбардинском и Камбарском заводах, в Осе, Ножевке, Оханске, а затем перекочевал в Казанскую губернию.

В Казани Салтыков встретился с Мельниковым-Печерским. Полномочия последнего были значительно шире и ему пришлось сократиться. Сделан был безрезультатный обыск у торговца картузами раскольника Трофима Тимофеева Щедрина, а в Нижегородской губернии, куда Салтыков отправился после Казани, проверено было несколько общежитий, в которых проживали бывшие монахи и монахини закрытых Иргизских монастырей. Отпустив сопровождавшего его во время всей поездки жандармского унтер-офицера Северьяна Панова *), Салтыков проехал еще в Владимирскую и Ярославскую губ., а затем вернулся в Вятку. Командировка эта отняла у него около 8 месяцев в беспрерывных почти раз'ездах; им сделано было на лошадях свыше 3 000 верст.

---

*) Панов прикомандирован был по просьбе самого Салтыкова.

Отправляясь в командировку он предполагал, что она будет непродолжительной и, по обыкновению, уехал в своем экипаже. С наступлением зимы его пришлось бросить и купить зимний, который в марте месяце постигла та же участь. Описывая губернатору свое путешествие, указав вскользь, что 60 коп. суточных далеко не хватает на прожитье, он просил выдать денежное пособие «хотя бы в возмещение расходов по покупке экипажей».

Самым трагичным для Салтыкова в этом деле были аресты. Всего им было арестовано 15 человек. Тяжелые минуты, пережитые два года назад, при усмирении крестьянских волнений оставили внутри глубокий след и он был уже более осторожен. По поводу одного неареста он писал губернатору, что «отдача Смагиной под надзор полиции вместо заключения под стражу произошла, собственно, от неопытности моей в подобного рода делах». Конечно, легче всего было об'яснить неопытностью, но в действительности это являлось результатом, именно, осторожности. Так как по ходу дела арест все же должен был быть произведен, Салтыков просил, чтобы распоряжение об этом исходило от губернатора.

Дело Ситникова не дало сколько нибудь эффектного результата и, в сущности, не стоило той энергии, которую затрачивал на него Салтыков. Ситников в тюрьме умер. Остальные преданы были суду, но вина их, за исключением беглокаторжных была весьма незначительной и приговор суда был очень мягким.

На фоне провинциальной малокультурной жизни М. Е. Салтыков выделялся своим богатым запасом знаний и без его участия не обходилось ни одно новое начинание: в качестве члена-корреспондента он принимал участие в работах статистического комитета, был членом тюремного комитета и участвовал в разработке вопроса об устройстве рабочего и смирительного домов, являлся «непременным членом» почти всех благотворительных и иных общественных учреждений.

В 1850 г. ему поручена была организация очередной сельскохозяйственной выставки.

К этому делу он отнесся с особой любовью и энергией, поставив перед собой задачу сделать выставку точным и верным отражением сельского хозяйства губернии. Главное внимание обращено было на крестьян. Чтобы заинтересовать их в выставке он сделал распоряжение по волостям, раз'яснять крестьянам смысл и значение выставки и приглашать на нее; им по-просту говорили: «везите на выставку все, что у вас есть, что производите и вырабатываете». Это «зазывание» крестьяне поняли слишком реально и повезли действительно, что имели. Везли как на базар, без ограничения веса и количества: продукты десятками пудов, предметы кустарного производства возами, сотнями. Выставка оказалась несколько переполненной и загроможденной, но все же получилась одной из лучших:

В премировании экспонатов пальма первенства осталась за крестьянами. Все медали (2 золотые и 8 серебр.) присуждены были исключительно им; остальным выданы были похвальные листы и денежные награды. В этом, несомненно было влияние Салтыкова, стремившегося заинтересовать крестьян не только в самой выставке, но и побудить их к улучшению производства, стоявшего на самом низком уровне. Награды, конечно, послужили не малым стимулом для развития некоторого художественного творчества и изобретательности.

Интересны высказанные Салтыковым в отчете о выставке взгляды его как на выставку, так и на сельское хозяйство.

«Отличительная характеристическая черта Вятской губернии — писал он — заключается в составе ее народонаселения, которое как сказано выше, состоит преимущественно из казенных крестьян. Факт этот напечатлевает совершенно отличный от других губерний характер не только на все существующие общественные отношения, но и на самую сельскую промышленность. В других губерниях поземельная соб-

ственность и все вообще капиталы сосредоточены в немногих руках, тогда как в Вятской губернии собственность эта раздроблена на бесчисленное множество участков. Очевидно, что человек, обладающий значительной собственностью, может иметь больше средств к улучшению ее, нежели другой, который обладает собственностью ограниченной. Во первых он, получая постоянно несравненно больший доход, может отделять от него значительную часть для поддержания и необходимых улучшений по имению, тогда как небольшой землевладелец часто бывает в необходимости весь свой доход употребить без остатка на содержание себя и своего хозяйства, во вторых, свойство самих улучшений в сфере сельского хозяйства часто таково, что они возможны и приносят действительную пользу только в тех случаях, когда они делаются в больших размерах и на значительных пространствах, не говоря уже о том, что всякая хозяйственная операция, чем она обширнее, тем менее, сравнительно, требует издержек: в третьих, избыток материальных средств, сопровожденный с большими хозяйствами, дозволяет хозяину производить в хозяйстве своем опыты, неудача которых не может принести слишком чувствительный ущерб большому капиталисту, тогда как маленький землевладелец совершенно лишен этого преимущества. Конечно, с другой стороны раздробленность поземельной собственности соединяет с собой другое неоцененное свойство, а именно возможность лучшего ухода за хозяйством, но и это удобство только тогда может иметь действительное осуществление, когда землевладелец имеет к тому средства, которые столько же заключаются в личных трудах и достоинствах хозяина, сколько и в материальных способах ему предоставленных. Поэтому весьма не мудренно, что в Вятской губернии, где, как сказано выше, поземельная собственность раздроблена до чрезвычайности, сельская промышленность находится в более младенческом состоянии, нежели в других губерниях России. Если прибавить к этой причине еще и то обстоятельство, что класс крестьян, как менее других обра-

зованный, с недоверчивостью смотрит на все нововведения, предпочитая испытанное уже веками и опытом нововведению, может быть полезному, но во всяком случае не верному, то и получается истинная причина недостаточного состояния сельской промышленности в Вятской губернии».

Проф. Г. Витковский

ГЕТЕ И НАУКА О ГЕТЕ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ

Перевод с рукописи

Великие умы не неподвижные звезды, которые во все времена одинаково светят человечеству. Каждому новому поколению они представляются в ином виде, то ярко светящимися, то затемненными, на вид почти потухшими, чтобы пстом опять засветиться прежним или даже усиленным блеском.

В первой половине девятнадцатого столетия над Германией яркой звездой стоял Шиллер. Он светил и далеко за пределы германского горизонта, его влияние сказывалось и во французской романтике, и в русском либерализме и в итальянской и французской драме, тогда как Гете едва отводилось место рядом с ним.

Но постепенно распространялось зародившееся сначала в небольшом кружке ясное понимание исключительной величины творческого гения старейшего из обоих Веймарцев и вознесло личность и творения Гете на такую высоту, что, начиная с последней четверти века, Гете не одними только его соотечественниками было отведено место впереди всех немецких поэтов.

В Гете поражала его человечность, внутренняя гармония, достигнутая страстной борьбою, мудрость старца, широта и

чистота познаний, которые выделяют Гете перед всеми художниками слова новейшего времени и ставят его наравне с великими мировыми представителями прошедших веков — Гомером, Данте, Шекспиром. Так на него смотрел Ральф Вальдо Эмерсон в ряду «representative men», так оценивали его впервые в двух биографических характеристиках Герман Гримм (1877, 7 изд. 1903 г.) и Михаил Бернейс (1880).

Одновременно выростала новая наука «Гетевской филологии». Она ставила себе цели более скромные: добросовестное восстановление небрежно изданных текстов, старательное собирание всех материалов, которые могли служить истории возникновения творений, их раз'яснению и дополнению.

Когда последние потомки Гете скончались в 1883 и 1885 гг., открылся доступ в его дом, столь долго остававшийся закрытым, и благодаря этому его духовное наследство стало доступно исследованию, давая богатую пищу тогдашним научным стремлениям. Тотчас же было начато громадное, об'единяющее все новонайденные рукописи Веймарское издание произведений, дневников, писем. К следующему поколению, в 1919 г. оно было закончено в 153 томах — внушительный памятник добросовестной кропотливой работы.

Мышление второй половины девятнадцатого столетия находилось под преобладающим влиянием позитивизма. Блестящий под'ем естественных наук привел к мысли, что их метод точного расследования и старательного наблюдения каждого явления в отдельности приведет и в других областях к высшему доступному нам познанию.

В 1870 г. Вильгельм Шерр, самый выдающийся в свое время историк немецкой литературы, заявил: «Мы требуем отдельных расследований, в которых точно установленное явление было бы приводимо в причинную связь с теми явлениями, которые его вызвали. Мы научились у естественных наук применять этот масштаб. Таким образом, мы достигли положения, которое отчетливо выявляет подлинную сигнатуру времени. Та же самая сила, которая вызвала к жизни железные дороги и телеграфы, которая увеличила удобства

жизни, которая привела к неслыханному расцвету промышленности, сократила войны (!), одним словом могущественно двинула вперед господство человека над природою — та же самая сила управляет и нашею духовною жизнью: она устраняет догмы, она преобразует науки, она накладывает свой отпечаток на поэзию. Естественные науки подвигаются как триумфатор на победной колеснице, к которой мы все запряжены».

Работа Шерера, который составил и план Веймарского издания Гете, находилась под влиянием этого принципа точности, и его ученика Эрих Шмидт, Рихард М. Мейер, Минор, Зауер, Рете, Эдвард Шредер унаследовали от него эту исключительную преданность анализирующему рассудочному методу, всецело основывающемуся на фактическом материале. Он господствовал безраздельно в течение двух десятилетий в науке о Гете и сохранился и поныне в преподавании большинства университетов как в Германии, так и за границей, в научных журналах, а также и во многих вновь появляющихся книгах, в прежней силе.

Под знаком этих взглядов находится и основанное в 1886 г. в Веймаре Гетевское общество. Его ежегодник и длинный ряд его трудов накопляет все новые массы писем, свидетельств и исследований, раз'ясняя даже самые незначительные мелочи с неослабным вниманием и любовью. Почти никогда не делается попытки проникнуть в глубины духовного мира Гете, установить путем сравнительного анализа его положение среди великих творческих натур или систематически изобразить хотя-бы какую либо одну из областей его творчества. А тем более оставляется без внимания высшая задача — установить определяющие силы в этом комплексе незаурядных достижений. Удивительно даже, что Гетевское общество при таких особенностях своей работы, которые в состоянии привлечь только специалиста-исследователя, могла вырасти до размеров самого большого союза такого рода и имеет в своем составе более 6000 человек; доказательство чарующей

притягательной силы, которую имеет имя Гете для последних поколений немцев и для многих иностранцев.

Под влиянием этой силы, выросла питаемая наукой почти необозримая литература последних десятилетий о Гете. Рядом с Веймарским изданием, появились и другие ценные собрания его сочинений, не говоря о дешевых изданиях издавна установившегося характера, с неточным текстом без примечаний и большею частью весьма скудными введениями. Так следует упомянуть прежде всего об издании Гете в немецкой «Национальной Литературе» Киршнера (1882—1897 г.), в 36 томах, снабженных Дюнтцером, Шреером, Рудольфом Штейнером (нынешним антропософом), А. Г. Мейером и Витковским в большом количестве пояснительными примечаниями и приложениями, но отчасти уже не отвечающих современным требованиям; далее «Гете», в издании Библиографического Института в Лейпциге (1901—1908), насчитывающее 30 томов, под редакцией Карла Гейнемана, и, как лучше в этом роде, юбилейное издание Котта (1902—1907) в 40 томах. Редактор его Эдуард фон-дер-Геллен, правда, проявил свои дарования больше в составлении прекрасного указателя, чем в выпущенных им томах стихотворений Гете; но он собрал вокруг себя блестящий штаб сотрудников (Бурдах, Кестер, Эрих Шмидт, Герман, Крейценах, Вальцель, Моррис и др.) и сумел соединить практичность с основательностью и сжатостью. В виду этого юбилейное издание представляет наиболее совершенно состояние науки о Гете к началу 20-го столетия.

Возрастающая потребность в более углубленном изучении Гете вызвала в тот же период многие новые общие обозрения его жизни и творений. Самая излюбленная в течение долгого времени биография, написанная англичанином Льюисом (Lewes) (1855 г.) в такой же мере мало может удовлетворять нынешним запросам, как последующие немецкие биографии Дюнтцера (1880), Гедеке (1870), Фигоф (1847, 5 изд. 1887), ученого иезуита Александра Баумгартнера (1885, 2 изд. 1911—1913) и вышеупомянутые труды Германа Гримма и

Бернейса (Bernays) не давали достаточно основательного материала, какого требует теперь читатель. Этой потребности первым попытался ответить Карл Гейнеман (1895, 4 изд. 1916) своим обширным биографическим трудом; но сухость изложения и бездна незначительных мелочей не искупались прекрасными иллюстрациями. Вследствие этого первое место занял премированный труд Рихарда М. Мейера (1895, 2 изд. 1918) с его богатством блестящих выводов и полнотою литературных сведений, пока «Гете» Альберта Бельшовского (1896, 11 изд. 1905), отличающийся изяществом формы и основательным, без навязчивости, изложением, не снискал всеобщего расположения. К сожалению, закончена была только первая половина труда: выдающийся автор умер, и труд был закончен, на основании его подготовительных работ, другими, не равными ему по силам. Рядом с этим неоконченным произведением удержалась лишь менее обширная биография Гете, написанная Витковским (1899, 3 изд. 1923), которая сохранила значение и до настоящего времени, хотя за это время было сделано много подобных попыток.

Этот период дал, как это ясно из общей его характеристики, и в области комментированных изданий отдельных произведений и писем, исследований частностей жизни и творчества Гете, больше чем истекшие до того 100 лет. Ведь уже когда появился «Вертер», современники начали внимательно приглядываться к облику и дарованию сразу приобревшего мировую известность писателя. Семидесятые годы дали первых пионеров; таковы Густав фон Лепер с его подробными примечаниями к «Dichtung und Wahrheit» 1874—1876 г. и к стихотворениям Гете (1862 и 1884 года); Соломон Гирцель с его изданием «Молодой Гете» 1875 г., впоследствии блестяще возобновленным и расширенным до двойного об'ема Моррисом. Эти благородные восторженные дилеттанты (Гирцель и Лепер) не считали исследование как таковое самоцелью; они хотели сделать произведения Гете более близкими и понятными читателю, любовно раз'ясняя историю их возникновения и освещая подробности.

Совсем иные задачи ставили себе статьи и книги филологов (термин «Goethe-Philologie», создан Шерером в 1877 г., и вначале вызывал насмешки). Не имеет смысла перечислять великое множество этих специальных исследований; результаты их, в особенности по отношению к затраченному труду и размерам их удивительно ничтожны. Бо́льшее значение имеет только несколько книг писателей, которые собственно не могут быть причислены к цеху специалистов, как Виктор Ген (Hehn) «Мысли о Гете» (1887, 7—9 изд. 1909); и существенную пользу принесут всякому, кто желает проникнуть в мир Гете, большие сборники: «Гете о своих произведениях. Попытка собрания всех мыслей, высказанных поэтом о своих поэтических произведениях» — Ганс Гергарда Грефа (Hans Gerhard Gräf, Goethe über seine Dichtungen, 9 об'емистых томов, 1901—1914); «Беседы Гете», собранные Вольдемаром фон Бидерманом (Woldemar Freiherr von Biedermann, Goethes Gespräche, 1889—1891, во втором более полном издании 1909—1911 г., 5 томов); избранные письма изд. Эдуардом фон-дер-Геллен (E. von der Hellen, 1901—1910, 6 томов) и Филиппом Штейном (Philipp Stein, 1902—1905, 8 томов). К ним присоединилась ценная библиография «Литературы о Гете» Карла Кипка (Kipka) в Grundriss zur Geschichte der Deutschen Dichtung, изд. Goedeke (1910—1913, 3 тома), а затем и «Goethe Handbuch» Юлиуса Цейтлера (Julius Zeitler, 1916—1918, тоже в 3 томах).

У Цейтлера уже сказывается новое течение, которое не преследует более исторических и естественно-научных целей, но стремится понять и охватить внутренний и внешний мир как переживание поэта.

Предвестником в этом направлении явился в 1877 г. прекрасный очерк Вильгельма Дильтея «Гете и поэтическая фантазия (W. Dilthey, «Goethe und die dichterische Phantasie»), включенный в его большое произведение «Переживание и Творчество» (Das Erlebnis und die Dichtung). С этой новой точки зрения, в стремлении охватить явление в целом, Гете

представился совершенно иначе, чем прежде. Каждый изображал теперь своего Гете, отдельные моменты жизни и отдельные произведения получили значение только как проявление постоянных или преходящих свойств и состояний, а типические независимые от времени и места переживания должны были в общей связи выявить личность.

Незадолго до войны вышли в свет оба первые охватывающие всю жизнь поэта произведения нового направления: «Гете» Гоустона Стюарта Чемберлена (Houston Stuart Chamberlain, 1912), сделавшегося не только немцем, но пангерманцем, зятя Рихарда Вагнера, и «Гете» Георга Зиммеля (G. Simmel, 1912). Оба стремятся, в стороне от научных задач истории литературы, к уразумению поэта по существу. Восемь лет до того они оба, тоже одновременно, написали по сочинению о Канте. Различие методов сказывается, уже в размере их работ о Гете: у Чемберлена 851 страниц, у Зиммеля 264 гораздо меньших. Но в смысле идейного содержания отношение как раз обратное. У Зиммеля нет ни одного предложения, которое не выражало бы самостоятельного глубокого мышления, у Чемберлена-же догматические утверждения, основанные на сомнительной расовой теории и вытекающие из общераспространенного политико-этического образа мыслей, прерываемые длинными рядами фактических доказательств, ненужные повторения, отклонения недостаточно дисциплинированного страстного темперамента. Все это делает сравнительную оценку этих двух книг о Гете невозможною.

Зиммель усматривает в жизни и творчестве Гете воплощение того великого единства жизненных элементов и жизненных устремлений, которое возможно только у гения. Только «я» поэта является у него источником художественного творчества, а не переживание и не модель, с которой он пишет. Там, где искусство Гете становится реалистичным, он об'ективирует свою сущность. «Его творчество казалось ему неотделимым от его переживаний, потому что его переживания были уже творчеством». Зиммель исследует со всех сторон понятие истины у Гете с присущим ему, близким к прагма-

тизму, образом мыслей, как равно установку ценностей и, что особенно поучительно, его учение об идеях: убеждение, не вполне свободное от влияния Шефтсбюри, что всякая истина есть красота, и тесно связанную с ним идею единства всего живущего.

Гете перекинул мост от единого к множественности, мост, которого Спиноза не мог найти в представлении о постоянном возникновении, развитии, изменяемости жизненного процесса. Бытие представлялось ему в непрерывности; он возражает против всякого систематизирующего понимания жизни и природы.

В другой форме Гетевский принцип полярности об'единяет множественность явлений как скрытое единство, сущность которого лучше всего представить себе под образом колебания маятника. Третьей идеей формы является равновесие, релятивистический символ единства, в котором это последнее выявляется на языке мира, живущего в соотношениях. Человеку предназначена точка равновесия, середины, и Гете снова и снова овладевает этим равновесием путем стремлений и отречения.

В прекрасной четвертой главе своей книги, Зиммель показывает, как воззрения Гете на взаимоотношение искусства и действительности развивались в течение всей его жизни.

В конце концов и его понятие искусства достигает положения равновесия. Самыми высшими произведениями искусства являются для него такие, которые не носят в себе никаких следов действительности, но воплощают истину. Его не смущает, что он считает природу одновременно бесцельной и долженствующей быть; его восприятие мира остается единым, так как для него в основном законе созидания содержится уже цель созидаемой формы, как действенная сила всякого творения.

Идея и опыт практически об'единяются последовательной деятельностью. Действие, само по себе только формальное средство, нуждается всегда в ценности цели. «В чем твоя обязанность? В требовании дня». Закон меняется вместе с

днем, уклонение явлений от их закона включено в идею самого закона; даже тип, первообраз, принимает в этом участие, указывая законность в том, что отклоняется от нее.

Христианская трансцедентность противоречит этому пониманию сверхчувственного, которым обусловлен и индивидуализм Гете. Только жизнь производит жизнь и умножает ее. Содержание жизни создается ею самою и оно одновременно индивидуально внутренне и обще извне.

За каждою индивидуальностью, по мнению Гете, стоит обще-человеческое, как существующее и долженствующее быть. Идею ценности общего он находит в области практического разума, в эстетическом:

«Ihr glücklichen Augen,
Was je ihr gesehn:
Es sei wie es wolle,
Es war doch so schön».

Из этого художественного настроения жизни происходит религиозность Гете, не имеющая ничего общего со всеми положительными религиями: его Богу-Природе соответствует его Обще-Человеческое.

Последние три главы Зиммеля «Отчет и преодоление» (где не совсем правильно определяется существо романтизма), «Любовь» (быть может слишком конструктивно, и поэтому не достаточно освещает влияние различных степеней страсти и возрастов), и «Развитие», (рассматривается последовательный ряд жизненных идеалов в соответствии с возрастными ступенями и произведениями до конечного пункта, где они вступают в категорию формы). В числе признаков конечного преодоления и этой категории не следует указывать «логически вовсе неорганизованного хаоса классической Вальпургиевой ночи». Это поэтическое произведение подчинено тому же закону высшей художественной логики, что и картина Микель-Анджело «Страшный суд».

Это и подобные возражения против некоторых частностей не умаляют восхищения пред глубоким мышлением, про-

пикновением в сущность Гете и прекрасной и ясной формой изложения Зиммеля. Его книга удовлетворяет и старому идеалу научности, требованию об'ективного определения и оценки.

Сильнейшей противоположностью этому является новое стремление всякое расследование и всякое творчество пропитывать своею личностью.

Любовь и ненависть властвуют над познанием, но последнее делается от этого более привлекательным, чем никогда не увенчивавшиеся полным успехом попытки установить об'ективную историческую или эстетическую истину. В конце концов и Зиммель дал нам ведь только своего Гете. Но если строгие линии этого образа внутреннею силою убеждения заставляют верить в их правильность, — Гете — великан Чемберлена — «безудержно суб'ективно» набросанный, хочет страстным налетом победить читателя. В некоторых местах спокойное наблюдение и интерес к фактам одерживают верх — так в лучшей, четвертой главе «Естествоиспытатель», в остальном-же чувствуется недостаток столько же в биографических подробностях, сколько в их верности.

Книга возникла на почве того образа мысли, который со всеми своими причудами охраняется кружком Вагнера в Байрейте, как священное наследие. К отличительным чертам его принадлежит как известно ненависть к специализации в науке и к еврейству; неудивительно, что эта ненависть, в смешном несоответствии с набрасываемой широкой картиной, беспрестанно прорывается подобно потоку нечистой лавы.

Однако эти темные места до известной степени стушевываются в общем грандиозном образе Гете Чемберлена. Когда читаешь сопоставление поэтического творчества Гете с его естественно-исторической исследовательской работой, анализ форм с постоянными указаниями на внутренние творческие элементы, то благодарность за ценное новое приобретение заставляет нас забыть раздражение вызываемое слабыми сторонами и простить такому автору и ненужные повторения и другие недостатки изложения.

Последняя самая важная глава носит название «Мудрец». Путь, который избирает здесь Чемберлен, стремится к тому, чтобы суб'ективный синтез, который образовался у Чемберлена от многолетнего изучения мудрости Гете, подтвердить аналитическим раскрытием органов духовной жизни Гете. Тут он применяет принцип полярности, устанавливая четыре основных противоположения. Две черты характера: самоограничение мерою и стремление охватить целое; два проявления разума: различение и об'единение; два символа фантазии: монада и общность; две идеи разума: природа и бог.

Влияние Канта проявляется уже в этих категориях и их симметрическом расположении; но он господствует и во всей главе и делает ее как бы дополнением к очерку «Гете», в книге Чемберлена о Канте. Он хочет избежать излюбленной «мельницы фраз», и тем глубже впадает в столь же опасную искусственность построения, когда возводит например соображения Гете в пользу математики до гениальной математической интуиции, а в слишком явном отвращении Гете к этой науке хочет видеть страстное стремление к ней, совершенно также как он ранее сконструировал музыкального Гете.

Именно в этой главе ненависть к иначе мыслящим часто выражается очень грубо. Действительно неверное утверждение, будто Гете был предтечею Дарвина, определяется как «задорность в соединении с невежеством», «бессмысленное искажение мыслей Гете». Так неистовствует Чемберлен во многих местах против «филистеров естествоиспытателей», что однако не мешает ему прекрасно изложить идею эволюции и пояснить ее примерами, как и впоследствии понятие гения у Гете со ссылками на такого знатока как Рудольфа Гильдебранда; наоборот искусственность построения по поводу своеобразной религиозности Гете, преграждает путь к конечному уразумению.

К этому прибавляется вдвойне роковая «арийская» инстинктивная ненависть к евреям. Он неистовствует в заклю-

чительном отделе «Природа, бог» так, что каждый читатель безотносительно к личной точке зрения, должен исполниться недоверием не к об'ективности книги, (которая ведь отвергнута с самого начала), но к способности Чемберлена из совокупности фактов делать правильные выводы. Речь идет не о решении вопроса, был ли Гете теоретически и практически антисемитом, а во первых о признании без всякой критики теории рас Гобино, и во вторых о произвольном отрицании в мышлении Гете каких либо элементов мировоззрения Спинозы. Чемберлен обходит Спинозу, оставаясь равнодушным к тому, что лоцман на пути к острову конечного познания (постоянно повторяемый Чемберленом образ) благодаря тому берет неправильный курс. Как можно говорить «о несчастном мнимом отношении к Спинозе», когда Гете чувствовал себя вполне счастливым в духовном мире Спинозы, пока не нашел в натурфилософии Шеллинга еще большее удовлетворение. Первая ошибка влечет за собою вторую еще бо́льшую в том. что и океан учения Шеллинга не показан на навигационных картах Чемберлена.

Благоговение, чистота и чувство долга восхваляются в этой книге как нравственные силы. Из них не должно вытекать непротивление злу и сентиментальная жалость к слабым. Но какое действие они оказали бы на наши духовные силы, если бы они не способствовали в нас росту любви к истине и способности суждения? Чемберлен добыл сокровища мира Гете и разложил их перед нами, но ему не достает понимающей любви, к которой должен стремиться каждый исследователь в области духа, а тем более тот, кто хочет познать сущность великой души.

Мы в состоянии понять только родственное нам. То, что нам чуждо, мы должны избегать или стараться приспособить к себе. Так поступает в сущности всякий, кто стремится подняться на высоту Гете; не иначе, чем Зиммель и Чемберлен, поступает и третий из новых изобразителей сущности Гете, пользующийся наибольшим успехом — Фридрих Гундольф

(Gundolf). Он принадлежит к числу чистых людей-художников, ученик и друг самого типичного из них, поэта Стефана Георге (Stefan George). По его образу он замыслил образ Гете, когда он создал свою большую книгу «Гете» (1916). Переживания и окружающий мир имеют значение для него постольку, поскольку они действенны в эстетическом душевном мире. «Только символически плодотворное, а не случайно происшедшее является действительностью» говорится на стр. 274. В таком освещении стушевываются биографические данные, за исключением очень немногих. Значение Шарлотты фон-Штейн в жизни Гете (согласно Гундольфу) состоит не столько в силе и продолжительности страсти Гете к ней, но в том, что тут, единственный раз в его жизни, любовь явилась формирующим началом. Поэтому мы не получаем у Гундольфа изображения зарождения, роста и замирания этой страсти, а только характеристику этой любви в целом и ответ на вопросы: Что именно Гете любил в этой женщине? Какие перемены произвела в нем эта любовь? И как эта любовь и эти изменения проявились в его творчестве?

В судьбе Фауста Гундольф усматривает специфическую трагедию человека творящего, что очевидно должно означать трагизм деятельного оптимиста, стремящегося ввысь, приемлющего жизнь сильного и здорового, в противоположность к другим трагическим предрасположениям его натуры, как-то слишком большой углубленности, не справляющейся с жизнью, или склонности к саморазрушению. Но для Гундольфа эти скрытые этические категории отступают далеко назад перед эстетическими и поэтому он дает образ Фауста и ему подобных натур да и образ самого Гете по меньшей мере в высшей степени суб'ективно, чтобы не сказать неверно оттененным.

Суб'ективной является и последовательно проведенная высокая оценка лучших по форме произведений (Римские элегии, Послания, Сонеты, Новеллы). Эта оценка отвечает основному принципу произведения Гундольфа, его замыслу, его по-

строению, выбору материала, суждениям. Трем главным частям — бытие и рост, образование, испытание и завершение — соответствуют три зоны — лирика, символика и аллегорика — через которые проходит творчество Гете, не в том смысле, что он переходил из одной в другую сообразно с тремя ступенями возраста, но он оставался в каждой из них столько времени, сколько соответствовало его временной сущности. В лирике преобладает первичное переживание (сюда относятся и «Вертер» и «Тассо»), в аллегории — переживание «образования», мысленное отражение первичного переживания, в символике оба взаимно пронизывают друг друга. Гундольф хотел написать в этом смысле символическую книгу о Гете; но она вышла ярко аллегорической. Его духовный мир, мир Стефана Георге, пересилил первичные переживания Гете и создал из него литературное произведение. В его чертах видны признаки благородного происхождения, чувство красоты, духовность, широкое и возвышенное направление ума, которое гордо отстраняет все пошлое и мелочное; но вместе с тем намеренное удаление от естественного, преувеличенная культура собственной личности, недооценка окружающего мира. Полный достоинства, патетический жест господствует даже там, где стилистическое чувство требовало бы бо́льшую подвижность слова, не говоря уже о желательности изменений тона на протяжении такого большого произведения.

От этого происходит, что нередко простая истина облечена в длинное тяжеловесное предложение, что при выборе слов и построении фраз предпочитаются выражения своеобразные и искусственные общеупотребительному, правда часто банальному.

Гундольф отступает от общепринятых методов и приемов немецкой литературной науки и говорит как умная мещаночка на пасхальной прогулке в «Фаусте»: «Мне стыдно с такими ведьмами гулять публично». Но втихомолку он все-же вынужден признать, что ведьма Гетевской филологии показала ему впервые будущего возлюбленного в'явь.

Рядом с полными достоинства возвышенными трудами таких мастеров слова, как Гундольф, кажутся жалкими биографии просто реферирующие, излагающие в строгой последовательности фактические данные, и тем более жалкими, чем неудовлетворительнее в них язык. Так выходящий с 1920 г. «Гете» Вильгельма Боде (W. Bode) в состоянии удовлетворить только очень умеренным формальным запросам, и можно только пожалеть, что столько прилежания связано с таким отсутствием чувства красоты, такая добросовестность в мелочах с такою неспособностью охватить и углубить главные задачи. Боде умер, когда только стало выходить в свет начало этой биографии по намеченному огромному плану, — три тома, доводящие читателя только до первых месяцев пребывания Гете в Веймаре. За ними следовала пока без перехода первая половина описания пребывания Гете в Италии, и как говорят, уже закончено в рукописи описание недостающих промежутков времени и конца этого периода. Сколько томов это займет, пока остается неясным. Крупное издание, но все же только в 3 томах, т. е. в пределах допустимого размера, представляет собою биография Гете Эмиля Людвига (E. Ludwig, 1920), снискавшая особенное расположение образованных немецких читателей. Такой успех не представляется незаслуженным и при более критическом отношении. Кроме фактических данных, которые автор знает до мелочей, он чувствует их глубокий смысл, проводит тонкие линии от одного пункта к другому, иногда по времени отдаленному, и достигает благодаря этому прочности и цельности построения, так что весь план получает драматический характер. Драматичен и язык: он полон жизни, пересыпан монологами и риторическими вопросами, всюду представляя воображению образы, группы, движение. Образ Гете встает ярким и живым во все моменты, имеющие значение; из анекдота, из отдельного случая выступает постоянное, типичное в складе характера. Людвиг блестяще подбирает подходящие примеры, дает давно известным фактам новый смысл

и часто связывает слова, на которые до сих пор не обращали внимания, в руководящие нити.

Такая же способность открывать новый смысл проявляется и в понимании и толковании произведений Гете. Никакой общепринятой передачи содержания, никаких ссылок на источники и историю происхождения — только как «человеческие документы» выполняют произведения свое назначение в рамках этой «истории одного человека». Поэтому и оценка значительно отступает от обычной; лирика дает наиболее богатую жатву; крупные произведения, как «Вильгельм Мейстер» и «Фауст», привлекаются лишь в той мере, в какой они открывают внутренний мир автора.

Книга приближается к типу биографического романа, насколько это позволяет историческая верность. Все привлекается, что может служить к оживлению фигуры героя; придуманные образы, составленные как мозаика из кусочков традиции, прерывают рассказ; жадно ухватывается автор за всякий случай воспроизвести непосредственные слова и беседы Гете. Благодаря этому создаются привлекательные, трогающие, полные драматизма, оживленные сцены, внимание читателя снова и снова приковывается к изложению.

Совершенно опущена история детства. Действие начинается с студенческих лет в Лейпциге, исторический фон, как культурный, так и идеальный и художественный отсутствует, да и в последующем автор весьма мало заботится об изменении форм, о специфическом характере эпох и отдельных произведений, и таким образом становится на полюс противоположный точке зрения Гундольфа. Во многом при этом остаются без удовлетворения обычные требования, пред'являемые к биографии поэта, но эти требования умолкают перед таким поэтическим произведением, как произведение Людвига.

Еще несколько шагов, и мы переходим из области биографии в область эпической поэзии, которая не просто изображает героя, но на основании внутреннего созерцания ри-

сует его в сверхчеловеческую величину. Миф о Гете, а не исторический факт влечет к себе певца.

Так с большою смелостью австриец Альберт Трентини (Trentini, 1923 г.) решился написать роман о «Пробуждении Гете». Он подразумевает под этим ту перемену, которую произвела Италия в поэте и человеке Гете. Языком, исполненным напряженной страстности, Трентини изображает, как выздоравливающий приобщается к новой жизни; по возвращении в Веймар происходит неизбежный разрыв в сознании невозможности взять с собой в новую жизнь Шарлотту фон-Штейн и старых друзей.

Центром романа является описание итальянской природы и ее обитателей. В увлечении ими, в действительную историю пребывания Гете в Италии вставляются многие смело задуманные эпизоды. Стиль повышенный до лихорадочного напряжения не может до конца звучать правдиво; в речах людей восемнадцатого столетия по временам прорывается образ мыслей и выражения самой последней современности. Но ведь это произведение проникнутое экстазом нашего глубоко возбужденного времени, и гений должен проявиться в своей вечной, природной мудрости, а не в случайных аттрибутах момента и обусловленной временем обстановки. Из такого замысла автора должно быть понято и оценено это произведение. Тогда оно представится вполне самостоятельным и очень сильным творением, ничего общего не имеющим с расплодившимися теперь в Германии биографическими романами, которые злоупотребляют каждым великим именем для прикрытия ничтожных замыслов.

Правда, наука не дает у себя права гражданства подобному произведению; но как Гете был мастером всех форм, так и о нем должно быть дозволено писать во всех формах.

С этим конечно не согласится известное ортодоксальное направление в изучении Гете; оно терпит только то, что взвешено и измерено его весами и мерами. К сожалению, следует признать, что это так сказать оффициальная Гетевская

филология не дала ни единого выдающегося, всеоб'емлющего труда, ни одного, которое было бы за пределами кружка сотрудников действительно доступным и плодотворным. Все новейшие заслуживающие внимания очерки о Гете возникли вне цехового круга и даже отчасти за пределами Германии.

Два представителя чужих народов нашли в Гете успокоение и мир в разгар войны и изложили результаты своего общения с великим Веймарцем в книгах редкого достоинства.

Бенедетто Кроче (Croce), выдающийся итальянский знаток и критик искусства, написал ряд тесно связанных между собою очерков (появившихся в немецком переводе в 1920 г.), освещающих главным образом духовный мир Гете, и полных тонких глубоких наблюдений и мыслей. Как метко, например, определение учения Гете о красках как «мифологии света и мрака»; как верно указание на то, что часто давно начатые труды заканчиваются только вынужденно; определение «Вертера» — что он «скорее лихорадка вследствие прививки, чем настоящая болезнь». Такие определения могут возникнуть только из сочувствующего знания и понимания. Какая сердечная и вместе вполне справедливая защита закоренелого школяра Вагнера в «Фаусте»; какие отчетливые и в то же время согретые внутренним чувством образы Фауста, Гретхен и Мефистофеля...

О второй части Фауста Кроче отзывается почти в тех-же выражениях, что и Готфрид Келлер, и находит, что в ней нет никакой философии, а только поэтическая ткань, игра, мифы, масса живого остроумия и благородной мудрости. Несомненно мало таких прекрасных толкователей Гете, как Кроче.

Гораздо обширнее биография Гете почтенного датского историка литературы Георга Брандеса (по немецки в 1921 г.). С истинным наслаждением читатель следит за этим легко написанным жизнеописанием. Поколение, к которому принадлежит Брандес, усматривает бытие в росте и в устремлении вида и личности вверх, не к достижению цели, поставленной

свыше, но к выполнению предвечной природной закономерности, высшим законом которой является самосохранение и совершенствование вида, причем отбор ведет к более высокой организации, а борьба за существование уничтожает слабых.

Гете является для Брандеса великим образцом саморазвития. С этой точки зрения могут быть поняты только явления, доступные разуму, и образование форм, понятное художественному чутью; а ненависть к мистике и сверхчувственному, мешают погружению в темные глубины душевной жизни и источников художественного творчества. Отсюда понятно, что Брандес вынужден возражать против идолопоклонства, которым немцы окружают Гете и против так называемой науки о Гете; западно-европейскому мышлению оба явления непонятны, как это показывает поучительное сопоставление французских и английских отзывов о Гете (в которых не мало вполне обоснованных возражений).

На основании этих соображений совершенно ясно какого Гете можно было ждать от Брандеса: отчетливо очерченный образ, выполненный ясными красками, богатый остроумными, подчас смелыми штрихами, часто молниеносно освещающими темные места. Но там, куда отказывается проникать мышление этого доброго европейца, темнота еще более сгущается; нерасположение заслоняет и те светочи, которым сам поэт дает возможность просвечивать из под покрывала своих символов и аллегорий.

И все же миришься с подобными недостатками, получая такой полный жизни импрессионистский образ Гете, вдвойне благотворный после многих произведений натуралистических и классицистических предшественников. В благодарность за это редкое наслаждение не следует ставить в упрек автору и несколько фактических ошибок. Только вообще надо отметить, что Брандес не имел никакого соприкосновения с литературою о Гете за последнее десятилетие, чтó скорее способствует, чем вредит цельности характера его художественного произведения.

К голосам Кроче и Брандеса присоединяется третий голос французского духовного вождя, чтобы подтвердить значение Гете для современного раз'единенного человечества.

В 1917 году, в самый разгар мировой войны, Андрэ Суарес (André Suarès), в очерке „Goethe le Grand“ выразился так.

„Il faut n'avoir aucun respect de la grandeur spirituelle, aucun amour de la poésie, aucun sens de la valeur humaine, pour disputer son rang à Goethe. Il n'est pas seulement le plus haut et le plus vaste des Allemands: il compte entre les dix ou onze plus grandes têtes du genre humain.“*)

В этом признании Гете заключается средство побороть все еще растущую ненависть народов друг к другу. Только на взаимном уважении народов, только на сознании духовной общности может расцвести настоящий мир. В Германии нет никого, кто бы не признал охотно то, что каждый из культурных народов внес в общую сокровищницу духовных благ. Как ревностно во время и после войны наша наука служила уяснению Вольтера или духовных предтеч современной Франции, оценке Шекспира и Шефтсбюри, изучению Данте и Леопарди и, может быть, с особенною интенсивностью, пониманию великих русских умов! Может показаться, что германские руководящие умы, даже Гете, отодвинуты на второй план. Если бы даже это и было так, то это бы только еще яснее показало, что пример Гете и его учение принесло у нас хорошие плоды: его понятие всемирной литературы означало великое единство, слияние голосов всех народов в одном аккорде, и ему казалось в последние годы его жизни, что он слышит первые созвучия. Все более он становится для

---

*) «Надо не иметь никакого уважения к величию духовному, никакой любви к поэзии, никакого понимания ценности человека, чтобы оспаривать у Гете его высокое положение. Он не только величайший и наиболее всеоб'емлющий из немцев: он принадлежит к числу десяти или одиннадцати самых великих умов рода человеческого».

нас представителем чисто человеческого, стоящего по ту сторону всяких условий времени и пространства. И если бы и другие народы все больше признавали в нем и в своих великих поэтах и мыслителях провозвестников этой высокой человечности, тогда из науки о духе и его героях расцветет истинный героический и гуманный дух.

Д-р Г. Гримпе

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ СИМБИОЗ ЖИВОТНОГО С РАСТЕНИЕМ

Перевод с рукописи

Современное учение о клетке испытало на себе в последнее время с двух совершенно противоположных сторон особенно сильные и плодотворные импульсы, благодаря чему обогатилось обильными и с биологической точки зрения, весьма ценными результатами. Сперва перед нами выступили прямо таки ошеломляющие выводы еще юной экспериментальной теории наследственности, которые и пробудили желание узнать также материальный субстрат наследственности, т. е. обнаружить те клеточные элементы, которые рассматриваются как носители наследственных свойств, или гены. Эта сторона учения о клетке особенно сосредоточила свое внимание на изучении хромозом, т. е. тех незначительных, имеющих форму клубка субстанциальных частей клеточного ядра, которым ныне приписывается, по всеобщему мнению, наиболее значительная роль в механизме наследственности. Далее обрисовалась прежде всего интересная проблема внутриклеточного симбиоза животного организма с растением, указавшая новые пути учения о клетке и приведшая его в совершенно неведомую до того область. Открытие микроскопически малых обитателей растительного происхождения, не в роли

паразитов, но симбионтов, т. е. в роли соучастников жизненного процесса на основе взаимопомощи, внутри живых клеток животных организмов вновь выдвинуло огромную, но трудную проблему органической целесообразности. Это важное открытие вынуждает также к пересмотру старого, (до последнего времени считавшегося неопровержимым и общепризнанным) тезиса гигиены, что только действительно без'ядерная клеточная ткань может быть подлинно здоровой. При этом названная новая ветвь учения о клетке выдвинула необыкновенно обильный ряд вопросов биологического и физиологического характера, так что стоит труда дать прежде всего исторический обзор, носящий характер общего введения, с тем, чтобы, исходя из него, ближе ознакомиться со всей этой проблемой, подлинное значение которой выяснится во всем ее об'еме несомненно лишь в далеком будущем.

Когда за сто слишком лет тому назад впервые обращено было внимание на закономерные отношения разнородных организмов друг к другу, то, разумеется, не существовало и самого отдаленного представления о том, какую большую роль играют эти общежития в биологически-физиологическом обиходе многочисленных животных и растений и сколь огромное распространение они имеют в живой природе. Если в начале это был паразитизм, который — правда в отношении именно своего ярко выраженного медицинского значения — представлял собою главный предмет интереса и нашел себе в лице Leuckart'а исследователя пионера, то в настоящее время его место заступают те виды общежития, которые обыкновенно обозначают именем симбиозов. Под «симбиозом» мы разумеем, давая здесь самое краткое определение, внутренним образом связанную совместную жизнь двух чужеродных организмов, которые находятся в отношении такого рода взаимной зависимости друг от друга, что из этой совместной жизни проистекают выгоды для обоих соучастников ее.

Этим признаком симбиоз отличается принципиально от паразитизма, где только один из партнеров, а именно паразит, извлекает для себя выгоды от совместного жительства за счет другого партнера, так называемого хозяина. Тем не менее обе эти формы проявления совместного жительства находятся в тесном родстве друг с другом или вернее: одна форма возникла из другой. Правда, обыкновенно чрезвычайно трудно бывает с достоверностью решить, какое состояние является первоначальным, симбиоз или паразитизм, из которого развилось впоследствии противоположное состояние. В большинстве нам известных случаев, по всей вероятности, в первоначальной стадии всегда имело место отношение паразитизма, которое лишь постепенно, конечно, в течение долгого периода превращалось в отношение симбиоза. Причем это преобразование следует представлять себе таким образом, что хозяин постепенно уживался с первоначально для него весьма обременительным жильцом, и, проявлял все растущую способность сопротивления в отношении биохимической дифференциации и прочих исходящих от паразита вредоносных воздействий, стал иммунным, что вслед затем наступал период индифферентного взаимного (мутуализм) сожительства, из которого в конце концов вытекало подлинное отношение симбиоза, основанное на той пользе, которую приносят друг другу обе договаривающиеся стороны. Само собой разумеется, что этот процесс развития мыслим и в обратном порядке, когда при наличном симбиозе один из обоих партнеров получает перевес, постепенно возрастающий, до тех пор пока наконец из дружественного отношения не получилось враждебное и симбиоз не превращался в паразитизм. Как протекал названный процесс в каждом отдельном случае, — в прямом или обратном порядке — это совершенно неважно. Но что такой эволюционный процесс в явлениях сожительства существует в действительности, и не представляет из себя простой фикции, явствует уже из того факта, что в природе имеются в наличности все переходы от катастрофического или по мень-

шей мере вредоносного паразитизма — через формы проявления синехтрии (совраждебности), паразитизма в форме высиживания яиц, пользования гнездом и пространственного паразитизма, симфагии, синойкии, симфлии и всяческих других наименований, — вплоть до закономерного симбиоза, так что совершенно исключается необходимость заносить в точные рубрики каждый отдельный случай совместного жительства. Все упомянутые состояния находят себе, чтобы только указать на это мимоходом, прямо таки классическую форму осуществления в государственных об'единениях общественных насекомых, по преимуществу же муравьев и термитов.

Рассмотренные до сих пор формы проявления совместного жительства интересуют нас здесь лишь постольку, поскольку на них может быть наиболее наглядным образом доказана шаткость всех отношений симбиоза, а также поскольку знакомство с этими общежитиями является источником для богатейшего биологического уразумения тех общежитий, которые должны составить здесь предмет нашего специального интереса и которые обыкновенно обозначаются термином «внутренние» или, вернее, «внутриклеточные симбиозы».

Наиболее давний из известных примеров подобного симбиоза представляют собою лишаи, где, как известно, отдельные водоросли вступают в самое тесное отношение с грибами. Шаровидные или нитчатые зеленые и голубые водоросли образуют вместе с сумчатыми грибами и т. п. так называемые «содружества» в целях взаимного оказания физиологической помощи. Совершенно то же имеет место и относительно корневых бактерий в симбиозе с живыми мгуминозами (бобовыми). Как бы ни был велик интерес, который возбуждают эти сожительства между животным и животным с одной стороны, между растением и растением — с другой, все же здесь нам надлежит сосредоточить наше внимание исключительно на некоторых особенно поучительных случаях как биологически, так и физиологически несравненно более знаменательного **внутриклеточного симбиоза животного с растениями.**

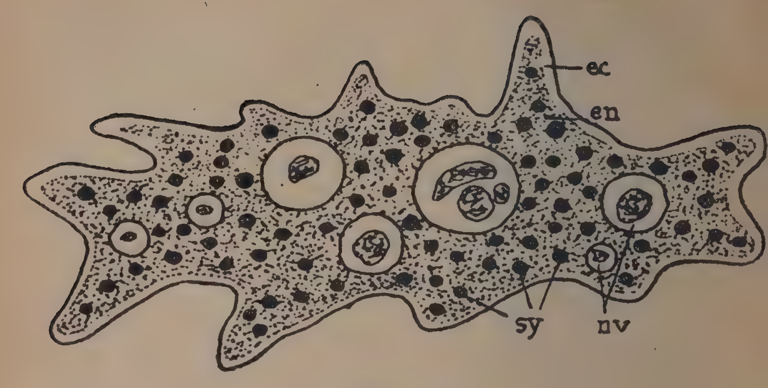


Рис. 1.

Amoeba (амебы) с зоохлореллами в плазме. Увелич. прибл. 100 : 1 ес — эктоплазма, en — эндоплазма, nv — питательные тела, sy — симбионты. По Груберу из Бухнера.

Наличность растительных симбионтов внутри животных клеток само собой предполагает то обстоятельство, что растения эти имеют малый, даже исключительно малый размер. Здесь мы имеем дело всегда лишь с мельчайшими прозофитами (одноклеточными растениями), причем господствующая роль выпадает на долю простейших зеленых водорослей, дрожжевых грибов, бактериоидов и бактерий. Что ближайшим образом касается сожитий водорослей с животными, то приходится прежде всего сказать, что они имеют весьма широкое распространение. Во всяком случае такие растительные посторонние тела в клетках у животных самых разнообразных видов давно известны. Насколько можно установить, Trembley был первым, который открыл их в 1740 году у щупальцевых зеленых полипов, обычных Chlorohydra viridissima наших стоячих вод. Спустя короткое время вслед за этим их нашли также у некоторых видов пресноводных губок, у некоторых червей, а позднее и у многих других мор-

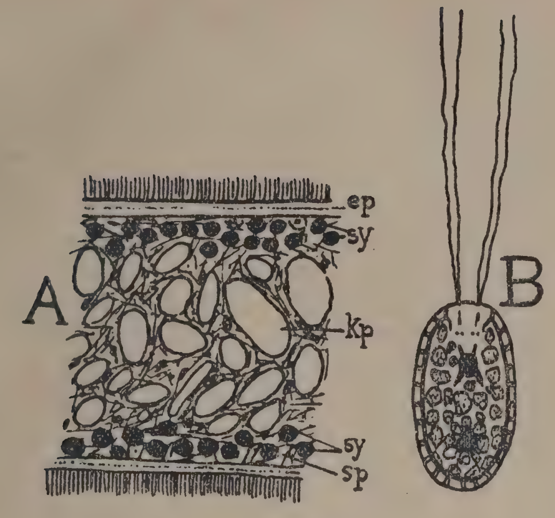


Рис. 2.

ЖГУТИКОВЫЕ (*Convoluta*)

А. Поперечный разрез. В. Место скопления зоохлорелл. А. слабо, В. очень сильно увелич. ер — Верхняя кожица, кр — соединительная ткань. sp — Нижняя кожица, sy — симбионты. По Graff, Gamble и Keeble.

ских и пресноводных животных, так что число ныне известных видов, приютивших в клетках своих тел водоросли, выражается уже в тысячах.

Что представляли из себя эти зеленые и отчасти желтые посторонние тела, этого, конечно, даже в отдаленном смысле не могли в начале предполагать. Siebold впервые высказал в 1849 г. предположение, что в данном случае, вероятно, может итти речь о телах похожих на зеленые цветные зерна растений, носящие название хлорофиловых зерен. И действительно, несколько лет спустя Max'у Schultze и независимо от

него Huxley удалось доказать экспериментальным путем, что здесь мы имеем дело с веществом, весьма похожим на зеленое растительное вещество листьев, а может быть, даже тождественное с ним, что потом и было подтверждено физикой путем спектроскопического анализа трудами Ray Lankaster, Sorby, Becquerel и др. Однако, возник вопрос, идет ли здесь речь о действительно подлинном растительном хлорофилле, воспринятом путем питания (экзогенном), или только о каком либо чрезвычайно на него похожем животном, стало быть эндогенном теле. Исследователи, ставшие на последнюю точку зрения, должны были вместе с тем признать, что данным животным присуще в таком случае и столь характеристическое для растений свойство вырабатывать самостоятельно из углекислоты и воды под действием солнечного света, т. е. неорганического вещества, — органическое. Вслед за этим Haeckel открыл в 1862 г. в подобных желтых телах часто наблюдаемых у радиоларий (простейших жителей морского планктона) клеточные ядра и силовые центры, а из этого открытия Clenkowsky в 1871 г. сделал вывод, что эти тела представляют собою самостоятельные организмы, паразитические или симбионтические водоросли. Эту гениальную мысль восприняли несколько лет спустя братья Hertwig и Karl Brandt и им удалось доказать по меньшей мере правдоподобность того, что здесь перед нами настоящий внутриклеточный симбиоз водорослей с животными; никто иной как тот же Brandt назвал зеленых обитателей «з о о х л о р е л л а м и», а желтых «з о о к с а н т е л л а м и». Хотя названные важные открытия сделаны уже почти полвека тому назад, однако, мнения о включении этих растений в ботаническую систему, в особенности касательно зооксантелл, еще очень расходятся.

Замечательно, и вместе с тем характерно, что внутриклеточные симбиозы водорослей удалось до сих пор с достоверностью установить только у беспозвоночных морских животных, и притом, повидимому, тем чаще, чем ниже организация последних; стало быть всего больше у простейших (Protozoo),

которые подобно самим симбионтам, имеют одноклеточную организацию. Их мы встречаем в клеточном теле совершенно голых форм, также как и в протоплазме видов, снабженных реагирующими на возбуждения скелетами. Равным образом многочисленные ресничатые, жгутиковые (ciliata, Flagellata) живут в симбиозе с зелеными или желтыми водорослями. Среди многоклеточных животных их можно найти как у неподвижно сидящих, так и у многих свободно плавающих форм. Зоохлореллы, равно как зооксантеллы, мы встречаем в губках, морских розах, мховых, у некоторых червей и морских звезд, даже у улитки.

Между тем нельзя формулировать обще-обязательного правила, по которому всякое наземное беспозвоночное животное обязано было бы своей окраской внутриклеточным водорослям. Во многих случаях причиной таковой являются пигменты, так напр., Anthea (зеленое вещество) весьма распространенное среди актиний, или извлеченный Krukenberg'ом из Bonellia viridis (морской жолудь) бонеллин. Часто это бывают вещества еще совершенно неизвестного происхождения, состава и значения, так напр., у известного числа зеленых насекомых. Достаточно упомянуть здесь известную «листовидку» (Phyllium); у этого насекомого находятся в коже зеленые зерна, которые — под спектроскопическим анализом, произведенным Becquert'ом и Brogniart'ом также обнаружили удивительное физическое сродство с растительным хлорофиллом. Что мы здесь действительно имеем дело с симбионтическими водорослями, это еще очень нуждается в доказательстве. Единственное исключение, когда высшее наземное позвоночное животное находится в сожитии с водорослями, представляют собою южно-американские виды Choloepus и Bradypus и тихоходы, в густой шерсти которых они угнездились. Вопрос о том, имеем ли мы здесь дело с настоящим симбиозом или только с пространственным паразитизмом, еще остается открытым.

Приходится ли нам считаться во всех вышеприведенных случаях с одной стороны с фактически индивидуально само-

стоятельными организмами, а с другой действительно с симбиозом, а не с безобидной формой мутуализма или даже с вредоносным паразитизмом, это самым ясным и наглядным образом вытекает из наблюдения биологии и физиологии совместного жительства обоих симбионтов.

Выгода, которую водоросли ищут для себя и находят в животном, заключается прежде всего в защите от всевозможного рода опасностей, угрожающих ее окрашенному в яркий зеленый или желтый цвет, беззащитному телу. Мы имеем достаточно примеров тому, что потребность в подобного рода защите для водорослей вообще имеется в наличности. Уже один тот факт, что случаи симбиоза с водорослями особенно часто встречаются у чрезвычайно надежно защищенных колючих животных (морских ежей, полипов, морских роз) говорит за правильность подобного допущения. Затем, — а это самое главное — зоохлореллы и зооксантеллы находят себе в животном организме наиболее удобным образом свое пропитание. Представляется даже возможным назвать условия, в которых водоросли находятся в животном организме, прямо блестящими; ибо в противном случае они не могли бы так быстро размножаться и вообще являть признаки столь наглядного благополучия. Этому будет сейчас представлено надлежащее подтверждение.

Прежде всего ассимилятивная деятельность водорослей не встречает во внутренностях хозяина-сожителя ни малейшего ограничения. Так как они всегда находятся в таких местах, куда свет может сполна проникать, несмотря на то, что распределение его на определенные участки тела у отдельных животных - хозяев может быть весьма различным. Их мы обыкновенно находим в самой прозрачной для света коже или непосредственно под ней, как напр., у зеленого полипа (chlorohydra) у трубчатых червей в подкожной соединительной ткани, у многочисленных прозрачных актиний, а также массами в известных клетках кишечника. Но — это следует здесь отметить — животные, которые исклю-

чительно или по крайней мере по большей части, живут в темноте, всегда свободны от водорослей. В этой именно связи делается то интересное наблюдение, что с возрастающей морской глубиной, стало быть с постоянно уменьшающейся интенсивностью света, быстро убывает число животных, дающих приют зооксантеллам. В глубине 200 метров на линии перехода от эвфотической к дисфотической зоне их совершенно нет. Из этого видно, что животный организм не может возместить необходимый каждому зеленому растению дневной свет никаким суррогатом. Но с другой стороны и растение не может жить одним только светом. Оно нуждается для этого еще в неорганических, (а в данном примере и в органических субстанциях), в виде солей или в качестве катализаторов при углекислой реакции или в качестве материала для восстановления белков, жиров и проч. А эти вещества ей должен доставлять животный организм или по крайней мере служить проводником для них, так как ведь всякое непосредственное сообщение между симбионтом и внешним миром отсутствует. Последнее вполне под силу животному организму: 1) потому что он сам всасывает вместе со своей пищей многие им самим неиспользованные соли, которые, вследствие своей легкой растворимости, проникают в жидкие составные части организма, т. е. в кровь, а через нее ко всем системам органов, — и 2) потому что при жизненных процессах у животных образуется целая масса таких веществ, которые весьма могут пригодиться растительным жильцам, представляя для них самих лишь не имеющий никакой цены балласт или даже вредные выделения, которые все равно надлежало бы удалить из организма или обезвредить их каким либо иным способом. Впоследствии мы еще увидим какое значение могут приобрести, при таких обстоятельствах, растительные симбионты для животного благодаря тому, что они преобразуют такие не имеющие непосредственной ценности продукты обмена веществ путем ферментативной переработки в пригодные для потребления вещества.

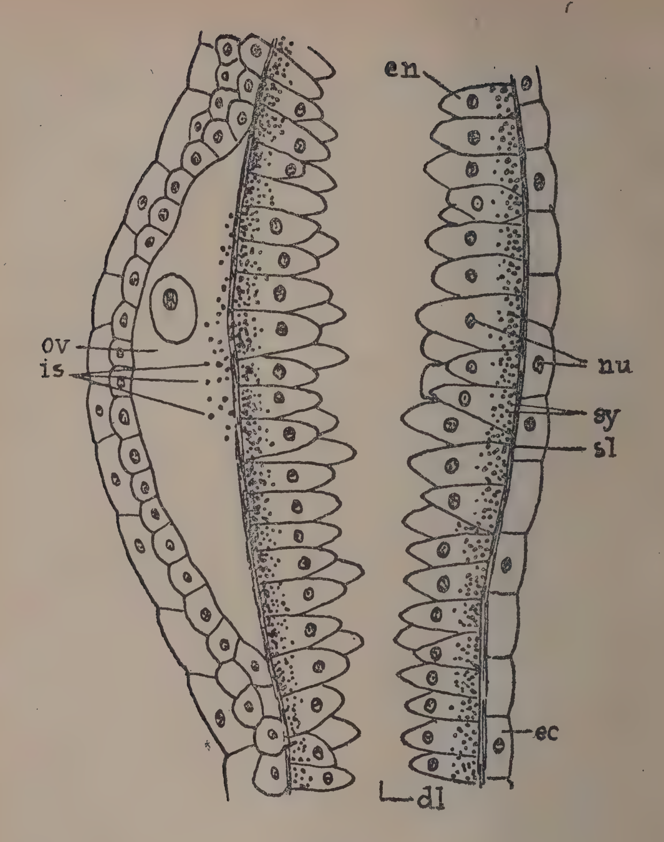


Рис. 3.

ПРЕСНОВОДНЫЙ ПОЛИП (Hydra)
с зоохлореллами.

Продольный разрез, слабо увелич. Налево: первая стадия инфекции яйца. ec — наружный слой, en — внутренний слой (=ендодерма). dl — кишечная полость, nu — ядра, is — симбионты инфицирующие яйцо (sy), ov — яйцо, sl — пластинка мезодермы.

Комбинировано по Hattan'y.

Здесь — в случаях симбиоза с водорослями — представляется напротив довольно затруднительным провести это доказательство и выяснить в точности в обратном порядке те выгоды, которые проистекают для животного из названного общежития. В прежнее время в этом случае выходили очень легко, но без достаточной критики, из затруднения, прибегая к весьма несложной, чисто биологической вспомогательной гипотезе, заимствованной из Wallace'овой теории, и допуская то об'яснение, что сожительствующие с животным водоросли доставляют ему действенную предохранительную окраску. Однако, это допущение покоится на весьма слабых основаниях, даже совершенно независимо от энергичных и отчасти прекрасно обоснованных возражений, которые в самое последнее время с успехом были выдвинуты именно Heikertinger'ом против всей теории защитной окраски как таковой. Что представляется совершенно невозможным истолковывать и оценивать симбиоз с зелеными водорослями как преимущество в указанном смысле, явствует уже из одного того, что виды, приютившие зоохлореллы, мы во множестве находим и там, где подобного рода «защита» является совершенно исключенной. Напротив, благодаря своим зеленым и желтым симбионтам они скорее бросаются в глаза своим врагам. В духе теории защитной окраски, напр., эвпилагические животные верхних водяных слоев оказываются наилучшим образом защищенными, когда они бывают совершенно прозрачными, на подобие стекла. На ряду с многочисленными формами, относительно которых это действительно имеет место, встречается именно здесь много таких видов, которые находятся в симбиозе с водорослями и потому обладающими окраской, бросающейся в глаза. Или другой пример: если мы станем искать в водоеме густо обросшем растениями — chlorohydra viridissima — то зеленую, симбиотическую форму таковых найти гораздо легче, нежели невидимую асимбиотическую, коричневую и серую. Стало быть в отношении двух последних имеет место как раз то,

чего требует теория защитной окраски, а не в отношении зеленых. То же самое можно сказать об асимбиотических амебах и инфузориях в противоположность к их ближайшим сородичам, которые дали приют в своей животной клетке зоохлореллам. Соображения о том, что животное, благодаря окраске обусловленной симбионтами, могло бы иметь выгоды в виде действенной защиты, стало быть приходится отклонить.

Однако, какая то польза, и при этом гораздо более глубоко обоснованная, физиологически обусловленная, должна все таки проистекать из сожительства для животного, ибо в противном случае вообще не имел бы место симбиоз в смысле определения, данного ему нами в самом начале. В недавнее время удалось, по крайней мере в отношении большинства случаев, доказать эту пользу опытным путем и притом бесспорным образом. Позволительно будет допустить, что и там, где этого доказательства еще нельзя было достигнуть, господствуют подлинно симбиотические состояния, конечно, предположив при этом, что принципиальные условия тождественны.

Прежде чем войти, однако, в обсуждение этого пункта проблемы, нам надлежит уяснить себе предварительно эти принципиальные условия, т. е. выяснить, насколько тесно взаимное отношение зависимости (обоих симбионтов друг к другу). Мы имеем примеры, когда сожительство лишь факультативное, по крайней мере весьма поверхностное, шаткое и в то же время другие, когда случайное или опытом вызванное отпадение водорослей в значительной степени понижает жизнеспособность животного-хозяина, а при известных условиях даже исключает ее.

Только это последнее состояние имеет здесь для нас интерес. И уже то обстоятельство, что часто бывает очень трудно в подобных случаях отделить симбионтов друг от друга и сохранить их жизнеспособными в изолированном виде, служит достаточным доказательством того, что здесь

мы имеем дело с подлинным симбиозом; при паразитизме или даже при комменсализме водорослей подобного рода тесное взаимное отношение зависимости было бы немыслимо. Животное стало быть также извлекает выгоды из совместной жизни. Последние должны, вероятно, выражаться в питании животного продуктами обмена веществ и ассимиляции у водорослей. То, что сожительствующая водоросль могла бы дать хозяину, есть прежде всего крахмал (anylum). Присутствие последнего обыкновенно нельзя доказать в животной клетке. Уже Brandt упоминает о содержащих крахмал вакуолах в клетках животных, приютивших в себе водоросли. Однако, происхождение этих веществ сомнительно, в особенности, если принять во внимание, что они не могут проникнуть в виде нерастворимого крахмала через целлулозную кожу водоросли. А для превращения крахмала в растворяющееся вещество пока нет никакого намека на доказательство. Поэтому ныне зачастую признается более достоверным иной способ питания. В различных случаях приходилось находить отдельные сожительствующие водоросли в состоянии дегенерации и наблюдать, что эти вырождающиеся индивидуумы быстро переваривались клетками - хозяевами. На этом обстоятельстве основывали то мнение, что водоросли якобы при обильном размножении жертвовали своими излишними собратиями в пользу животного-хозяина, в виде платы за «помещение и содержание», если можно так наглядно выразиться. С этим взглядом едва ли возможно согласиться, и вот по каким основаниям: водоросль или какой либо иной симбионт или паразит, который инфицирует известное животное, чтобы найти себе в нем длительное пребывание, должен быть так или иначе защищен от поглощения его хозяином; эта защита осуществляется, как известно, при посредстве так называемых антиферментов, которые производит симбионт или паразит. Вместе с дегенерацией, надо полагать, прекращается, конечно, образование антиферментов, а поэтому пожирание со стороны хозяина не

встречает никаких препятствий. В виду этого вполне возможно, что, именно при интенсивном размножении водорослей, которые извлекают сами лишь весьма немного питания из своего хозяина, последний и питается известное время такими вырождающимися симбионтами, и в частности при неблагоприятных внешних обстоятельствах набрасывается на них как на «забронированный запас». У животных-хозяев, которые подвергались продолжительной голодовке, увеличивается и число распадающихся зоохлорелл, а вместе с тем и возможность привлекать их в большем количестве к питанию. Было бы, однако, совершенно ошибочно признать этот способ питания за нормальное состояние и усматривать в нем единственную пользу, которую извлекает для себя животное из своего симбиоза с растениями. Недавно Pütter'у посчастливилось привести бесспорное доказательство взаимной поддержки, оказываемой хозяином и водорослью друг другу. Актинии, напр., в состоянии впитывать в себя из окружающей их воды через стенки своего тела осмотическим путем известные вещества и притом в таком количестве, что могут совершенно отказаться в таком случае от восприятия оформленного питания. Здесь в особенности мы имеем дело с органическими об'ектами ассимиляции свободно живущих в мире растений. Там, где морские розы сожительствуют с водорослями, они сами присваивают себе эти об'екты ассимиляции от своих внутриклеточных симбионтов. Опытным путем удалось доказать, что они таким способом могут сполна удовлетворять свою потребность в азоте. Далее, водоросль в течение дня снабжает животное также достаточным количеством свободных от азота углеродистых соединений, которые она всасывает в себя за ночь. С другой стороны, актиния доставляет водоросли необходимый для белковых соединений азот в виде нашатыря, который образуется в результате животного обмена веществ, кроме того, в особенности в темноте, она доставляет лишенные азота углеродистые соединения, что становится конечно излишним при свете, ибо

тогда восстанавливается нормальный процесс питания водоросли. Таким образом оба симбионта поддерживают друг друга самым предупредительным образом.

Питательно-физиологическое значение симбионтов для животного-хозяина этим еще далеко не исчерпывается. В самое последнее время, именно Arndt'у, удалось доказать, что внутриклеточные водоросли, благодаря своему совместному жительству с животным, могут вырабатывать нейтральные жиры и подобные им вещества. Как в зооксантеллах морской розы, так и в зоохлореллах пресноводной губки и Chlorohydra можно путем микроскопического анализа обнаружить капельки нейтрального жира, и зернышки похожего на жир вещества, фосфатида. Оба последние представляют собою высоко ценные вещества для питания животных-хозяев. Правда, до сих пор еще не удалось установить бесспорным образом, что вещества эти также в состоянии проникать через оболочку водорослей. Однако, это почти достоверно, так как наличность совершенно таких же веществ можно доказать и вне симбионтов в несвязанном виде в клетках хозяина. В особенности это легко найти у пресноводной губки, т. к. здесь фосфатиды, сфабрицированные водорослями, прежде всего доставляются в места образования воспроизводительных желез, в начале еще свободных от симбионтов, где их можно найти в значительном количестве. Таким образом становится достоверным фактом, что животное хозяин получает от своих жильцов также и жиры и жирообразные вещества. Keeble идет даже так далеко, что приравнивает это физиологическое действие водорослей такому же действию жировыделяющих клеток молочных желез.

Такую же большую роль как обмен питательными веществами играет для совместной жизни также и обмен газами. Еще при более ранних, относящихся до этого вопроса, опытах исходили из той совершенно правильной мысли, что водоросль (в качестве сокращающегося организма) может использовать освобождающуюся от животного обмена веществ

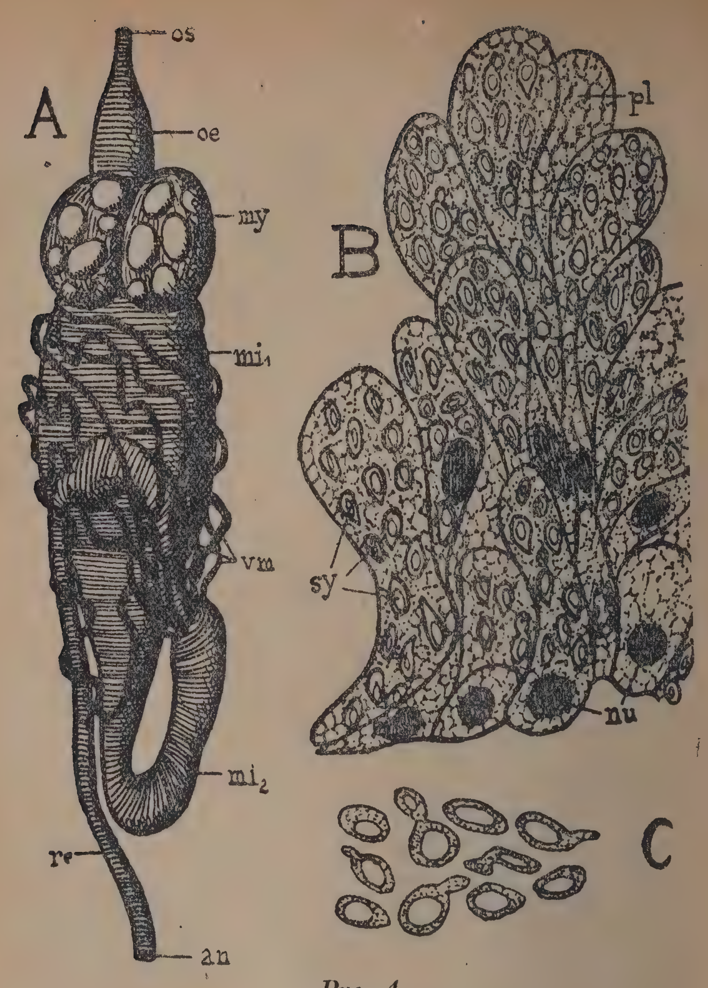


Рис. 4.

ДРЕВОСЕК (Litodrepa paniceum)

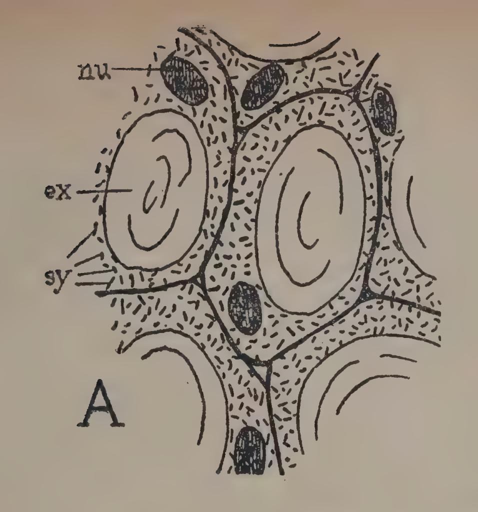
A. Кишечный канал, слабо увеличен. B. Поперечный разрез через кишечный эпителий, с его грибком; около 600:1. C. Изолированные симбионты, mi — передний отдел средней клетки, mi_2 — задний отдел средней кишки, my — содержащий грибок орган, nu — ядра, oe — пищевод, os — ротовое отверстие, pl — клеточная плазма, re — задняя кишка, sy — симбионты, vm — мальпигиевы трубочки. По Бухнеру.

углекислоту и обратно отдавать животному (как окисляющемуся организму) образующийся при ассимиляции кислород. Первым доказал Geddes в 1878 г., что сожительствующий с простейшей водорослью Carteria морской червь Convoluta выделяет при свете кислород; тоже удалось три года спустя доказать Engelmann'у относительно Chlorohydra и туфелек (Paramaecium). Выяснить истинное положение вещей и установить фактическую взаимную поддержку обменом газов удалось, однако, лишь недавно Trendelenburg'у, благодаря новым технически усовершенствованным исследованиям. Последние дали тот результат, что зооксантеллы, а равно зоохлореллы заимствуют углекислоту как у животного-хозяина, так и у окружающей их воды, и что они выделяют в воду кислород через животное; при сильном освещении даже в виде пузырьков газа. Во время диффузии клетки хозяина потребляют нужное для них в данный момент количество. Правильность достигнутых Trendelenburg'ом результатов получает между прочим свое полное подтверждение в том факте опыта, что морские животные, которые живут в сообществе с водорослями, в аквариуме, стало быть в неблагоприятных и отличающихся недостатком кислорода условиях, могут дольше продержаться, нежели стоящие с ними в ближайшем родстве, живущие несимбиотически виды.

В факте обмена газов мы стало быть также имеем перекрестную поддержку со стороны обоих партнеров. Водоросль получает больший приток углекислоты нежели она могла бы заимствовать от одной только окружающей ее воды, а животное наоборот пользуется выгодой более обильного притока кислорода. По Pütter'у напротив обмен газов у морских роз должен быть лишь весьма незначителен, из чего следует, что физиологические условия не во всех случаях внутриклеточного симбиоза между животным и водорослью должны быть одинаковы. Поэтому следует по достоинству оценить требование остеречься в данном случае от слишком поспешных обобщений. Нельзя установить норму, пригодную

для всех возможных случаев; вернее, что всякий отдельный симбиоз требует тщательного специального анализа. Тесные по большей части, при известных обстоятельствах даже жизненно необходимые, отношения симбионтов друг к другу уже сами по себе приводят к предположению, что и потомство обоих сторон тесно связано друг с другом. При бесполом размножении, которое вообще очень распространено среди беспозвоночных животных, симбионты распадаются предварительно просто на отделяющиеся дочерние части. Таким образом мы видим, что при обыкновенном делении живущего симбиотически простейшего животного, приходится лишь по несколько жильцов на образующиеся таким путем дочерние клетки. То же самое имеет место при множественном распадении. Но и при столь характерных для низших Metazoa формах бесполого размножения, при ответвлении, почковании, дроблении и проч., каждая отдельная часть получает свой особый внутриклеточный симбионт, т. к. последние обладают способностью распределяться равномерно по всему хозяйскому телу.

Но как обстоит дело, когда образуются особые организмы в итоге размножения, или когда бесполый способ размножения временно или на длительный период заменяется дву- или однополым способом? Тогда оказывается необходимым, чтобы эти тела, образовавшиеся от размножения, или половые клетки были инфицированы симбионтами до или во время отделения от животного-родителя, или чтобы потомство имело по крайней мере позднее случай их в себя вобрать. Соответственно с этим здесь различают два вида перенесения, из которых один можно было бы назвать наследственной инфекцией (или тоже эндометрической), а другой — внешней, приобретаемой после рождения (или лучше экзометрической). Последняя форма перенесения широко распространена. Прежде всего она имеет место там, где мы видим перед собою лишь факультативное сожительство. Так можно легко наблюдать, что если скре-



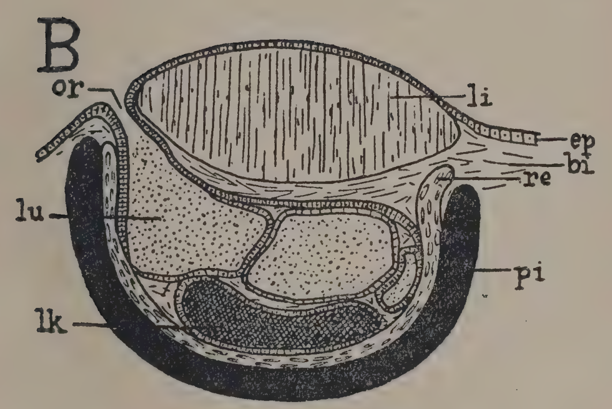


Рис. 5.

A. Разрез через «слюнные почки» наземной улитки (Cyklostoma). B. Поперечный разрез через световой орган Sepivba intermedia (чернильной рыбы). A. Сильно увелич. по Mereier. B. Умеренн. увелич. по Cierantoni. ep. — эпидерма, ex — ядро экскреторных отложений (мочевые продукты), bi — соединительная ткань, li — хрусталик, lk — светящееся тельце, lu — светящееся вещество с симбионтами; or — отверстие световой железы, nu — ядра, pi — пигментная оболочка, re — рефлектор (отражательная оболочка), sy — симбионты.

стить культуру живущих в симбиозе с водорослями туфелек с подобной ей, но асимбиотической культурой, то уже спустя короткое время все животные становятся зелеными и происходит здесь перенесение через подвижные споры, которые возникая самопроизвольно из зоохлорелл или зооксантелл, покидают животное-родителя и отыскивают себе нового хозяина. Нечто подобное же удалось наблюдать и в отношении многочисленных прочих животных. Стало быть возможно инфицировать свободные от водорослей индивидуумы с симбионтами, носящими в себе водоросли, а отчасти и с таковыми других видов. Из этого проистекает тот вывод, что специфический характер симбионтов по крайней мере в этом случае не может быть слишком велик.

Однако, и в формах обязательного симбиоза еще многократно встречается этот первичный и не абсолютно достоверный способ перенесения. В качестве примера следует напомнить здесь об отношениях, которые находят себе выражение у многочисленных видов морских полипов. Последние живут часто в самом тесном симбиозе с определенными водорослями. Из этого делают тот интересный вывод, что здесь подчас лишь прикрепленное к месту, бесполым образом распространяющееся поколение дает у себя приют водорослям внутриклеточным способом, но что становящееся свободным, служащее целям полового размножения, половое поколение является асимбиотическим. Стало быть половое потомство должно сызнова инфицировать себя; и это осуществляется, конечно, в самой ранней юности, по большей части через рот при принятии пищи. Здесь следовательно перед нами удивительный случай смены несущего в себе водоросли поколения новым, лишенным таковых.

У кольчатого червя, вида не раз уже упоминавшихся Convoluta также имеет место экзоматриальная инфекция эмбрионов, но здесь, однако, с той разницей, что свободно витающая, снабженная 4-мя жгутиками, форма водорослей (хемотаксически) притягивается яйцевыми капсулами, пер-

воначально всегда свободными от водорослей. Таким образом перенесение здесь уже не находится в зависимости от слепого случая, но обеспечено более или менее определенно направленными механизмами.

Абсолютная гарантия инфекции потомства достижима лишь в том случае, когда она вводится непосредственно во внутрь самого материнского тела. Такого рода примеры также имеются: так, воспроизводящие элементы пресноводных губок инфицируются симбионтами до отделения от материнского тела. У Chlorohydra внутриродительская форма перенесения находит свой кульминационный пункт; здесь имеет место прямая этинфекция, при которой водоросли массами вселяются в приходящую в зрелость яйцевую клетку и стало быть угнездятся в ней задолго до того, как она станет способной к оплодотворению и осуществит свое отторжение от материнского тела.

Вкратце здесь следует еще упомянуть о внутриклеточном симбиозе животных и низших грибов, бактерий, бактериоидов, дрожжевых грибов и т. д. В большинстве этих случаев отношения совершенно схожи с теми, с которыми мы познакомились в рассмотренных случаях симбиозов с водорослями; здесь стало быть обыкновенно имеет место тесная форма сожительства с сильно выраженной взаимной зависимостью. Здесь мы даже многообразно наблюдаем идущие еще далее приспособления обоих симбионтов друг к другу, которые у животных могут в конце концов привести к образованию клеток, дающих приют грибам (Mycetocytes) или даже органов (Mycetom'ов).

Если при симбиозах с водорослями мы там имели дело исключительно или почти исключительно с беспозвоночными водяными животными, то здесь перед нами животные организмы всевозможных отделов животного мира, которые могут вступать в сожительство с грибами. Такие симбиозы встречаются особенно часто у насекомых, но также и у простейших животных, далее у червей, мягкотелых и оболочников. Весьма вероятно даже, у известных видов позвоноч-

ных. Исследование этих замечательных сожительств дало уже много интересных биологически-физиологических откровений, и каждый год приносит с собою все новые важные открытия, так что не представляется возможным даже приблизительно предвидеть того, что еще можно будет свести на физиологическую деятельность живущих в симбиозе грибов. Вкратце можно выставить здесь следующие основные положения: достоверно, что животный организм многообразно может расширить благодаря симбионтам возможность своего пропитания, привлекая в целях последнего вырабатываемые грибами ферменты для растворения неприемлемых без того веществ в своей пище;

2) что животное может также использовать эти ферменты и вне своего тела и таким образом пользоваться некоторыми другими стоящими в связи с добычей пищи выгодами;

3) что симбионты могут разлагать продукты выделения животного тут же на месте и при этом на весьма различные субстанции, которые впоследствии снова могут пригодиться хозяину, путем привлечения их к процессу восстановления своего организма или по крайней мере для поддержания своего производственного обмена веществ;

4) что световые феномены многих животных покоятся на деятельности светящихся организмов, живущих в порядке внутриклеточного прозябания;

5) что некоторые другие биологические явления, причины которых оставались до сих пор совершенно неизвестными, находят себе простейшее об'яснение благодаря наличности внутриклеточных грибов-симбионтов.

Из необыкновенно обильного материала здесь можно позаимствовать лишь немногие особенно поучительные примеры, с достаточной ясностью демонстрирующие факт принесения взаимной пользы. Так как еще не во всех случаях место внутриклеточных жильцов в систематике установлено с достоверностью, то да будет позволено в сомнительных случаях вести речь просто о «грибах».

При рассмотрении первого основного тезиса мы всего лучше ограничим наш выбор некоторыми жуками, типичными муко- и древо-точильщиками. Место перехода их передней кишки в желудок (зоб) занимают два (или больше) тела, имеющие форму булавочной головки (Myceton), которые выступают на подобие опухоли в полость желудка и состоят из клеточек с заключенными в них многочисленными дрожжевыми грибами. Физиологическая функция этих дрожжевых грибков заключается в оказании воздействия на пищевую кашицу, что заставляет предполагать уже самое местонахождение их у входа в среднюю кишку. Между прочим они вырабатывают разлагающие дерево ферменты и дают таким образом возможность древопожирающим насекомым использовать неприемлемые без того древесные и целлулозные субстанции в целях жировых и яично-белковых синтезов.

Известно, что и травоядные млекопитающие, как то грызуны, жвачные и другие дают приют в своем кишечном канале обильной флоре симбионистических бактерий, которые также осуществляют частичное разложение целлулозы. Внутриклеточная позиция симбионтов рассматривается здесь лишь как случайная.

Нечто подобное, как относительно названных жуков, имеет место и применительно к насекомым, сосущим растительные соки, как то к листовым и корневым вшам, цикадам и проч., симбионты которых, живущие в грибных клетках или органах, играют большую роль при переработке принятой через всасывание пищи. Органы, культивирующие этот грибок, известны уже давно под данным им Huxley именем Pseudovitellus'a, но их подлинное значение выяснено лишь недавно, именно благодаря стараниям Buchner'a, Pleranton, Peklo и др. Особенно интересно то, что здесь находят не только один единственный вид симбионтов, но и целое множество их одновременно в одном и том же Myceton'a, правда распределенными всегда на несмежных друг

с другом участках в этом органе. На ряду с дрожжевидными симбионтами встречаются здесь также бактерии, что уже побудило высказать предположение о том, что эти питающиеся почти исключительно сахарным соком, стало быть ярко выраженной безбелковой пищей, животные могут при содействии названных симбионтов привлекать к телу элементарные азотистые вещества, необходимые им для удовлетворения своих потребностей.

В близком родстве с этими отношениями находятся также те явления, касающиеся второго нашего тезиса, который гласил, что некоторые хозяева умеют использовать и внетелесным образом ферменты своих микросимбионтов. В этой связи следует особенно упомянуть о кровососущих животных. Среди них имеют, повидимому, всеобщее распространение Mycetona; их мы встречаем как у кровососущих насекомых, вроде комаров, клопов и др., так и клещей и пиавок. Именно в отношении последних мы обладаем самыми точными сведениями благодаря новейшим исследованиям E. Reichenon'a. У пиавок, клещей и насекомых мы всегда находим содержащие в себе грибки органы в топографической близости от слюнных желез; зачастую части последних преобразуются в самые грибные клетки. Ферменты этих симбионтов вызывают при самом акте высасывания животных-хозяев повышенный прилив крови в местах укола и отчасти также предотвращают сгущение крови в жале. Если микросимбионты и не принимают стало быть в данном случае прямого участия в обмене веществ, то все же они являются неустранимым фактором для существования животных-хозяев, который один делает для них возможным восприятие питания.

Третья форма симбиоза грибов известна относительно некоторых моллюсков и насекомых. Здесь мы, однако, ограничимся выбором одного примера, касающегося Cyclostoma (вид слизня). Эта улитка обладает так называемой «слюнной почкой», органом, в котором откладываются выделения.

Прежде допускали, что эти органы образовались в видах экономии воды в организме, т. е. что они возникли с той целью, чтобы избежать обусловленной выделением мочевых продуктов потери воды для животного, нуждающегося в условиях значительной сырости, но живущего, несмотря на это, в довольно сухих местах. Такое допущение можно было признать правильным; сюда, однако, присоединяется то обстоятельство, что в клетках этих слюнных почек, содержится, на ряду с обильными массами выделений, многочисленные симбиозные грибы, цель которых, насколько это возможно предвидеть, может заключаться только в том, чтобы превращать при помощи брожения содержащие азот конечные продукты обмена веществ улитки в другие субстанции, которые после этого поступают в обновленном виде снова в поток обмена веществ и таким образом могут вторично сослужить службу хозяину.

Как уже было упомянуто, световые феномены многих животных также должны быть сведены на деятельность внутриклеточно-живущих грибов. В таком случае светящиеся клетки называются Mycetocyta, а обладающие способностью свечения органы Mycetom'ами. Следовательно, животные обладают свечением не по собственной силе, но заимствуют эту способность у своих светящихся симбионтов. Первый, кто на это указал, был Dubois, открывший в выводящем канале, выделяющем светящуюся слизь сверлянки (pholas) типичные светящиеся бактерии и связавший световую функцию с наличностью двух ферментов, люциферина и люциферазы. В недавнее время удалось доказать, по крайней мере в отношении световых явлений у насекомых и рыб, светящихся скатов, чернильных рыб, что они также покоятся на деятельности симбиотических микроорганизмов. Частично удалось даже культивировать последние независимо от их хозяев, в специфических искусственных питомниках. Повидимому, это можно утверждать не только относительно световых органов, свободно сообщающихся с внешним миром типичных «световых желез», но, по всей

вероятности, и относительно замкнутых со всех сторон, в обилии снабженных оптическими вспомогательными аппаратами в световых органах, имеющих подобие фонарей, растительным жильцам которых животный организм, вероятно, доставляет через кровь необходимый для осуществления светового эффекта кислород.

Совершенно особенный случай симбиоза с грибами представляют, например, известные раки-гребцы из породы «Cyclops», которые находятся по всей вероятности в сожительстве с сернистыми бактериями. Благодаря этому названные раки имеют возможность жить в такой среде, которая, вследствие содержащегося в ней сернистого водорода, вообще необитаема для животных. Так можно наблюдать, что Cyclops может жить в рудниковых водяных скоплениях, в старых цистернах и т .п., если он находится в симбиозе с сернистыми бактериями.

Дальнейшие интересные примеры симбиоза с грибами известны в отношении тропических червецов (Coccus), железы которых перерабатывают вводимый пищей клей в лаки и красящие вещества. Таким же точно образом обязана кошениль своим происхождением деятельности таких внутриклеточных симбионтов. Выгода, которая проистекает для животного из такого рода сожительства, чисто биологического характера; она заключается в том, что масса лакового покрова служит для животного значительной механической защитой.

Однако, довольно примеров. В заключение нам остается еще сказать, что в духе нашего определения симбиоза вытекает польза и для микроорганизмов из совместного жительства с упомянутыми животными, ибо они находят в клетках последних всегда обильную пищу и защиту против высыхания. Поэтому взаимная зависимость обоих симбионтов друг от друга обыкновенно очень велика. А это прежде всего опять таки выражается в инфекционных механизмах, т. е. в тех способах, которыми обеспечивается перенесение

симбионтов на потомство. Эти механизмы работают здесь всегда самым точным образом. Очень часто имеет место прямая инфекция яйца или по крайней мере перенесение гриба на новый зародыш в материнском теле. А где нет этого, приняты меры при посредстве особых органов инфекции, выводящие проходы которых выходят в женские половые органы, — к тому, чтобы при несении яиц покровы (оболочки) последних были сдобрены микросимбионтами. Когда молодое животное пробивает скорлупу яйца, оно вбирает в себя через рот часть последней, а с нею вместе и присосавшийся к ней грибок. Таким образом симбионты превращаются в форменно наследственное достояние, и один и тот же инфекционный путепровод соединяет собою все поколения.

После всего сказанного мы несомненно удостоверились в том, что интимные формы симбиоза представляют собою выдающееся средство к тому, чтобы существенным образом повысить жизнеспособность животного. Бесспорно, оно получает благодаря этому значительное преимущество перед своими конкурентами в борьбе за существование. На ряду с этим, ставшим столь многозначительным благодаря Дарвиновской теории, принципом борьбы здесь следовательно выступает еще принцип взаимопомощи. Хотя, очевидно, простой случай соединяет друг с другом обоих партнеров, однако, использование этой встречи во взаимном интересе принимают на себя другие факторы, деятельность которых для нас пока еще остается, конечно, совершенно невыясненной. Однако, нет недостатка в попытках доискаться этих факторов: это всего лучше доказывает превосходный труд Buchner'а: «Tier und Pflanze in intrazellularer Symbiose» (Berlin, Gebr. Bornträger, 1921).

Станем ли мы рассматривать все явления, вытекающие из совместного жительства, как то особого рода клеточные дифференциации, передаточные механизмы и проч., в качестве простых реакций на раздражение, или же мы допустим,

в целях об'яснения этих отношений, существование сверхиндивидуального духовного начала в духе Becher'овского учения об направленной на посторонние интересы целесообразности, — мы здесь во всяком случае принуждены удовольствоваться тезисом Buchner'a, что пока еще загадки симбиоза вливаются в общий поток великой проблемы органической целесообразности.

Д-р Ганс Презент

ПОСЛЕДСТВИЯ ЯПОНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1923 ГОДА

Перевод с рукописи

Из всех катастроф вызываемых силами природы, наибольшие потери людьми и имуществом приходятся на долю землетрясений. Научный интерес к этим явлениям природы усиливается хозяйственной опасностью, которую они представляют для многих культурных стран. За последние десятилетия повсюду начались исследования природы землетрясений с помощью новейших технических усовершенствований. Особенно в странах, больше всего подверженных таким сотрясениям земной коры, собран при помощи целой серии сейсмографических станций обширный материал наблюдений. Давно уже выработана классификация этих явлений — как известно, потрясающих ежечасно более или менее сильно какой-нибудь участок земной поверхности — по силе и причинам возникновения, и в настоящее время нам точно известны те области земного шара, в которых землетрясения особенно часты, и те, в которых по всей вероятности, никогда не произойдет сколько-нибудь серьезного сотрясения. Особенно часты они там, где земная кора, говоря языком геологии, не успокоилась окончательно, не пришла еще в полное равновесие, и где, следовательно, происходят еще взаимные передвижения отдельных слоев земли. Это области больших

тектонических разрывов и, в большинстве случаев, богатые одновременно и вулканическими явлениями. Такие места в земной коре вызывают могучие сотрясения, которые у морского побережья могут вызвать громадные волны и тем еще усилить катастрофу. Поэтому-то, на побережьи Чили, в Центральной Америке, на тихоокеанском побережьи Северной Америки, в Японии и на берегах Южной Италии землетрясения бывают столь опустошительны. Так как именно такие прибрежные области, как очень важные в хозяйственном отношении, бывают густо заселены, то и получается, что высококультурные местности так часто становятся жертвой землетрясений. Но выгодное топографическое положение заставляет людей все снова и снова восстанавливать крупные города, несмотря на риск их повторного разрушения. Стараются лишь при помощи подходящей строительной техники по возможности уменьшить вред нового землетрясения.

В виду всего этого, потрясающее известие о громадной катастрофе, разрушившей 1-го сентября прошлого года Токио и Иокогаму, не было неожиданностью для знатоков дела. В течение не полных трехсот лет своего существования, Токио уже несколько раз было разрушено и несомненно будет и в дальнейшем еще не раз подвержено землетрясениям. Так как и телеграфное сообщение с разрушенными городами было прервано, то в Европе тотчас-же пошли ужасающие слухи о судьбе дальневосточной империи; несколько дней после получения известия о землетрясении, заграничный корреспондент одной крупной берлинской газеты писал, что после этой катастрофы Япония надолго выбывает из ряда великих держав и вряд-ли будет еще играть сколько-нибудь значительную политическую роль. Но теперь получены более точные сведения о размерах катастрофы, а также и снимки с нее, так-что возможно, исходя из географического положения и значения Токио и Иокогамы, дать краткий обзор хозяйственных последствий землетрясения. Мы оставим пока в стороне геологическое об'яснение катастрофы, так как на этот счет нет еще точных указаний.

Токио расположено в глубине морской бухты, там, где цепь японских островов сильнее всего выдвигается на юго-восток и меняет свое направление. Город раскинулся на краю обширной равнины Кванто. С запада и северо-запада долина эта окаймлена мощными вулканами. В хорошую погоду вдали высится величественная вершина Фуджиямы, а на севере виднеется кратер вулкана Ассамаямы, действующий непрерывно с 1911-го г. Между северо-западной и юго-западной группами вулканов тянется горный массив Кванто — нагромождение древних не-вулканических горных пород. Юго-восточная вулканическая группа в виде полуострова Ицу далеко врезывается в море по направлению к Бонинским островам и образует западное побережье Сагамийского залива, вход в который охраняет вулканический остров Ошима. Полуостров Ицу был первоначально таким-же островом, но соединен впоследствии силами нескольких вулканов с главным островом. Подобно соседнему Фуджияма, все эти горы были некогда выдвинуты из моря.

Равнина Кванто — еще молодое геологическое образование, созданное внешними силами. Но и подземные тектонические силы приняли участие в ее образовании; они подняли вверх третичные пласты, создали ряды береговых терасс и заливаемые морем ложбины. На внешней стороне дуги, образуемой японскими островами, третичные пласты и аллювиальные наносы покрывают сильно изорванную местность. Источник действующих здесь подземных сил — скрытый пояс неслежавшихся пластов, расположенный как раз под крайним выступом гирлянды островов. По мнению гейдельбергского географа Шмиттгеннера, которому мы отчасти следуем в дальнейшем изложении, это обстоятельство, быть может, и является причиной столь частых и сильных здесь землетрясений. В твердом горном массиве тектонические процессы — причина землетрясений — оставили бы, вероятно, ясные следы и на поверхности. Но мягкие пласты равнины Кванто заполняют и скрывают образующиеся в глубине тре-

щины и сбросы. Третичные холмистые образования, пласты которых лежали около Токио еще в довольно нетронутом состоянии, обнаруживают на берегу Сагамийского залива сильные сбросы и сдвиги. Эти трещины снова пришли в движение при последнем землетрясении, и разрыв подводного кабеля Иокогамы по всей вероятности зависит именно от сбросов в морском дне. При первом же толчке товарные склады у мола провалились в большую трещину, а при измерении гавани после землетрясения дно залива оказалось на несколько метров глубже, чем раньше. Происходящие в этой местности землетрясения являются, вероятно, последствием постепенного погружения внешнего Токиосского залива и поднятия холмистой области. Это движение продолжается, вероятно, и ныне, и человек бывший свидетелем засыпки старого залива, пережил уже много разных тектонических изменений.

Предоставленная самой себе, эта равнина была-бы болотистым дремучим лесом; ныне-же это одна из наиболее тщательно обработанных и густо населенных областей Японии. С высоты окрестных гор открывается вид на необозримое пространство рисовых полей, землисто-серых, светло-зеленых или золотисто-желтых, смотря по времени года, усеянных темными пятнами поселений. Крупные поселения расположены по краям равнины, или на богато-изрезанном берегу третичной холмистой полосы у Токиосской и Сагамийской бухты.

Полоса дыма и пыли, а ночью отблеск бесчисленных огней указывают на мировой город Токио, нынешний центр японской империи.

В гористой стране, население которой питается рыбой и рисом и стянуто в прибрежной полосе и в небольших горных долинах, область подобная равнине Кванто имеет особо важное значение. Земля здесь целиком взята под обработку; реки и прочие протоки канализованы и приспособлены к орошению полей. Даже с плоского дна Токиосской бухты

добываются с'едобные морские водоросли. Как обширнейшая площадь всей страны, равнина Кванто с ее густым населением приобрела большое политическое значение. Японская народность и японская государственность возникли на западе, у берегов Японского моря, и разрослись затем постепенно все дальше и дальше к северу, по главному острову Хондо; лишь в 10-м столетии она захватила весь остров. Начиная с 11-го века, когда область теперешнего Токио перестала быть окраиной, пограничной областью, равнина Кванто, как главнейший концентрационный пункт населения, приобретала постепенно все большее политическое значение. Власть микадо опиралась на равнинные местности вокруг Киото и Нары и на господство над Японским морем. В равнине же Кванто коренилась власть шогуната. Камакура, на холмистом берегу Сагамийского залива, стала в 1192 г. столицей первого шогуна. В середине 15-го века ее затмила Одавара, расположенная несколько дальше на западе Сагамийского залива, в юго-восточном углу равнины. В силу блестящего под'ема власти шогунов Токугавы, Иеддо, нынешнее Токио, стало крупнейшим городом и центром государства. Токио, расположенное в глубине залива, врезывающегося в равнину почти на пол-длины ее, основано лишь в начале 17-го века.

В истории всех этих городов большую роль кроме огня и меча играли и землетрясения. Одавара была неоднократно разрушаема землетрясениями, а развалины древней Камакуры не раз подвергались налету морских волн, вызванных колебаниями земной коры. Ныне там среди пышной зелени возвышается колоссальная статуя Будды. Два раза уже окружавший ее деревянный храм был смыт во время землетрясений с каменного фундамента волнами прилива, и развалины города целиком исчезали с побережья. Однако землетрясения никогда не возбуждали мысли о перенесении городов на другое место. Они только могли иной раз ускорить падение уже отцветших городов. Решающее значение имели всегда лишь изменения политических и хозяйствен-

ных условий. Токио не раз уже разрушалось и, тем не менее, в правительственных кругах не возникло и мысли о перемещении Токио и Иокогамы после последней катастрофы, хотя об этом и заходила речь в иностранных газетах.

Географическое положение Токио так выгодно, что перенесение города на другое место совершенно немыслимо. Уже положение его как раз в средине узкого, растянутого государства делает его, более чем какой либо другой город, пригодным для столицы. К этому присоединяется еще превосходное в смысле путей сообщения расположение у глубочайшей бухты Тихого Океана, берег которого ограничивает Японию с востока. К тому-же в Токио сходятся важнейшие сухопутные пути, по которым следуют ныне железные дороги. Собственная гавань Токио доступна лишь маленьким плоским баркам, — единственным судам, бывшим в употреблении до 1854 г.; но южная часть бухты отличается большей глубиной, и в ней-то и бросил якорь американский флот, когда он в 1854 г. впервые добился открытия доступа в Японию. Тогдашним властителям Японии было, вероятно, очень кстати, что столица, расположенная у мелкого берега в глубине бухты, никогда не могла-бы быть признана торговым пунктом, открытие доступа к которому могло-бы быть потребовано в договоре. В своем враждебном ко всему иностранному настроении японцы открыли для доступа европейцам и американцам не Канагаву, расположенную у важного морского пути и обладавшую хорошей гаванью, а расположенную в стороне Иокогаму. Ныне японцы предпочли-бы, чтобы глубокий фарватер доходил до самого Токио, и на бумаге давно уже выработан план большой усовершенствованной гавани. Кажется даже, что в правительственных кругах серьезно обсуждался план забросить разрушенную Иокогаму и взамен этого привести в исполнение проектированную Токиосскую гавань. Но затем правительство торжественно об'явило, что и Иокогама будет восстановлена. Погрузка шелка в Америку спустя три недели после катастрофы показала, что грандиозные портовые сооружения частью оста-

лись в целости. Их восстановление потребует меньше расходов и времени, чем постройка новой гавани.

Если бы где нибудь поблизости от Токио на берегу Тихого Океана было найдено безопасное от землетрясений место, то, пожалуй, стоило-бы примириться с некоторыми неудобствами и воздвигнуть столицу на новом, надежном месте. Но все восточное побережье Японии постоянно подвержено землетрясениям и перенесение города ничем делу не помогло-бы. Теперь, когда тектоническое напряжение разрядилось в страшном землетрясении, можно даже предполагать, что эта плодородная область на некоторое время будет более надежным местом, чем какой-либо другой пункт восточного побережья.

До землетрясения Токио насчитывало 2 173 000 душ населения, а Иокогама — 423 000. Оба были большими городами, но в восточно-азиатском смысле слова. Токио при всем «западничестве» было чисто японским городом, между тем, как Иокогама — мировой порт европейско-американского происхождения — носила как город, гораздо более западный отпечаток.

Внешний характер японских городов определяется своеобразными особенностями японского строительства. Японские дома проявляют при землетрясениях гораздо больше устойчивости, чем наши каменные здания. Характерно для этого способа стройки, что дома воздвигаются на свайной раме, вбитой в землю и поддерживающей на четырех деревянных столбах большую крышу первоначально крывшуюся древесной корой, ныне же соломой, тростником, деревом или кирпичем, способную выдерживать сильные порывы тайфуна. Дома эти низки, обычно лишь в два этажа. Крыша, угловые столбы и основная рама так скреплены друг с другом, что можно переместить целиком все здание; особые «домосместители» берут на себя такие пересадки целых домов. Все эти строительные особенности придают японскому дому качества стоячего маятника, упругость которого увеличива-

ется еще эластичностью японского дерева, так-что при землетрясении он хоть и качается по всем направлениям, но не так легко обрушивается. Оклеенные бумагой выдвижные двери и деревянные решетки, разделяют внутренность дома на комнаты. Твердые наружные стены имеются разве только в нижнем этаже, в общем-же их заменяют досчатые рамы, вставляемые лишь зимой или при сильном ветре и дожде. Комнаты выложены опрятными цыновками и почти совершенно пусты. Вместо наших шкафов и сундуков — прочно вделанные ящички и стенные шкафчики; вместо наших стульев— подушки. Японцы спят не в постелях, а в толстых стеганных одеялах, которые раскладываются на полу, а днем убираются в шкаф. Прочно вделанные в стене огнеупорные дымовые трубы в Японии неизвестны. Зимой дома согревают тазами с углем, дым от которого легко находит выход в сквозном доме. Даже на кухне обходятся открытым очагом. И в общей сложности землетрясение, оставляющее в целости крыши домов, не причиняет особого вреда, если только огонь не перескочит из кухонного очага или грелки с углями на легкую постройку из дерева и бумаги.

И на этот раз, как при каждом землетрясении, раздутый тайфуном огонь причинил больше всего вреда. Но благодаря электрическому отоплению и освещению, нашедшим уже довольно широкое распространение, удастся, вероятно, значительно уменьшить в будущем опасность со стороны огня.

Эта своеобразная стройка, крайне целесообразная в богатой землетрясениями стране и отчетливо выражающая простую, но высокую материальную культуру японцев, придает японским городам совсем особый характер. Перед зрителем расстилается необозримое море низеньких, темных крыш, над которыми там и тут внезапно вырастают каменные здания в европейском стиле. Вид этот не особенно величествен и выстроенные на европейский лад общественные здания, школы, театры, торговые дома и музеи также не придают ему красоты. Кое-где выступают изогнутые, но простые по

форме крыши буддийских храмов, часто окруженные зеленью великолепных храмовых рощ. Все это серо и однотонно; но зелень маленьких садиков, имеющихся даже в самом центре города, придает картине некоторую приветливость. При своем многочисленном населении и низких постройках город занимает громадную площадь. Своеобразное впечатление производят высокие мачты электрических проводов: высоко над уровнем домов, перегруженные проводами, следуют они вдоль улиц. В наших городах все это исчезает среди высоких построек, здесь-же ни крыши, ни легкие стены домов не в состоянии выдержать их тяжести. Этим обусловливается оригинальный вид японских городов, оплетенных сверху сетью проволок. Подземный толчок, конечно, опрокидывает эти мачты, повреждая при этом окружающие дома, и потому легко понять, что всякое телеграфное сообщение бывает прервано после катастрофы.

Токио расположено на правом берегу Сумидагавы, небольшой речки, выходящей из гор Кванто. У ее устья расположена старая гавань, а в самом центре города — резиденция шогунов, превращенная в 1864 г., по восстановлении светской власти микадо, в его резиденцию. Центр города группируется вокруг дворца и простирается до реки и до бухты. Город давно уже разросся за пределы старых укреплений, перекинулся на другую сторону реки и простирается ныне далеко на север, запад и юг. В центре города улицы все еще следуют в основных чертах первоначально продуманному плану застройки; в пригородах же они вьются пестрой запутанной сетью. Главные улицы сильно расширены за последние десять лет и могли-бы вместить еще больше уличного движения. Они снабжены трамвайными линиями и содержатся в большой чистоте, но лишь в отдельных частях мощены или асфальтированы. У старой гавани, потерявшей почти всякое значение, расположена деловая часть города в своем роде City. Население живет здесь очень тесно; здесь же расположены два главных вокзала, соединенные центральной торговой улицей.

Сердце города, как упомянуто, — императорский дворец. В широкой зеленой полосе вокруг него расположены здания отдельных министерств и иноземных посольств. Сам дворец окружен двойным рвом и валом; увенчанный стеною вал одет снаружи зеленым газоном, живописно изогнутые сосны выдвигают свои ветви из-за зубцов. От самого дворца снаружи мало видно, хотя внешний пояс ограды открыт для доступа публики. Фабричная промышленность занимает северную и восточную части города. Жилые кварталы знати и богачей расположены за пределами старого города, главным образом на юго-западе, на низких холмах.

Страшное землетрясение 1-го сентября 1923 г. в несколько мгновений превратило цветущий город в груду развалин. В то время как рушились дома и густое облако пыли покрывало страшные сцены ужаса и горя, огонь взвился на развалинах, находя богатую пищу в грудах дерева и бумаги. Разбойничьи банды из подонков населения бродили между разрушенными и покинутыми домами. Всякое сообщение с внешним миром было прервано, рельсовые пути и прочие дороги разрушены, все окрестные поселения на много верст кругом также пострадали от землетрясения. Вызванные на помощь войска должны были продвигаться пешком. Население либо бежало в ужасе из этого ада, либо толпилось на открытом месте вокруг мало пострадавшего императорского дворца между развалинами общественных зданий. Разрушение оказалось, впрочем, не таким чудовищным, как указывалось в первых сообщениях. Однако больше половины города совершенно разрушено. По приблизительному подсчету погибло около 400.000 домов, и около полутора миллиона людей осталось без крова.

Токио представляет теперь лишь груду развалин, но патриотичные японцы уверяют, что новое Токио будет еще больше и красивее. Судя по всему, оно будет довольно похоже на старое. Распланировка останется в общих чертах та-же. Императорский дворец в центре, река, каналы и мор-

ской берег определяют сами собой основные линии плана. Окрестности вокзалов и старой гавани останутся, вероятно, деловой частью города, на обширном пространстве вокруг дворца вырастут опять министерства и посольства. В предместьях многое может быть коренным образом изменено, но общее расположение жилых и промышленных частей города останется тем-же. Очень выгодно было-бы для города, если бы землетрясение очистило место для нового центрального вокзала. Это землетрясение еще больше утвердит японцев в их способе постройки и окажет благоприятное влияние на электризацию города для уменьшения пожарной опасности. При стройке каменных зданий, неизбежных для многих целей, будет несомненно обращено особое внимание на устойчивость против земных толчков, что было бы особенно важно для музеев, хранящих незаменимые сокровища.

Иокогама, как сказано, имела в общем более европейский характер, нежели Токио и оказалась, судя по всему, над самым очагом землетрясения, которое поэтому произвело здесь гораздо большие опустошения. История города, развившегося из предоставленной иноземной торговле гавани, отражается во всем его характере. Как и в Кобэ, возникшем тем-же путем, в отдельных частях города преобладают громадные постройки европейского стиля. У вокзала и у гавани, где расположились европейские фирмы, и на холме, на котором живет большинство европейцев, стояли почти исключительно европейские постройки. Главная улица, тянущаяся вдоль гавани, могла бы, по своему внешнему виду лежать в любом приморском городе Европы, а европейский квартал совсем напоминал элегантное английское предместье с его домами-виллами. Но кварталы, окружающие гавань, носили чисто японский характер. Землетрясение разрушило прежде всего построенную на европейский лад деловую часть города и элегантные виллы европейцев. Торговые дома и громадные каменные отели обрушились совершенно. В японской части города особенно пострадали, кажется, прорезанные каналами

деловые кварталы около гавани. Из 125 000 домов разрушено или сгорело приблизительно 100 000, уцелели же по всей вероятности главным образом легкие, маленькие хижины крайних предместий. В общем же Иокогама разрушена, повидимому, основательнее чем Токио, пострадавшее не столько от землетрясения, сколько от огня. Новая Иокогама будет, вероятно, носить тот-же характер, что и прежний город. Европейские и американские фирмы и пароходные компании воздвигнут снова большие дома, но на этот раз, надо надеяться, из устойчивого железо-бетона, который, как говорят, хорошо зарекомендовал себя в Америке.

Вулкан Фуджияма, этот символ Японии, сильно изменил при землетрясении свой внешний облик. По полученным сведениям, кратер его с одной стороны обвалился от подземных толчков. Это указывает на то, что прошлогоднее землетрясение следует считать самым сильным из всех, случившихся в Японии с незапамятных времен. По статистике японского военного министерства насчитывается убитыми 99 375 человек, из них 68 251 в Токио, 29 238 в Иокогаме. Пропавших без вести и вероятно убитых насчитывается 42 890, всего значит, не полных 150 000. Эта потеря людьми, по сравнению с чудовищными потерями мировой войны, невелика, и при большой плодовитости японского народа убыток этот не играет большой роли. Гораздо значительнее для государства хозяйственные последствия землетрясения; громадные ценности погибли при этой катастрофе; множество товаров и запасов уничтожено, фабрики, заводы, пути сообщения разрушены или приведены в негодность, но население стойко перенесло это страшное несчастье и принялось мужественно и энергично за восстановление потерянного. Сначала паника была, конечно, очень велика, сотни тысяч народа бежали из угрожаемых местностей. Но в общем японцы лучше европейцев переносят массовые несчастья и хорошо умеют приспособляться к данным условиям. Эта черта характера, несомненно, развилась под влиянием крупных катастроф: землетрясений, наводнений, тайфунов и пожаров.

В общей сложности можно, значит, сказать, что Япония, несмотря на разрушение Токио и Иокогамы, осталась попрежнему государством, крепко спаянным в военном и хозяйственном отношениях, и будет, как таковое, всегда играть важную роль в Тихом Океане. Это ее положение только в том случае могло-бы быть поколеблено, если бы англо-саксонские государства тотчас после землетрясения начали превентивную войну против Японии. Внешне-политическое положение Японии было как раз очень выгодным, после того, как Вашингтонская конференция окончилась благоприятно для Японии. Морские и сухопутные военные силы Империи едва-ли ослаблены землетрясением, хотя разрушение военного порта Иокосака и является чувствительной потерей для флота. Сельское хозяйство совсем не пострадало, да и промышленность не очень тяжело затронута, так как оба разрушенные города не были собственно промышленными центрами. Хлопчато-бумажной промышленности придется на некоторое время ограничить свой вывоз, так как по слухам пятая часть всех машин разрушена. Вывоз шелка почти не пострадал, банки могли уже несколько дней после катастрофы возобновить свои операции. Правительственный аппарат остался непоколебленным, и новое министерство, составленное из лучших умов Японии, было немедленно призвано для работ по восстановлению. Тем не менее потери, в особенности разрушенными и сгоревшими памятниками искусства, необычайно велики. Императорская библиотека с ее 700 000 томов погибла целиком. Общий убыток оценивался в начале декабря в 7—10 миллиардов иен, т. е. в 2% всего народного достояния.

И у Японии есть теперь своя «проблема восстановления». Финансовые силы страны будут, вероятно, на много лет связаны ею. От мысли восстановить все исключительно собственными силами, японцы, однако, отказались и намереваются теперь заключить заграничные займы, т. к. кредит Империи не пострадал. Около 300 миллионов долларов должны быть, по плану, собраны в Лондоне и Нью-Йорке.

Восстановление разрушенного поглотит громадное количество всяких материалов; в строительных материалах, особенно в дереве, будет колоссальная потребность. 1 300 железнодорожных вагонов сгорели, приходится строить заново трамвайные линии, фабрики и заводы. На первое время придется сооружать временные деревянные постройки, т. к. после катастрофы около полутора миллиона людей осталось без крова. Вместо агрессивной внешней политики недавнего прошлого силы Японии на несколько лет будут целиком поглощены работами по восстановлению разрушенного.

Проф. Гарри Шмидт

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕПОДВИЖНЫХ ЗВЕЗД

Перевод с рукописи

Как ни богато современное естествознание всевозможными проблемами, встречающими живой отклик в самых широких кругах, — вопрос о судьбах звезд все же занимает среди них первое место. И на самом деле, в высшей степени заманчиво вдумываться в загадку рождения и смерти небесных светил, пытаться применить идею эволюции к этому бесконечному множеству солнц, в безмолвном величии сияющих в ночном небе. Уже с давних лет человечество занимается подобными космогоническими размышлениями. Возвышенность задачи и свобода в обработке, которую она допускает, привлекали фантазию и изобретательность мыслителей всех веков и дали богатую цепь теорий с многочисленными яркими и нередко странно-причудливыми звеньями. Своеобразная глава истории культуры открывается перед нами в этих идеях о происхождении и судьбе миров, и если большинство из них и не удовлетворяет уже современным требованиям науки,то самое углубление с помощью их в дух времен доставляет немало возвышенных минут.

Но не этот обзор достижений прошлого, а лишь изложение современных воззрений является предметом данной статьи *). И не о возникновении вселенной, не о начале и конце ее мы будем говорить **) — мы ставим себе более скромную цель, ограничимся теми вопросами, точное исследование которых возможно, именно вопросами о течении жизни звезд.

Быть может, сначала покажется странным, что о неподвижных звездах вообще можно что-либо достоверно утверждать. Ведь каждому хорошо известно, что нас отделяют от них чудовищные расстояния, в преодолении которых должна отчаяться самая смелая фантазия. Для изучения солнца, луны и планет ценным вспомогательным средством являются подзорные трубы и телескопы. Неподвижные же звезды продолжают оставаться лишь светящимися точками, даже если их рассматривать в самые сильные трубы. Прямым путем тут, следовательно, ничего не поделаешь. Приходится искать другого способа. Но большого выбора у нас

---

*) От подобного обзора мы тем более можем отказаться, что блестящее изложение всей истории развития этих идей мы имеем в книге известного шведского астронома и физика Сванте Аррениуса. (Svante Arrhenius: «Die Vorstellung vom Weltgebäude im Wandel der Zeiten». Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig. Preis geb. 6 Mk.). В захватывающем, общедоступном изложении, автор постепенно ведет нас в своей книге от преданий дикарей и легенд о сотворении мира древних культурных наций к учениям греческих философов, ученых средневековья и новейшего времени вплоть до современных воззрений. Знакомство с этой книгой горячо рекомендуется нашим читателям.

**) Интересующимся подобными вопросами можем рекомендовать также другую весьма ценную книгу Сванте Аррениуса «Происхождение миров» («Das Werden der Welten». 7. Aufl. 1921. Akad. Verl. Leipzig. Preis geb. Mk. 6,40). Аррениус является представителем того взгляда, что течение мировых процессов носит цикловый характер: путем случайного столкновения двух потухших звезд, получается т. наз. туманность, которая затем, постепенно уплотняясь, дает новые солнца. Книга богато иллюстрирована рисунками и замечательными фотографиями звездного неба.

и нет: ведь единственно, что доходит до нас от звезд, это лучи света, которые делают звезды для нас заметными. И свет хороший рассказчик: не только о солнце и о других мирах он многое рассказал нам, но и долго хранимую тайну о строении атомов и о структуре молекул он выдал недавно, когда гениальные исследователи сумели правильно поставить ему вопрос. От него мы ждем еще много научных откровений, и без большого преувеличения можно сказать, что современные физики в первую голову являются исследователями света.

Со времен Ньютона известно, что луч, который нам посылает солнце, не однороден, но состоит из бесчисленного множества различных лучей, которые, будучи восприняты каждый в отдельности, производят на наш глаз впечатление различных окрасок. Обычно мы этого смешанного характера «белого» луча не замечаем. Но если тем или иным способом достигнуть разложения его, т. е. разделить на отдельные лучи, то мы увидим цветную полосу. Как известно, это получается, например, при пропускании тонкого пучка лучей, идущего из узкой щели, сквозь стеклянную призму. При вхождении в призму, каждый луч изменяет свое направление, преломляется; при выходе из призмы происходит вторичное отклонение. При этом разные виды лучей преломляются различно, — одни больше, другие меньше; и в результате узкий белый пучок света оказывается растянутым в значительно более широкий пучок, в котором различные лучи пространственно разделены друг от друга. Если на пути этого пучка поставить белый экран, то мы увидим на нем широкую пеструю полосу — солнечный спектр, представляющий ничто иное, как бесчисленное множество цветных изображений щели, непрерывно следующих друг за другом. Спектр этот поэтому называется непрерывным, или сплошным.

Человеческий глаз обладает способностью различать эти лучи, хотя и в ограниченной степени, по их цвету. В чем же

заключается причина того, что один луч воспринимается нами, как красный, другой — как синий, третий, наконец, как желтый? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, конечно, знать, что вообще представляет из себя свет. Трудный вопрос, решение которого не раз казалось уже столь близким, но который каждый раз раскрывался перед нами в еще более сложной форме, и об окончательном разрешении которого и в настоящее время не может быть речи. Он скрывает целую бездну загадок, о которой профан не может составить себе никакого представления. Но для той цели, которую мы себе поставили, полного разрешения этого вопроса и не нужно: нам достаточно знать что свет представляет колебательное движение. Простейшую картину такого движения дают нам волны на поверхности стоячей воды, вызванные брошенным камнем. При этом, как известно, образуются гребни и впадины, и расстояние между вершинами двух соседних гребней, или — что то же самое — между наиболее низкими точками двух соседних впадин — называется длиною волны. Свет также можно представить в виде волнообразного движения, причем различные лучи обуславливаются различной длиной волны. Фиолетовые цвета имеют наименьшую длину волны (397 миллимикрон или ок. 4-х стотысячных сантиметра), красные — наибольшую (762 миллимикрон или ок. 8-ми стотысячных см.), желтые же и зеленые цвета — среднюю длину волны. Чем больше длина волны, тем меньше преломляется соответствующий луч при прохождении через стекло, и этим об'ясняется возможность разложения смешанного света на его составные части. Белый солнечный свет представляет именно такую смесь световых лучей с волнами различной длины, и спектр его дает нам непрерывный ряд цветов, в котором нет промежутков.

С тех пор, как Прометей проник в царство богов и принес оттуда огонь на землю, человечество не переставало изобретать искусственные источники света, которые вместе с развитием техники, получали непрерывное усовершенствование.

И их свет также можно пропускать через призму и, таким образом, узнавать его состав. При этом оказалось, что спектры их обнаруживают почти всегда большое сходство со спектром солнца: и тут спектры сплошные, дающие непрерывный ряд цветов. Но большинство наших источников света, в сущности, представляют ничто иное, как тем или иным способом раскаленные твердые тела. Так пламя свечи, или керосиновой лампы образуется бесчисленными ярко светящимися частичками угля. При газокалильном освещении раскаляется масса, из которой сделана Ауэровская сетка, в электрической лампочке — металлическая нить. Везде, следовательно раскаленное вещество в твердом состоянии, и везде свет с непрерывным спектром. Это связь не случайная. Опыт показывает, что все твердые и жидкие тела при достаточно высокой температуре светятся светом, спектр которого непрерывен. Это положение имеет основное значение, требует, однако, существенных дополнений, которые мы лучше всего раз'ясним на следующем примере: если кусок железа все сильнее нагреваясь, начинает раскаляться, то, как нам известно, при температуре, приблизительно, в 700° он доходит до красного каления. При возрастании температуры, свет этот делается более интенсивным, переходит при температуре в 1000° в желтое каление, а приблизительно при 1200° — в белое каление. Если при этом непрерывно следить за спектром испускаемого железом света, то можно сделать следующее важное наблюдение: хотя спектр остается сплошным, и яркость его, в общем, все время возрастает, — однако это возрастание яркости происходит в разных частях спектра различно. В то время, как при сравнительно низких температурах наиболее яркое место спектра лежит в красном конце, оно при возрастании температуры постепенно передвигается в области более коротких волн. Но самое яркое место, естественно, в каждом случае будет находиться там, куда попадает больше всего лучей. Из этого следует, что тело, находящееся в состоянии красного каления, испускает преиму-

щественно красные лучи, и это делает понятным его красный свет. Только при вполне определенном составе, свет производит на наш глаз впечатление белого света; если же красные лучи преобладают, то свет начинает сам казаться более или менее красноватым. Когда, при повышении температуры, место наибольшей яркости переходит в область желтых лучей, т. е. железо начинает испускать преимущественно желтые лучи, — красное каление переходит в желтое. И только при еще более сильном накаливании место наибольшей яркости занимает, наконец, то положение в спектре, при котором получается впечатление белого каления.

Всматриваясь внимательно в звезды, мы можем заметить, что одни из них светятся белым, другие желтоватым, третьи — красноватым светом. Не напрашивается ли само собой предположение, что и тут различный свет обусловлен различными температурами? И что звезды суть раскаленные массы, находящиеся в состоянии белого, желтого, или красного каления? Чтобы проверить это предположение, необходимо исследовать спектры того света, который посылают нам звезды. То, что нас интересует в данном случае в этих спектрах, это различие в яркости разных частей спектра: мы знаем уже, что положение места наибольшей яркости указывает на степень раскаленности источника света. Подобные измерения должны быть выполнены с величайшею точностью и, на основании вполне определенной зависимости между яркостью отдельных участков спектра и температурою источника света, дают возможность вычислить температуру звезд. Полученные таким образом результаты сводятся к тому, что белые звезды в среднем имеют температуру около 10.000°, желтые в среднем — около 6000° и красные — в среднем около 3500°.

Эти числа пробуждают в нашем сознании первое представление о течении жизни звезд. Раскаленные массы движутся в мировом пространстве, непрерывно излучая громадные количества энергии. Неизмеримо богатые запасы тепла несут они с собою, вероятно пополняя убыль новыми

количествами его, — но в конце концов эта безмерная расточительность должна сказаться; необходимо должно наступить охлаждение, переход к более низкой ступени раскаленности. Звезда, которая некогда была белой, становится желтоватой, желтая красноватой, красной; все ниже и ниже падает ее температура, последний свет ее угасает — одно из солнц потухло. Темная, застывшая масса продолжает свой путь, навстречу неизвестным случайностям...

Но вернемся к спектру звезд, который должен еще много рассказать нам. Прежде всего наводят на размышление приведенные выше температуры звезд. Ведь в то время, как при наших лабораторных опытах различные твердые и жидкие тела достигают белого каления уже при температуре приблизительно в 1200°, звезды, даже при температурах свыше 3000° кажутся нам еще красными. Об обыкновенном красном калении здесь, очевидно, не может быть и речи. Откуда же в таком случае, красный цвет звезд?

Говоря выше о спектрах звезд, мы не без намерения умолчали о том, что спектры эти, получаемые при помощи сильных спектроскопов, отнюдь не являются сплошными. В них отсутствуют определенные — часто довольно большие — участки, вследствие чего они как бы состоят из отдельных частей, разделенных темными промежутками. Так как в спектроскопе каждый вид лучей располагается в строго определенном месте, появление темных полос можно об'яснить тем, что соответствующие лучи вообще отсутствуют в свете звезд. Но чем об'яснить это странное явление?

Для того, чтобы дать ясный ответ на этот вопрос, нам придется начать издалека. Но мы будем щедро вознаграждены за этот труд, потому что именно темные места в спектрах звезд дадут нам все сведения, необходимые для полной картины развития неподвижных звезд.

Все, что мы до сих пор говорили о спектрах, относилось к спектрам света, который испускается в раскаленном состоянии твердыми или жидкими телами. Однако, и газы можно

заставить светиться, — например, наполнив тем или иным сильно разряженным газом Гейслерову трубку и пропустить через нее электрический разряд. При этом газ распространяет великолепное свечение. Существует еще целый ряд способов, с помощью которых можно заставить светиться раскаленные газы; спектры последних нас именно и интересуют. Они состоят из отдельных светлых линий, находящихся на больших или меньших расстояниях друг от друга и резко выступающих на черном фоне. Поэтому их, в отличие от сплошных спектров, называют линейчатыми. Каждая линия соответствует какому-нибудь одному виду лучей вполне определенной длины волны, которая и может быть измерена с помощью спектроскопа.

Подобные измерения чрезвычайно важны. Дело в том, что каждый газ обладает особым спектром, отдельные линии которого появляются всегда, когда данный газ содержится в источнике света. Так напр., если нужно установить, содержит-ли имеющаяся на лицо смесь газов — водород, то нужно лишь соответствующим образом раскалить эту смесь, провести появляющийся при этом свет через спектроскоп и посмотреть, имеются-ли в ее спектре характерные для водорода линии. А так как достаточно уже весьма незначительного количества газа, чтобы проявить по крайней мере наиболее яркие линии его спектра, то указанный способ представляет собою чрезвычайно чувствительный способ установления присутствия тех или иных газов.

Согласно исследованиям химической науки прошлого столетия вся масса веществ, как известно, распадается на две большие группы, именуемые химическими элементами и химическими соединениями. Химический элемент подразумевает собою такое вещество, из коего ни под каким видом нельзя выделить более простых веществ, тогда как химические соединения представляют собою сочетание определенных химических элементов, из которых можно создать эти соединения химическим способом, или же на которые можно снова

разложить их особыми способами. Каждый химический элемент, в виде газа доведенный до свечения, испускает лучи с волнами различной длины и, стало быть, дает в спектроскопе свой особый спектр линий. Во многих таких спектрах значительное количество отдельных линий соприкасается настолько близко, что они расположены рядом почти без интервалов и дают вследствие этого сообща более или менее широкую ленту цветов. Явление это принято называть ленточным спектром, и таким образом приходится теперь уже различать три разных рода спектров, существенные приметы коих, повторяем, могут быть охарактеризованы следующим образом: сплошные спектры, получаемые от раскаленных твердых или жидких тел, состоят из одной сплошной полосы цветов, представляющей собою сочетание всех лучей, вообще доступных зрению человека. Получение ленточных спектров из сплошного спектра можно представить себе таким образом, что из них удаляются определенные, различные для каждого ленточного спектра области цветов; следовательно они состоят их нескольких отдельных цветных лент определенной ширины, отделяемых одна от другой темными промежутками. Наконец, линейчатые спектры могут быть рассматриваемы как частичные проявления ленточных спектров в том смысле, что в данном случае вместо более широких лент появляются весьма узкие, резко очерченные отдельные линии, из коих каждая состоит преимущественно из одного вида лучей с определенной длиной волны. Ленточные и линейчатые спектры появляются у раскаленных газов и паров, при чем в частности каждый определенный химический элемент характеризуется своим особым спектром. На значение этого факта нами было вкратце указано уже раньше. Он представляет собою основу так называемого спектрального анализа, т. е. способа распознания химического состава любого вещества, состоящего в том, что добываются пары данного вещества и затем производится исследование спектра пара посредством спектроскопа, чтобы установить, какие появля-

ются в нем линии. Так как спектры важнейших химических элементов хорошо известны, то имеется возможность установить с большой точностью наличие тех или иных элементов, хотя бы в самом минимальном количестве.

Продолжая наши пояснения, мы находим наиболее целесообразным перейти к вопросу о том, что происходит с белым светом солнца, падающим на тот или иной предмет. Происходящие при этом явления вовсе не так просты. Дело в том, что часть света немедленно отражается назад от поверхности тела, остальной свет проникает во внутрь его. Предположим сначала, что речь идет о прозрачном теле, как напр., стекле красного цвета; тогда более или менее значительная часть проникшего света с противоположной стороны стекла снова выступает наружу. Проведем этот пропущенный через красное стекло свет в спектральный аппарат, чтобы увидеть образуемый им спектр. Что же получилось? Определенный ленточный спектр, именно спектр, в котором совершенно отсутствуют многие области цветных окрасок. Прежде всего остались темны места зеленых лучей, и лишь в области красного света наш спектр проявляет заметную яркость. Приходится, повидимому, предположить, что красное стекло избрало себе из совершенно белого на него упавшего света, определенные лучи и поглотила их, пропустив остальные лучи почти без остатка. Так оно и есть на самом деле, и лишь благодаря этому обстоятельству нам становится вообще понятным красный цвет стекла, ибо, если оно не отражает полностью упавший на нее белый свет, а поглощает (как выражается физика) определенные лучи, то конечно, выпускаемый из тела остаток света не может уже показаться нашему зрению белым. Для этого требовалась бы совокупность всех видимых лучей в определенном количественном соотношении; если же части этих лучей не хватает, то оставшийся свет никогда не будет белым, а предстанет перед нами как смешение определенных количественных соотношений оставшихся лучей. Таким образом мы

установили, что окраска прозрачных тел обусловливается п о г л о щ е н и е м с в е т а. Но как обстоит дело с непрозрачными телами? Ведь и они всегда имеют определенный цвет! Является ли поглощение световых лучей и здесь причиной? Нетрудно понять, что предположение это вполне правильно. Подобно тому как на поверхности каждого тела происходит отбрасывание, или выражаясь более ученым языком — отражение света, то тоже самое происходит со слоями тела, расположенными непосредственно под его поверхностью. Они также отражают часть падающего на них света и, стало быть, отбрасывают ее обратно к поверхности тела, так что некоторая доля этого света вновь исходит от тела и, при известных условиях, может сделаться доступной нашему зрению. Однако, этот свет проходит некоторый путь внутри тела, как вперед, так и назад, и при этом, конечно, тело проявляет свойственную ему способность поглощения. Следовательно, оно удержит те лучи, к которым оно более всего тяготеет. На свободу же может выйти остаток света, не поглощаемый телом — именно свет с ленточным спектром, иначе говоря, не белый, а какой либо цветной. Таким образом мы можем теперь уже в общих чертах формулировать факт, что каждое тело обладает способностью более или менее сильно поглощать определенные лучи, и проявлять эту способность каждый раз, когда в него проникает тот или другой свет; далее, что эта способность поглощения является причиной проявления того цвета, который кажется свойственным данному телу для нашего зрения. Если какое либо тело имеет свойство поглощать без остатка весь падающий на него свет, независимо от цвета этого последнего, то это тело, конечно, не будет отражать от себя никакого света. Отсутствие же света равносильно темноте, и о телах, которые остаются темными несмотря на падающий на них свет, мы говорим, что это черные тела. Наоборот, если другое тело поглощает все лучи хотя и равномерно, но не сполна, то вновь выходящий из него свет должен содержать беспрерывную цепь всех видимых лучей в том же количе-

22*

ственном соотношении, в каком они существовали до проникновения в данное тело. Стало быть, оно будет отдавать белый свет, однако, более или менее пониженной яркости. Наше зрение поэтому увидит тело в белом или сером цвете, в зависимости от яркости. Между чистой белизной и глубокой чернотой существуют всевозможные переходы, и мы хорошо знаем, что на самом деле возможна любая промежуточная ступень.

Следя за этими соображениями, читатель, вероятно, невольно представлял себе твердые или жидкие тела, когда речь шла о цвете того или иного тела. Как же обстоит дело с газообразными веществами? Для нашего зрения воздух невидим, стало быть, бесцветен; то же относится и к водороду, углекислоте, кислороду и ко многим другим газам, тогда как, вероятно, всякому знаком желтозеленый цвет хлора, и фиолетовый цвет паров иода. Возможно ли, что и тут причиной окраски является частичное поглощение света? Это легко проверить. Пропустим белый луч соответствующего источника искусственного света еще до его вступления в спектральный аппарат через достаточно толстый слой паров иода, где он обычным путем разложится на свои составные части. Тогда опять получится типичный спектр, служащий ясным доказательством способности поглощения у паров иода. Спектр этот даст большое количество темных линий, расположенных довольно близко одна от другой в желтых и зеленых областях спектра. Эти линии служат, конечно, доказательством лишь того, что способность поглощения паров иода распространяется лишь на некоторые лучи с определенной длиной волн. Это должно обратить на себя наше внимание тем более, что, как мы уже знаем, каждый газ, тем или иным способом испускающий свет, дает всегда линейчатый или же ленточный спектр, а следовательно способен испускать лишь отдельные определенные лучи. Таким образом, повидимому, существует некоторая связь между способностью газа испускать свет или, как выражается физика,

способностью лучеиспускания и его способностью поглощения, ибо в обоих случаях соответствующие спектры — с одной стороны так наз. спектры испускания, с другой стороны так наз. спектры поглощения — характеризуются появлением единичных, расположенных в определенных местах линий. Описание весьма поучительного опыта нагляднее всего покажет эту действительно тесную связь. Если в обыкновенной горелке Бунзена, применяемой в каждой химической лаборатории, испарить немного металлического натрия, и затем рассмотреть красиво светящиеся пары через спектроскоп, то будет виден спектр, состоящий только из одной, чрезвычайно резкой узкой линии в определенном месте желтой области спектра. Соответствующую этой линии длину волны можно, конечно, легко установить при помощи спектрального аппарата, но эта величина в данном случае нас совершенно не интересует. Нам требуется лишь узнать, что раскаленные пары натрия дают свет, состоящий из однородных лучей с совершенно определенной длиной волны, и что поэтому их спектр дает только одну желтую линию. Изменяя условия опыта, мы ставим электрический дуговой фонарь возможно большой силы света таким образом, чтобы его свет проникал в спектроскоп, пройдя предварительно через раскаленные на Бунзеновской горелке пары натрия. Если бы этих паров не было, то свет дугового фонаря дал бы совершенно сплошной спектр. Теперь же мы получаем спектр, который на первый взгляд также кажется сплошным, но который при более внимательном изучении весьма существенно отличается от сплошного. Как раз в том самом месте, где ранее описанный спектр испускания паров натрия показал яркую желтую линию, теперь ясно видна темная линия. Темные же линии указывают на поглощение, и таким образом наш опыт показывает, что пары натрия, будучи освещенными тем или иным посторонним светом, поглощают исключительно лишь такие лучи, которые они сами способны отражать. То же положение относится и ко всем газам и парам: их спектр поглощения всегда

является, так сказать изнанкой их спектра испускания. В виду этого для целей вышеуказанного спектрального анализа спектры поглощения газообразных веществ применимы с тем же успехом, как и спектры испускания, факт, из которого мы немедленно сделаем весьма значительные выводы.

Спектр солнечного света мы до сих пор всегда рассматривали, как совершенно сплошной спектр. Действительно, в нем трудно обнаружить интервалы, если для его получения пользоваться обыкновенной стеклянной призмой. Дело, однако, меняется, если разложить солнечный свет на его отдельные составные части при помощи более или менее крупного спектроскопа. Тогда мы сразу увидим, что на самом деле весь солнечный спектр испещрен весьма многочисленными темными линиями, которые в одном и том же спектроскопе появляются все в одних и тех же местах, и которые именуются линиями Фраунгофера. Возникновение этих линий станет сразу понятным, если принять во внимание, что на основании распределения яркости по отдельным местам солнечного спектра и при помощи уже ранее указанных соотношений температура солнца может быть исчислена по крайней мере в 6000°. При этой температуре, конечно, все находящиеся на солнце химические элементы должны превращаться в газообразное состояние, так что вокруг самого раскаленного ядра солнца образуется огромная оболочка из горячих газов. Испускаемый внутренним ядром свет в основе своей дает чистый сплошной спектр. Этим, однако, не сказано, что солнечное ядро представляет собою твердую или жидкую массу. Дело в том, что и газы, как известно, при известных условиях могут дать сплошной спектр испускания. Поэтому сплошное лучеиспускание солнца, равно как и неподвижных звезд поучает нас лишь тому, что эти небесные тела состоят из больших, сильно накаленных масс, но это лучеиспускание не дает разрешения вопроса, находятся ли эти массы в твердом, жидком или газообразном состоянии. Так как свет прежде чем отойти

от солнца и дойти до нас, должен пройти через этот огромный слой газов, то каждый из этих газов проявит присущую ему способность поглощения. Таким образом, задерживаются предпочитаемые этими газами лучи и, поэтому, пропущенный ими свет должен дать определенный, правда, весьма сложный спектр поглощения. Вышеуказанные Фраунгоферовы линии в солнечном спектре поэтому в своей совокупности — найдено уже более 20 000 линий! — представляют собою наслоение отдельных спектров поглощения всех тех химических элементов, которые находятся в газообразной наружной оболочке солнца. Тем самым они дают нам возможность, исследовать с земной поверхности природу этих элементов. Ибо с одной стороны тщательные и длительные лабораторные опыты ознакомили нас с спектром испускания каждого химического элемента, а с другой стороны мы знаем из предыдущего, что светлые линии этих спектров испускания в отношении расположения в точности совпадают с темными линиями соответствующих спектров поглощения. Таким образом, при сравнении спектра испускания того или иного элемента с линиями солнечного спектра, можно установить, находится ли данный элемент в атмосфере солнца или нет. Наличие на солнце более половины известных нам химических элементов таким путем уже установлено с полной уверенностью. Так как, по причинам, здесь не подлежащим обсуждению, пока нет возможности отнести довольно большое количество дальнейших Фраунгоферовых линий к определенным элементам, то вряд ли можно сомневаться в том, что на солнце имеются и остальные элементы. Невозможность отожествления всех Фраунгоферовых линий прежде всего об'ясняется тем, что характер спектра, получаемого от того или иного химического элемента зависит не только от его химических свойств, но и от физического состояния, в котором он находится. Другими словами, один и тот же химический элемент, находясь в различных физических состояниях, может давать совершенно разнородные спектры. Эта зависимость спектров от физического состояния весьма

подробно выяснена современной теорией атомов Н. Бера. Мы вернемся к этим вопросам в другой статье в связи с другими вопросами.

Таким образом, по всей вероятности, солнце и земля состоят из одних и тех же основных веществ — познанием какового факта мы обязаны исключительно чудесным свойствам света.

Спектры неподвижных звезд являются также спектрами поглощения, представляющими собою предмет наших сегодняшних изложений. Таких спектров имеется весьма много, и если они в частностях проявляют разнообразнейшие отклонения, то при более внимательном рассмотрении станет очевидным, что вся совокупность неподвижных звезд в отношении общего характера их спектров без труда может быть разделена прежде всего на четыре класса. Первый из этих классов состоит из звезд, спектры которых содержат преимущественно немногочисленное количество темных линий, в первую голову линий химического элемента водорода, причем эти линии сравнительно довольно широки. Ко второму классу относятся звезды, спектры которых схожи со спектром солнца, стало быть испещрены многочисленными отдельными линиями поглощения. У звезд третьего класса в спектре появляются многочисленные довольно широкие ленты и, наконец, звезды четвертого класса отличаются прежде всего тем, что в их спектрах почти совершенно отсутствуют синие и фиолетовые части.

Если выше мы высказывали удивление по поводу того, что температура красных звезд превышает 3000°, тогда как обычное красное каление замечается лишь при температуре ниже 1000°, то этот факт легко станет понятным, если мы узнаем, что при вышеперечисленном подразделении звезд в зависимости от их спектров к первому классу относятся исключительно белые, ко второму исключительно желтые, к третьему — исключительно красноватые, и наконец, к четвертому классу исключительно красные звезды. Поэтому цвет

звезд отнюдь не представляет собою чистого цвета каления, а обусловливается в значительной мере явлениями поглощения, происходящими в атмосфере данной звезды. Ибо хотя напр., звезда с температурой в 3000° первоначально испускает свет со сплошным спектром, то этот свет в атмосфере звезды — как и видно по спектру красных звезд — почти совершенно утрачивает свои синие и фиолетовые составные части. Остаток света поэтому должен казаться красным, чем и об'ясняется фактическое впечатление.

Подразделение неподвижных звезд на четыре спектральных класса само по себе довольно примитивно. Наши современные инструменты допускают гораздо более тонкие подразделения, и сообразно с этим в настоящее время звезды подразделяются по гораздо более сложной системе спектральных классов, разработанной преимущественно Э. Пиккерингом, руководителем всемирно известной Гарвардской обсерваторией, и его учениками. Подробности этой классификации представляют собою интерес исключительно для специалистов, так что мы можем их не касаться здесь. Следует только заметить, что главные классы обозначаются по порядку буквами O, B, A, F, G, K, M, R и N, и что между двумя соседними классами имеется еще значительное количество подотделов, которые обозначаются символом предыдущего класса с прибавлением арабской цифры.

Мы уже неоднократно указывали на то, что при помощи известного физического соотношения можно рассчитать температуру звезд по измерениям яркостей в их спектрах. Далее мы упомянули о том, что эти температуры находятся в связи с цветом звезд, каким он является нашему глазу. В свою очередь цвет звезд представляет собою отличительный признак отдельных спектральных классов более грубого подразделения, так что температура и спектральный класс каждой звезды находятся в теснейшей связи. Этот факт не изменится от того, если группировать звезды на основании Гарвардского подразделения на различные спектральные классы. Напро-

тив, лишь благодаря этой более тщательной классификации, отдельные классы которой постепенно сливаются один с другим, становится вполне ясным, что звезды различных спектральных классов в смысле их температуры также образуют постепенный переход из высоких в более низкие разряды. Нижеуказанная маленькая табличка, заимствованная из «Популярной Астрономии» Ньюкомба-Энгельмана, 6 изд., стр. 552 (у Вильгельма Энгельмана, Лейпциг 1921) наглядно покажет эту связь:

Спектральный класс	Температура
B_1	10 400°
A_1	9 700
F_1	7 000
S_1	5 200
K_1	4 200
M a	3 300
M b	3 000

Последовательный ряд спектральных классов таким образом соответствует убывающему ряду показаний температур звезд, вследствие чего снова должна возникнуть мысль о ходе развития, о которой мы уже говорили выше. Эта мысль покажет, что каждый отдельный спектральный класс является определенной ступенью *процесса охлаждения*; звезды стареют, причем белые — более молоды, красные — более стары. По крайней мере еще недавно только так и думали. Однако, вполне возможен ведь и обратный путь, т. е. путь развития не *вниз*, а *вверх*, и тогда красные звезды будут более молодыми, а белые — более старыми. Из этих соображений вытекает ряд новых исследований, которые дали совершенно неожиданные результаты.

При беглом взгляде на звездное небо видно, что звезды отличны одна от другой не только цветом, но прежде всего *яркостью*. Обычно эта яркость служит основанием для общеизвестного подразделения звезд, при чем принято го-

ворить о *классах величин*, называя наиболее яркие звезды — звездами первой величины, менее яркие — звездами второй величины и т. д. Разумеется, замечаемая нами яркость звезд в значительной степени зависит от расстояния данной звезды от земли. Ибо чем меньше это расстояние, тем большее количество ее света мы можем воспринять, тем более яркой она будет нам казаться. Но яркость находится также в зависимости от размеров звезды, т. е. от величины ее поверхности, испускающей свет. Таким образом две звезды могут казаться нам одинаково яркими, хотя бы они отстояли от земли на разных расстояниях. Если большая по величине звезда отстоит от земли на таком расстоянии, что мы воспринимаем от нее одинаковое количество света, как и от звезды, находящейся от нас на более близком расстоянии, то для нашего глаза обе звезды будут обладать одинаковой яркостью. Покуда мы не знаем расстояния, на котором находятся звезды от земли, класс величины, к которому относится та или иная звезда, не даст нам никаких сведений о ее истинных размерах. Но ведь мы умеем измерять расстояния многих звезд! Быть может читатель вспомнит как это делается? Для этого достаточно самых элементарных познаний по геометрии. Нужно только знать, что у треугольника A B C (см. чертежи 1 a и 1 b) с постоянным, иначе говоря, неизменным основанием A B, сторона C B увеличивается по мере уменьшения угла у вершины C. Если на фиг. 2 точка S обозначает солнце, вокруг которого вращается земля E по указанному кругу, то величина угла, под которым с неподвижной звезды F было бы видно расстояние ES земли от солнца, даст мерило для расстояния EF этой звезды от земли. Этот угол называется параллаксом неподвижной звезды F, и он может быть измеряем с земли. Из наших чертежей видно, что в различных положениях земли E, во время ее пути вращения вокруг солнца S — т. е. в разные времена года — мы видим звезду F всегда в разных направлениях. Скорее всего это станет понятным, если сравнить оба направления зрения от зем-

ли к солнцу E и E'на нашем чертеже фиг. 2, имея в виду, что эти точки отстоят одна от другой на полгода. Подробное сравнение укажет на величину угла. А так как расстояние от

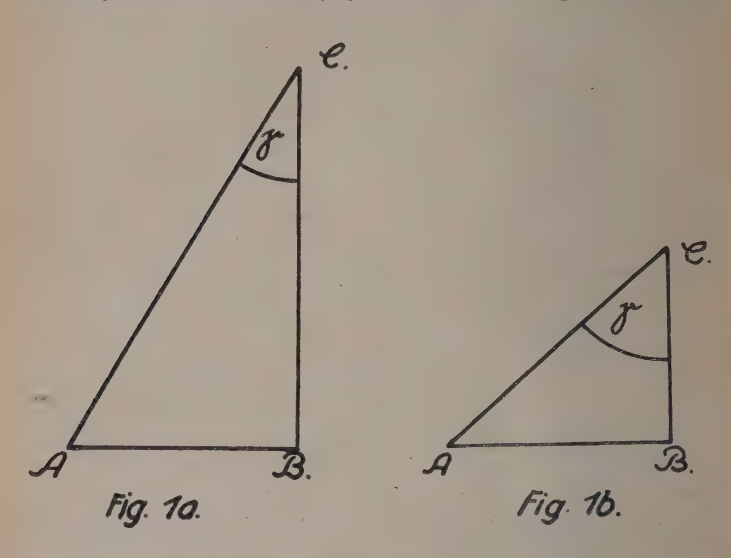


Fig. 1a. Fig. 1b.

земли до солнца известно, то в треугольнике EFS мы имеем дело с тремя известными величинами: прежде всего угол, во вторых прямой угол у точки S, и в третьих длина стороны ES. Отсюда нетрудно вычислить длину стороны EF, т. е. расстояние звезды F от земли E. Как ни прост этот метод в теории, на практике он сопряжен с большими трудностями, ибо угол, или параллакс, всегда чрезвычайно мал. Так например ближайшая неподвижная звезда, ближайший сосед нашего солнца в мировом пространстве, называемый астрономами α Центавра, дает нам в виде параллакса угол в ¾ секунды! При этом надо иметь в виду, что если разделить прямой угол на 90 равных частей, то каждая часть равна одному градусу; а один градус состоит из 60

минут, каждая минута в свою очередь состоит из 60 секунд. А самый большой, известный до сего времени параллакс неподвижной звезды еще меньше такой секунды — ибо

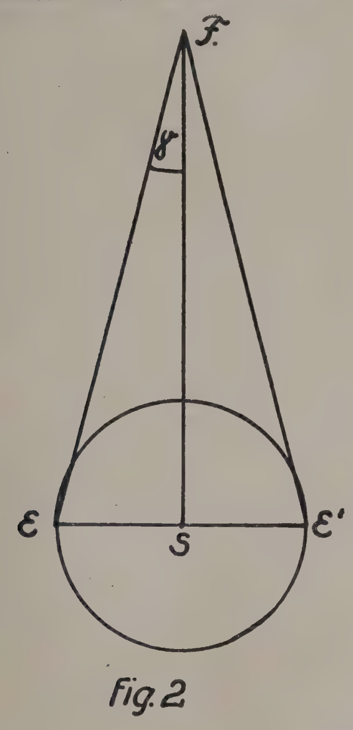


Fig. 2

он составляет только три четверти ее! Поэтому неудивительно, если расстояние этой звезды выразится в весьма круглой цифре, т. к. расстояние земли от солнца равняется приблизительно 150 миллионам километров, а со звезды α Центавра это громадное расстояние выражается крошечным углом в 0,75 секунды! Нужно удивляться точности современных методов наблюдения, дающих возможность установить

такие углы, а также размерам мирового пространства, олицетворяемого в данном случае какими то совершенно невероятными числами. Кто умеет обращаться с тригонометрическими формулами и не боится головоломных вычислений, тот может сам решить эту задачу, и у него получится, что расстояние до той неподвижной звезды, которую астроном называет ближайшим соседом солнца, составляет сорок биллионов километров. Луч света, который мчится с невообразимой быстротой в триста тысяч километров в секунду, который в одну секунду может облететь кругом земли почти восемь раз — такому лучу нужно больше четырех полных лет, чтобы добраться с α Центавра до земли. А ведь α Центавра — в астрономическом смысле—так сказать наш близкий сосед...

Знакомство с расстояниями звезд дает нам возможность, выразить видимую яркость звезд, о которой мы раньше уже говорили, таким образом, что в этой яркости расстояние звезд не будет уже играть роли. Иными словами если мне известно, что светящееся тело на расстоянии, например 15 метров имеет определенную яркость, то на основании этого я без труда могу вычислить, какую яркость будет иметь данное тело на расстоянии лишь одного метра. Для этого требуется лишь знать, на основании какого закона лучи света распространяются в пространстве, а закон этот, благодаря многочисленным наблюдениям, нам прекрасно известен. Применительно к звездам, это значит, что все звезды, яркость и параллакс которых нам известны, могут быть, так сказать, отнесены к некоторому произвольно выработанному расстоянию от земли, если вычислить ту яркость, которую имели бы звезды, находясь на одинаковом расстоянии от нас. В виде нормального избирается расстояние, соответствующее параллаксу в $^1/_{10}$ секунды, причем относящуюся к нему яркость называют абсолютной яростью или же а б с о л ю т н о й в е л и ч и н о й. Их числовые выражения для довольно значительного количества звезд в последнее время были найдены, что имеет весьма большое значение для вопроса о развитии звезд.

Дело в том, что если сравнить абсолютные величины отдельных звезд с их температурами, которые, как уже было сказано, также могут быть установлены, то обнаруживается, что между этими двумя величинами нет закономерной связи. Другими словами абсолютная яркость звезды отнюдь не зависит от ее температуры; по высоте температуры звезды нельзя судить о ее яркости, и наоборот, яркость не определяет температуры звезды. Отсюда следует, что разница абсолютной яркости отдельных звезд, которая могла быть установлена опытным путем, прежде всего находится в зависимости от разницы в величине их поверхностей. Мы уже раньше указали на то, что яркость звезды должна быть тем больше, чем больше ее поверхность, от которой испускаются лучи. Таким образом абсолютная яркость звезд становится мерилом их истинной величины, чем и оправдывается наименование последней «абсолютной величиной».

Благодаря вычислению абсолютных величин звезд астрономам Герцшпрунг и Русселю в последнее время удалось сделать чрезвычайно важное открытие. Они нашли, что звезды могут вообще быть подразделены по величине на две большие группы. Часть звезд чрезвычайно велика по об'ему, другая же часть сравнительно мала. Поэтому принято кратко говорить об исполинских и карликовых звездах. Обе группы звезд встречаются во всех спектральных классах, так что среди звезд существуют белые исполины и белые карлики, желтые исполины и желтые карлики. При этом замечательнее всего то, что разница в об'емах между исполинами и карликами белых звезд сравнительно мала, у желтых звезд она более значительна, а больше всего она у красных звезд. Вряд ли этот факт носит характер случайности, и потому возникает вопрос, чем он может быть об'яснен.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, мы должны упомянуть еще об одном достижении современной астрономической науки, не касаясь правда тех оснований, по которым этот результат был достигнут. Основные законы механики

дают возможность вычислить массу различных звезд, т. е. то количество материи, из коих состоят эти звезды. Казалось бы, массы различных звезд резко отличаются друг от друга. Между тем, это совсем не так, а, напротив, все измерявшиеся до сих пор звездные массы представляют собою величины одного порядка. Другими словами звезды-исполины не более тяжелы, чем звезды-карлики, каковой факт может быть об'яснен только тем, что на звездах-исполинах материя имеется в чрезвычайно разряженном виде, и поэтому ее плотность чрезвычайно мала, тогда как плотность звезд-карликов значительно больше.

Сводка всего опытного материала дает возможность представить следующее об'яснение хода развития неподвижной звезды: происходя из начального тумана гигантских размеров, но чрезвычайно незначительной плотности и сравнительно низкой температуры, звезда испускает в холодное мировое пространство значительные количества энергии. Это излучение энергии, как следует предположить теоретически, влечет за собою уменьшение размеров звезды; звезда сокращается, т. е. плотность ее увеличивается, и вместе с тем ее температура, что опять таки понятно по теоретическим соображениям, быстро повышается. Красная звезда-исполин таким образом мало по малу превращается в желтую, которая все еще достаточно велика по об'ему и все еще излучает в мировое пространство огромные массы энергии, но вместе с тем опять сокращается в об'еме вследствие сжимания причем ее температура вследствие образования теплоты постоянно возрастает. Желтая звезда превращается в белую, и тем самым достигает высшей точки своего развития, ибо хотя сокращение продолжает порождать новую теплоту в звезде, но теперь уже этот приток теплоты недостаточен для того, чтобы возместить огромную потерю в теплоте же, вызываемую лучеиспусканием. Вследствие этого запас теплоты звезды постепенно уменьшается; температура ее неминуемо должна понижаться, и тут начинается извест-

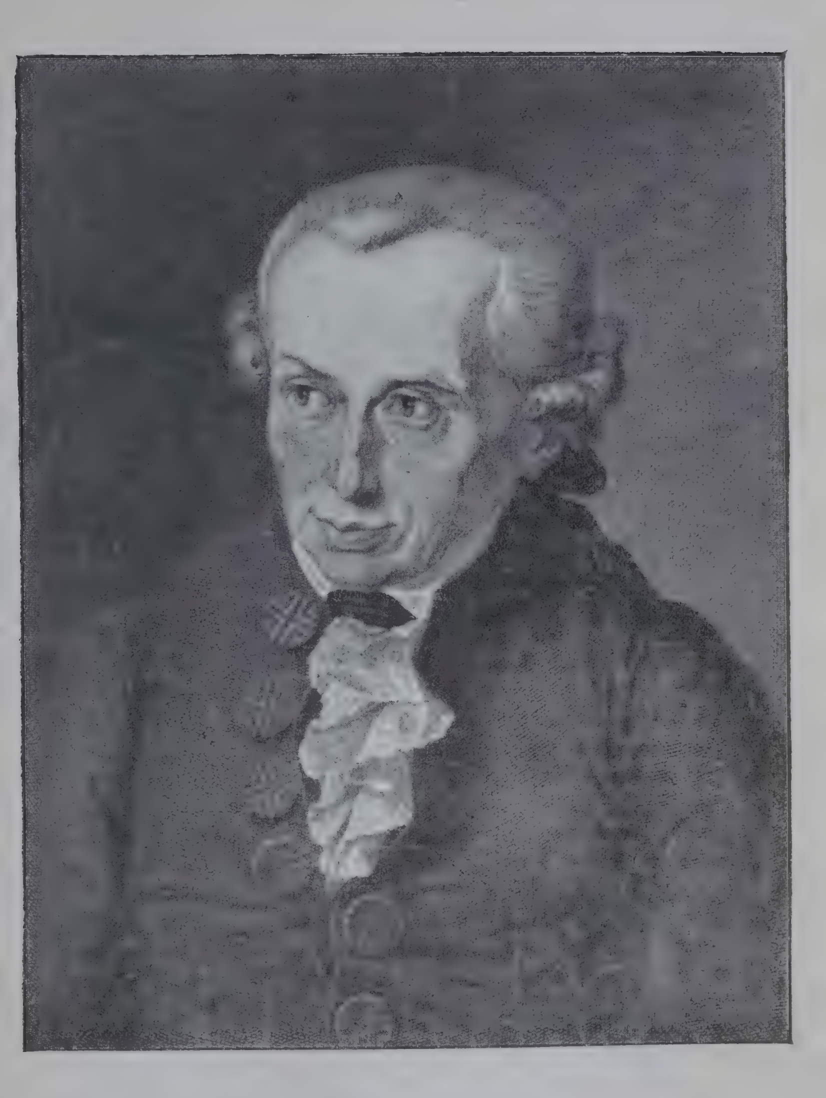


Рис. 1. Кант (Гравюра И. Л. Рааба)



Рис. 2. Дом, где жил Кант в Кенигсберге

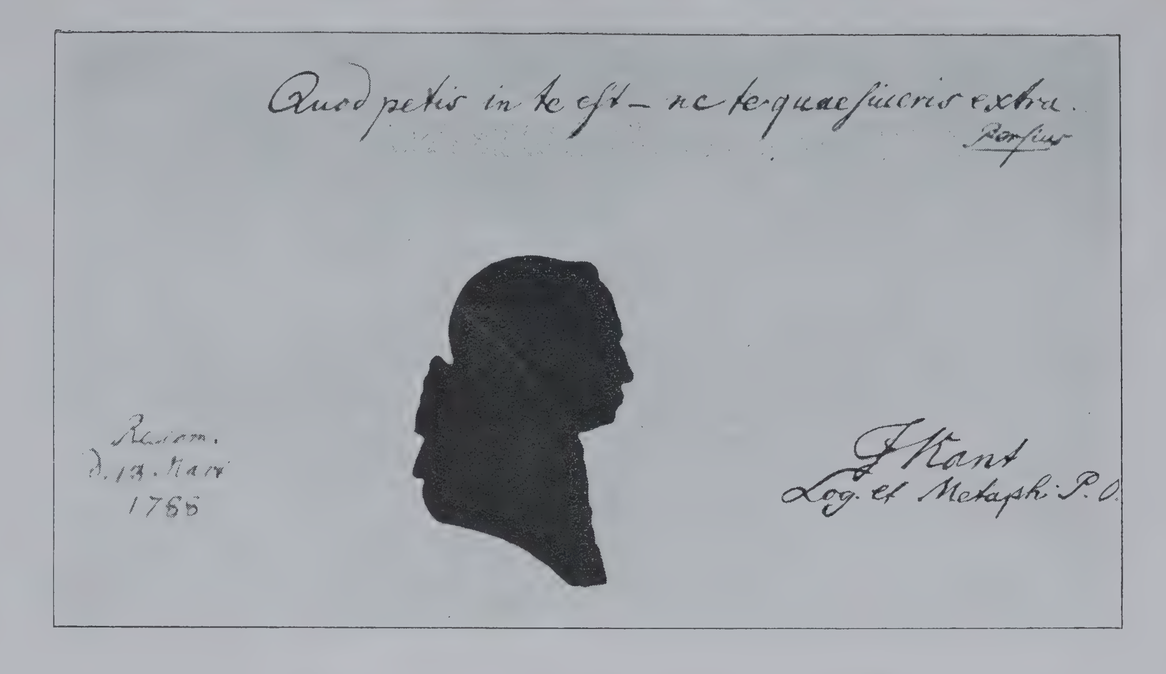


Рис. 3. Кантъ (автографъ). Листокъ изъ альбома.

Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen, so ist der _ewige Friede_, der auf die bisher fälschlich so genannte Friedensschlüsse (eigentlich Waffenstillstände) folgt, keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffentlich immer kürzer werden) beständig näher kommt.

Рис. 4. Факсимиле отрывка из трактата „К вечному миру“

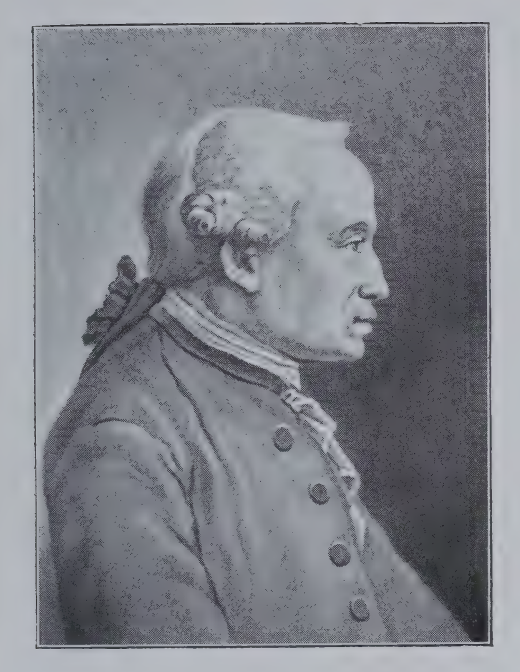


Рис. 5. Кант

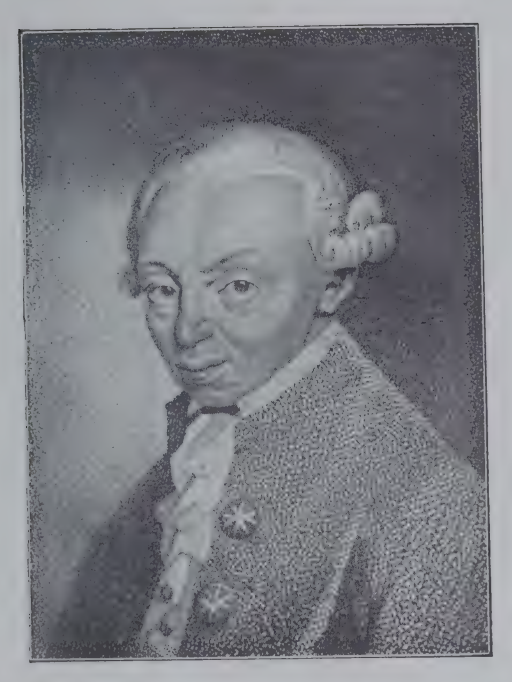


Рис. 6. Кант (1794, Вернэ)



Рис. 7
Кант (Портрет в городской библиотеке Кенигсберга)



Рис. 8. Кант (рис. Бильса)

ный ряд стадий охлаждения, о котором мы уже говорили выше. Предельным состоянием этого ряда должно явиться полное охлаждение, которое и является завершением жизни звезд, поскольку это доступно нашему пониманию. Это развитие звезд, таким образом, распадается на два периода: в течение первого — развитие идет вверх, идет от более низких температур к более высоким, пока наступает роковой час, когда ход событий изменяется и начинается обратное развитие. Как при развитии вверх, так и при развитии вниз должны встречаться все без исключения спектральные классы, причем ко всякому отдельному спектральному классу восходящего развития всегда относятся звезды меньшей плотности, тогда как при нисходящем развитии плотность значительно больше. Эта разница в величине звезд будет наименее значительна в периоде белого каления, ибо тут находится поворотная точка; чем больше мы приближаемся к красной стадии, тем больше будет разницы между звездными исполинами и карликами, что вполне соответствует выводу, которым мы обязаны, как указано выше, Русселю и Герцшпрунгу.

Таким образом мы изложили то представление о развитии неподвижных звезд, которое дает современная наука. Можно было бы, конечно, еще много говорить о подробностях этого вопроса. Так напр., возникают вопросы, почему сокращение массы звезд порождает теплоту, откуда появляются находящиеся в звезде количества энергии, почему так мало различаются друг от друга массы отдельных звезд, и многие другие вопросы, на которые может дать ответы не столько астроном, сколько физик. Современная наука и тут может дать многие пояснения, распространяющиеся на тончайшие подробности. В частности в последнее время английский астроном и физик Кембриджского университета Эддингтон развил сложную теорию, которая дает отчет о многих подробностях, и привела к неожиданным результатам. На этот же раз наша задача состояла в том, чтобы до некоторой сте-

пени познакомить читателя с теми экспериментальными достижениями, которые имеют отношение к неподвижным звездам, чисто теоретические вопросы должны были пока оставаться на заднем плане. Задача дальнейших рассуждений будет состоять в том, чтобы пояснить основы теоретического изучения этой проблемы Эддингтоном и его важнейшими предшественниками.

К ДВУХСОТЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАНТА

22 Апреля 1724 г.

Редакция, получив в свое распоряжение несколько неизданных портретов и факсимиле Канта, пользуется недавним юбилеем Канта, чтобы, пополнив эту небольшую коллекцию некоторыми, уже известными, познакомить с ними читателей «Беседы».

При выборе рисунков, редакция руководствовалась целью познакомить читателей с разными попытками передачи своеобразной наружности великого философа: с изображениями резко-реалистического характера, старающимися лишь механически-точно передать черты его лица и ничего в них не вкладывающими; с спокойно-правдивым силуэтом, с полушуточным рисунком 1803 года, вдумчивыми портретами, стремящимися схватить и передать духовное содержание этого лица, и, наконец, с одухотворенной идеализацией на картине Кенигсберской городской библиотеки.

Макс Гохдорф в своей «Книге о Канте», имеющей появиться в близком будущем в издании «Библиотека Современного Знания» И. П. Ладыжникова, пишет о внешности Канта следующее:

«Грудь у него была впалая настолько, что спина казалась сгорбленной. Жабо исчезало в сюртуке и висело в нем ненужной тряпкой. Люди с здоровой и свободно выпуклой

грудью носили это кружево так, что оно служило им украшением и делало их представительными. Но на Канте такая аккуратная и нарядная одежда казалась ненужной, почти странной. Значительная голова сидела на маленьком и тщедушном теле. Парик прикрывал большую часть черепа; но придавая многим современникам Канта величественный вид, он казался тоже ненужным и лишним на этом маленьком человеке. Однако, лоб был всетаки виден: — он поднимался от носа крутой линией, увеличивая голову непропорционально к размерам тела. Такой лоб мог быть только у человека необыкновенного. Кто внимательно вглядывался в лицо Канта, тот должен был заметить, что нижняя губа была толста и отвисала. Судя по этой странной и очень некрасивой особенности, можно было предположить, что характеру Канта более свойственна была слабость и угрюмость, чем энергия и жизнерадостность. Люди, испытавшие много горя и разочарований, часто так распускаются, что напряжение мускулов им кажется лишним. Существует картина, изображающая философа на прогулке. Он держит в одной руке трость, украшенную металлическим набалдашником и кистями, в другой — высокую шапку, похожую на гренадерскую каску того времени. И шапка и трость слишком велики для этого тщедушного человека. Они также кажутся лишними, они тяготят его. Все земное его тяготит. На основании его наружности нельзя составить себе никакого представления о его духовном облике. Выдвинутая нижняя губа автоматически заставляла глаза щуриться, т. е. взгляд Канта был всегда напряженно острым. Глаза, видные только наполовину, так что цвета и блеска их нельзя было разглядеть, казались очень внимательными, даже подозрительными и коварными, как глаза охотника, с заряженным ружьем в руке выжидающего дичь. Когда отвислая губа поднималась, исчезала обычная расслабленность всей фигуры и лица, и мускулы приходили в движение, то казалось, что в выражении лица мелькает насмешка. Верхняя губа резкой линией

ложилась на выдающуюся нижнюю, и от этой прямой черты разбегалась сеть глубоких морщин по щекам и к острому подбородку. Есть рисунки, на которых лицо Канта, обычно идеализированное на портретах, представляет целую ланд-карту резких линий и морщин. Эти рисунки показывают настоящее лицо мыслителя. Особенно характерно, что и лоб изрыт такими же бесчисленными бороздами».

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПЕРЕЛЕТ АМУНДСЕНА ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Мысль о проникновении воздушным путем в непроходимые ледяные пустыни северной полярной области возникла уже в последнее десятилетие прошлого века, когда героические санные экспедиции Нансена показали, насколько затруднительно продвижение с помощью каяка или собачьих саней в такой трудно-проходимой местности. Уже тогда швед Andree попытался достигнуть северного полюса в воздушном шаре. В надежде на постоянный южный ветер поднялся он со своими спутниками на острове Шпицбергене и с тех пор о нем, к сожалению, никто ничего не слыхал. Счастливым оказался американец Wellmann, предпринявший в 1907 г. ту-же попытку в целях газетной сенсации. Его довольно несовершенный дирижабль спустился на Шпицбергене уже вскоре после под'ема и воздухоплаватель со своим экипажем мог быть спасен. Больше успеха обещала экспедиция, подготовительные работы которой начались в последние годы перед войной и которая поставила себе целью исследовать полярные области с помощью цеппелинов. Научная подготовительная экспедиция, посланная на Шпицберген для изучения метеорологических условий и нахождения подходящих опорных пунктов, воротилась уже после успешных работ на родину — но разразившаяся в это время мировая война положила конец этому предприятию.

Лишь после войны, под впечатлением колоссального развития работоспособности летательных машин, снова возникла

мысль применить и это новейшее средство передвижения к делу исследования полярных стран. Норвежец Амундсен, смелый покоритель южного полюса, первый серьезно занялся этим проектом. Несколько лет тому назад он захватил на свое экспедиционное судно «Maud», с которым он намеревался проплыть со льдом от Берингова моря через северные полярные области, небольшой аэроплан, чтобы с помощью этого последнего облегчить исследование окрестностей их рейса. Но вскоре у него возник план перелета в аэроплане через всю неизвестную область северного полюса. Первая попытка предпринятая им прошлым летом в Аляске, окончилась неудачей, так-как у его машины уже на пробном полете сломались приспособления для спуска. Одновременно на Шпицберген отправилась вспомогательная экспедиция, оборудованная воздухоплавательным заводом Юнкерса, чтобы в случае надобности придти на помощь Амундсену. Эта группа выполнила ряд продолжительных полетов над Шпицбергеном и запечатлела их в фильмах и фотографических снимках, говорящих о превосходных результатах работы и показывающих, что при подходящем оборудовании перелет полюса вполне возможен.

Основываясь на опыте этих попыток, Амундсен подготсвляет текущим летом воздушную экспедицию через полярную зону. Исходным пунктом он выбрал Шпицберген, оказавшийся гораздо более доступным, чем северная Аляска. Особое внимание должно быть, конечно, уделено самим аэропланам. Они должны быть в состоянии также легко и уверенно подыматься и спускаться на чистом и покрытом снегом льде, как и на водной поверхности, и должны быть абсолютно надежными в работе. Так как при под'еме с воды в полярных странах приходится считаться с наличностью плавающих льдин, то необходимо снабдить аэроплан особо прочным корпусом, во избежание каких-бы то ни было повреждений гондолы. Чтобы обеспечить надежное плаванье аэроплана даже в случае повреждения стенок его корпуса, не-

обходимо разделить внутренность гондолы непроницаемыми перегородками на достаточное количество отделений. При оборудовании экспедиции нужно постоянно иметь в виду, что команда аэроплана при всяких случайностях предоставлена будет самой себе и должна, что-бы ни случилось, пробиваться всегда лишь собственными силами. Амундсен выбрал двухмоторные гидропланы типа «Dornier-Wal», которые судя по всему, лучше всех других отвечают этим требованиям. Это большие, очень хорошо плавающие гидропланы, построенные целиком из металла, способные без труда подыматься и спускаться на воде и на льду попеременно. Они снабжены двумя моторами Rolls-Royce, в 360 лошадиных сил каждый, помещенными над крылом один за другим в общей гондоле. Если один мотор поврежден или отставлен, то можно продолжать полет на другом. Крайняя скорость этих машин определяется в 195 км., средняя путевая скорость — приблизительно в 150 км. в час.

Аэропланы эти в данный момент испытываются в Швейцарии на озерах и ледяных полях, а затем будут отправлены через Гамбург в Green-Harbour на Шпицбергене. Между тем в Tromsö, в Норвегии, снаряжается собственно экспедиционный корабль. Это 500-тонное деревянное судно, выдерживающее, будто-бы, любой напор льда. Соединившись в Green Harbour'е экспедиция постарается проникнуть как можно дальше на север, чтобы устроить на границе вечного льда главную станцию. С учеными техниками радиотелеграфистами и фотографами экспедиция будет насчитывать 30 человек, из которых только шестеро примут участие в самом полете через полюс.

Для начала проектируется ряд разведочных полетов, для приискания подходящих мест для спуска. Затем приступлено будет к полету на полюс, вблизи которого сооружен будет опорный пункт и газолиновое депо. Чтобы облегчить летчикам нахождение обратного пути, вдоль путей от станции к депо расставлены будут на льду легко заметные с высоты знаки. Полет от станции к полюсу будет повторен несколько

раз с припасами, покуда в депо у полюса не будет собрано достаточное количество всякого материала. Лишь после этого приступлено будет к сооружению дальнейших депо между полюсом и Аляской. Таким образом Амундсен намеревается в несколько приемов выполнить свой план перелета через всю полярную область вплоть до Аляски, так-как исследование совершенно еще неизвестной области между полюсом и Аляской и является собственно целью предприятия. Снабженный тщательно подобранным материалом, опираясь на свое исключительное знание полярных стран, Амундсен с большой надеждой на успех приступает к выполнению своего плана.

Будет-ли выполнена воздушная полярная экспедиция, проектируемая одновременно американцами с цеппелином «Shenandoah» в данный момент еще неизвестно. Но мы, во всяком случае, с интересом ожидаем, какие успехи достигнуты будут нынешним летом аэропланом или дирижаблем в ледяных пустынях северного полюса *).



К ТЕОРИИ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ

В вечернем издании «Aftenposten» (Христиания) от 16-го февраля сего года появилась достойная внимания статья о последовавшем недавно открытии норвежского физика Ларса Вегарда, являющегося преемником известного исследователя полярных стран профессора Биркеланда при университете в Христиании. Откладывая подробное сообщение о деталях впредь до появления в свет специально-научных подлинных изложений Вегарда, мы сегодня дадим лишь краткий отчет о содержании упомянутой газетной статьи, так как вопрос, о котором идет речь, способен возбудить интерес широких кругов.

*) Эти строки были уже набраны, когда получилось известие, что и в том году полет не состоится.

Профессор Вегард, занимавшийся уже в течение нескольких лет преимущественно изучением северного сияния, подробно исследовал спектр этого своеобразного светового явления. Характерной особенностью этого спектра является необыкновенно яркая линия в зеленой части спектра, которая по произведенным опытам не присуща ни одному из существующих на земле элементов. В виду этого, возникло предположение, что в самых высоких слоях земной атмосферы существует чрезвычайно легкий газ, так назыв. геокороний, иначе говоря пока еще неизвестный нам химический элемент, эмиссионный спектр которого прежде всего обнаруживает упомянутую зеленую линию. При более тщательном исследовании спектра северного сияния Вегарду удалось обнаружить в нем, кроме этой главной зеленой линии, еще значительное количество других линий, расположенных в областях красного, желтого и фиолетового и поразительно схожих с некоторыми линиями спектра азота. Вегард уже ранее относился весьма скептически к распространенному мнению, что в самых высоких слоях нашей атмосферы азот все более и более исчезает и вместо него там находятся водород, гелий и геокороний. Различные умозаключения, выведенные им из указанного результата спектрального исследования северного сияния навели его на мысль, что в самых высоких слоях земной воздушной оболочки химический элемент — азот — существует не в газообразном виде, а в тонко распыленном состоянии, и, что он там держится в атмосфере благодаря действию электрических сил. С целью проверки правильности своего предположения опытным путем, Вегард отправился в физический институт Лейденского университета в Голландии, в котором находится руководимая Камерлингом Оннесом лучшая в мире лаборатория для получения низких температур; богатые средства были ему охотно предоставлены для его опытов. Прежде всего в этой лаборатории, путем охлаждения совместно с жидким водородом*), более или менее значительное

*) О добывании жидкого водорода см. II гл. книги Светберга „Die Dekadenz der Arbeit", Leipzig 1923.

количество азота было переведено в другое аггрегатное состояние, и затем подвержено, в возможно более разреженном пространстве, воздействию так наз. катодных лучей. Результат получился поразительный: под влиянием катодных лучей твердый азот засиял прекрасным зеленым цветом, а спектр этого сияния показал точно такую же зеленую линию, как и ранее упомянутый спектр северного сияния. Когда воздействие лучей было прекращено можно было наблюдать продолжавшееся в течение приблизительно еще пяти минут излучение азотом зеленого цвета, каковое явление в точности соответствует известному факту, что после угасания главных лучей северного сияния на небосклоне виден еще в течение нескольких минут зеленый отцвет. После этих опытов Вегард считает возможным не сомневаться более в том, что земля в самых высоких слоях атмосферы окружена куполом мелко распыленных кристаллов твердого азота. Это предположение, кроме того, дает об'яснение наблюдаемого иногда в тропиках зодиакального света; далее оно делает понятным странный факт, что передача сообщений посредством беспроволочного телеграфа функционирует ночью лучше, чем днем. Дело в том, что упомянутый купол из азота рефлектирует электрические волны, которыми пользуется беспроволочный телеграф, а в течение дня сильное излучение солнца производит значительные изменения в составе этого купола, являющиеся причиной препятствий при распространении электрических волн.



ПОЧЕМУ НЕБО КАЖЕТСЯ НАМ ГОЛУБЫМ?

Тот, кто прочитал введение к нашей статье о развитии неподвижных звезд, знает, что голубой цвет безоблачного дневного неба об'ясняется способностью воздуха поглощать свет, благодаря которой, в достаточно плотных слоях, небо дает нашему зрению впечатление голубого цвета. Однако, этот вопрос разрешается вовсе не так просто.

При исследовании спектра поглощения воздуха оказывается, что воздух пропускает подавляющее большинство видимых сортов света и что он разве только в синем конце спектра обладает незначительным поглощением. Таким образом, он никак не может производить впечатление голубого цвета, и нам остается только искать иных путей, которые привели бы к об'яснению цвета неба.

Мы знаем уже, что свет представляет собою явление волнообразное. Можно возбудить волны различной длины также и на водной поверхности, и это явление может привести нас к весьма знаменательным наблюдениям. Если мы станем у берега пруда и будем либо бросать камни в воду, либо бить по воде палкой, причем будем направлять возникающие волны к группе более мелких камешков, лежащих на берегу, то мы увидим, что большие волны будут заливать эти камешки, маленькие же волны разобьются о них, как о непреодолимую преграду. Они отбрасываются этими камешками и текут в обратную сторону. Стало быть происходит отделение одних волн от других, по крайней мере до некоторой степени, и более маленькие волны отделяются от больших. Это, конечно, происходит лишь в том случае, если величина камней не превышает известных размеров, ибо от очень большого камня как большие, так и малые волны отпрянут в одинаковой мере.

С световыми волнами дело обстоит почти так же. Волны эти отличаются одна от другой своей длиной, и если мы пропустим пучок белых солнечных лучей, в коем имеется большое количество волн разнообразнейшей длины, через массу достаточно тонких частиц вещества, то и в этом случае должно было бы произойти раз'единение пучка. Малые волны должны были бы быть отброшены, а большие — беспрепятственно пропускаемы. Самые маленькие волны видимого света кажутся нам голубыми и фиолетовыми, самые большие — желтыми и красными, и надо предположить, что подобное раз'единение света станет видимым нашему глазу благодаря

возникновению цветовых явлений. Так оно и есть на самом деле, и в этом можно легко убедиться, если распустить яичный белок в воде. Такой раствор представляет собою «мутную среду». Он не прозрачен, как чистая вода или как водяной раствор поваренной соли, а мутен, вследствие того, что плавающие в нем частички белка сравнительно довольно велики. Если ввести белковый раствор в путь солнечных лучей, то на темном фоне будут видны синие и фиолетовые цвета, тогда как он без фона имеет желтоватую или красноватую окраску. При этом происходит раздробление света о бесчисленные частички белка в растворе. Существуют и твердые мутные среды, примером коих может служить общеизвестная голубая каменная соль. Каменная соль представляет собою ни что иное, как поваренную соль, другими словами химическое соединение металла натрия с хлором, обычно бесцветное. Порою в природе встречаются дивные куски голубой окраски, которые, заметим кстати, можно получать из бесцветных кристаллов искусственным путем посредством подвергания их действию катодных лучей и лучей радиоактивных веществ. Окрашивание это об'ясняется тем, что вследствие химических процессов в них образуется свободный натрий чрезвычайно тонкой распыленности. Это соответствует тому, что английский физик Р. В. Вуд наблюдал голубую окраску также и в парах натрия. Эти туманы относятся к группе газообразных мутных сред, т. е. газов, в коих содержатся мельчайшие частички веществ. Когда мы курим сигару или папиросу — и видим нежно-голубой дым, то это также об'ясняется раздроблением света о мельчайшие частички веществ.

Это раздробление света и есть причина явления голубого цвета неба. Солнце шлет нам белый свет, несущийся с огромной быстротой по океану эфира, окружающему землю и солнце и заполняющему всю бесконечность вселенной. Мы находимся от солнца на расстоянии ста пятидесяти миллионов километров, и этот невообразимо длинный

путь свет пробегает в какие нибудь восемь минут. Это значит — со скоростью трехсот тысяч километров в секунду. Никакая быстрота, доступная нашему пониманию, не может быть сравнима с такими цифрами. Пока свет еще далек от земли, путь его свободен от всяких преград; но как только он проникает в нашу атмосферу, происходит резкая перемена. Мы хорошо знаем, что окружающая нас воздушная оболочка полна пыли, не только той грубой пыли, которую мы видим простым глазом, не только той более мелкой пыли, которую мы видим в полосе солнечного луча, проникающего через окно в комнату, но и гораздо более мелкой пыли, совершенно невидимой для человеческого глаза, которая вследствие своей чрезвычайной легкости при малейшем движении воздуха приводится в движение и таким образом возносится до предельных высот атмосферы. Об эту пыль ударяется прибой волн эфира и об нее он разбивается, как морской прибой о скалы и камни берега, расходится подобно волнам в указанном выше примере у пруда. Тем самым нарушается путь всех световых волн, и теперь уже по разным направлениям излучается разный свет. Получить представление о том, что в данном случае происходит, чрезвычайно трудно, и тот, кто увидит труды лорда Ралея по этому вопросу, придет в ужас от массы запутаннейших математических формул. Важнее всего, однако, то, что названный физик вывел из своих формул заключение, согласно которому мы должны видеть на дневном небе цвет, однородный с голубым цветом неба, тогда как утром или вечером, когда солнце стоит низко у горизонта, мутная среда атмосферы становится прозрачной; всякий знает, что в это время небо горит дивными красными тонами утренней и вечерней зари, что опять-таки вполне согласуется с теоретическими предположениями.

*

ЧУВСТВО ЦВЕТА У ПЧЕЛ

А. Кюн и Р. Поль произвели в Геттингенском физическом институте ряд опытов с целью разрешения интересного вопроса, обладают-ли пчелы способностью отличать различные цвета. Мы приведем вкратце результаты этих опытов, заимствованные нами из сообщений названных ученых (Naturwissenschaften. 1924, стр. 116-118).

Пчелы были приучены к тому, чтобы влетать в комнату, где на гладкой поверхности стола при помощи хорошей призмы можно было получить спектр соответствующего источника света. С целью приучить пчел к определенному роду света, были затемнены все части спектра кроме одной узкой полосы, и в эту полосу был поставлен длинный, узкий фарфоровый сосуд, наполненный сахарной водой. Когда пчелы были приучены к белому, т. е. нераздробленному, свету, а затем, рядом с белой полосой света без корма, им показывали другие полосы света различных цветов, то они всегда слетались на белую полосу, даже сильно уменьшенной яркости, тогда как цветные полосы оставлялись ими безо всякого внимания. Далее, пчелы были приучены к самой незначительной яркости полосе белого света, на которую они вообще еще способны реагировать. Когда им после этого показывали, рядом с этой полосой слабой яркости, еще другую полосу белого света значительно большей яркости, то они явно предпочитали эту последнюю той полосе, к которой они были приучены. Соответствующие результаты были достигнуты также и с цветными полосами света. Так, например, если кормление происходило в полосе определенного **желтого света** наименьшей яркости, то при наличии одновременно нескольких полос различных яркостей пчелы всегда слетались на более яркую полосу. Этим дано неопровержимое доказательство того факта, что пчелы обладают ярко выраженным чувством цвета, т. е. что различные цвета воспринимаются пчелами различным образом.

*

ЛОЖНЫЕ ИНСТИНКТЫ

Под инстинктивным действием мы разумеем такое действие, которое осуществляется автоматически, без применения данных индивидуального опыта, одинаковым образом всеми животными одного и того же вида. Этот прирожденный животным способ действия в большинстве случаев непременно «целесообразен»; однако, самый акт протекает раз уже он проектирован во вне соответствующими факторами, по большей части с такой неизменной косностью, что, при известных условиях, он не достигает нормальной цели и поэтому получает ложное направление. Уже Дарвин упоминает в этом случае в качестве примера о мясной мухе (Calliphora erythrocephala), которая обыкновенно кладет свои яйца на падали, где развивающиеся личинки находят себе пищу в готовом виде. И хотя мухи эти руководятся запахом при отыскании падали для кладки яиц, тем не менее при случае они впадают в заблуждение и кладут свои яйца, например, на растения, пахнущие гниющими веществами. Запах вызывает инстинктивный акт: муха садится на дурно пахнущее растение и приступает к кладке яиц, хотя акт этот в данном случае безусловно «нецелесообразен», так как развившиеся личинки впоследствии обречены на гибель. Стало быть насекомое действует совершенно принудительно и само «не знает» почему оно кладет яйца на пахнущих гнилью веществах. Весьма поучительный опыт произвел Loeb над гусеницами златохвостками (Euproctis chrysorhoea), которые имеют обыкновение двигаться навстречу падающему свету. В условиях свободной природы это оказывается целесообразным, так как в силу этого они движутся к концам ветвей, где они находят самые нежные литья. Loeb держал гусениц в стеклянной трубке, запаянный конец которой был обращен к свету. Гусеницы, конечно, двигались в направлении к свету и подошли к замкнутому концу. Здесь они естественно не могли двигаться дальше, но даже не сделали попытки повернуться обратно. Инстинкт действовал

настолько могущественно, что они погибли от голода, несмотря на то, что в расстоянии 1 см. за ними находились листья. Они постоянно стремились вперед к свету как бы под влиянием насильственного напора и погибали, т. к. не могли пробраться к корму, который был положен сзади них. Особенно знаменательны опыты Fabre'a над различными видами ос. Одна из них тащила забитых кузнечиков за усики к своему гнезду. Fabre подрезал у одного из кузнечиков, подвергавшихся такого рода транспорту, длинные усики. Сперва оса стала повидимому втупик, затем она начала ощупывать кузнечика и нашла наконец, маленькие челюстные щупальцы, за которые она могла утащить его в свою землянную норку. Когда же у кузнечика и последние были подрезаны, — оса оказалась совершенно беспомощной. Дальше она уже не знала, что ей делать с кузнечиком и не могла догадаться схватить его за ноги или за яйцеклад. У нее был инстинкт схватывать попавшихся ей в добычу насекомых всегда спереди за голову и перетаскивать их за усики. Когда усиков не было, она должна была отказаться от своего замысла. Другая оса также тащит парализованных насекомых в свою нору. Однако предварительно кладет свою добычу у входа и сперва ныряет еще раз в свою нору, может быть затем, чтобы удостовериться, что «все в порядке». И вслед за этим насекомое втаскивается в гнездо. Fabre, а также другие исследователи, относили на несколько сантиметров от входа в гнездо убитое насекомое, после того, как оса скрывалась в норке. Оса выползала, сперва не находила своей добычи, однако, вскоре опять ее отыскивала, подносила ее ко входу, но не сразу вталкивала в норку, а предварительно опять ныряла во внутрь. Тем временем опять удаляли насекомое, и оса снова повторяла в точности свой образ действия. Fabre отнимал таким образом добычу сорок раз, и сорок раз оса оставляла насекомое подле входа, с тем чтобы сперва одной исчезнуть в норке. Стало

быть, существует совершенно прочная, неизменная рефлективная цепь: притащить добычу — отложить ее — влезть в нору — и лишь затем втащить во внутрь свою добычу. А так как всякий раз добычу нужно было заново притащить и сложить у входа, то оса не могла достигнуть цели: внести добычу в гнездо.



ПЕРЕЛЕТЫ ПТИЦ И ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

H. Weigold с орнитологической станции с о. Гельголанда, предпринявший в течение последних лет многочисленные воздушные путешествия в целях изучения орнитологических проблем, опубликовал в последнем выпуске Журнала по Орнитологии (Bd. 72. H. I. 1924) обширное сообщение относительно сделанных им при этих полетах наблюдений. Что касается высоты полета птиц, то с воздушного аппарата удалось бесспорно установить, что подавляющее большинство и в особенности все маленькие виды летают не выше 500 м. над сушей или уровнем моря и совершают перелеты даже на меньшей высоте. Только дикие гуси и крупные приморские птицы, аисты и журавли совершают свои воздушные путешествия иногда на высоте 1000 м., максимально же до 2000 м. Наибольшая высота, на которой однажды только усмотрен был лунька (Cerchneis), равнялась 2300 метров; но, наверное, этот случай представляет собою исключение; птица эта была, очевидно, более или менее насильственно загнана теплыми восходящими воздушными течениями в эти безбрежные области воздушного океана. Здесь следует заметить, что весьма трудно усмотреть птицу на таких высотах. Солнечное излучение, благодаря ясности неба, окружает такую маленькую точку, какою является всякая летящая птица на подобной высоте, светлым пятном, и при той головокружительной быстроте, с которой движется аэроплан, глаз едва имеет время для восприятия и фикси-

рования маленьких летящих об'ектов. Лишь редко птицы дают дорогу своему бензиновому конкурренту; обыкновенно они узнают об опасности, угрожающей им от воздушного аппарата, слишком поздно. Тогда уже нет возможности ускользнуть: их быстро настигают, даже при быстроте полета только в 120 километров в час. Английские и французские летчики установили тоже самое. К сожалению, до сих пор представляется невозможным существенно умерить быстроту полета и следовать «потихоньку», со скоростью хотя бы пассажирского поезда, за летящей птицей в целях наблюдения за нею. Равным образом сделаны интересные наблюдения относительно границ видимости, т. е. относительно вопроса, до какой высоты человеческий глаз в состоянии воспринимать с земли летящую птицу. Воздушный аппарат, к заднему рулю которого была прикреплена на длинной бечевке модель скворца в натуральную величину с распростертыми крыльями, летал несколько раз последовательно над Гельголандом на высоте 200, 300, 500, 1000, 1500 и т. д. метров. Для нормального человеческого глаза граница видимости птицы такой величины проходит на высоте в 300—350 метров (при этом, конечно, не может быть уже речи относительно определения породы данной птицы); лишь выдающийся по своей зоркости глаз мог следить за ней до высоты в 1000 метров. Этим опровергается старое утверждение знаменитого орнитолога Gätke, который считал якобы возможным распознать переплятника как такового на высоте 3300 метров. Также и относительно зрительной ориентации летящих и перелетных птиц Weigold мог сделать некоторые заключения, благодаря своим наблюдениям с аэроплана; следует допустить, что она действительно довольно значительна, так как поле зрения с высоты в 1000 метров, конечно, весьма обширно. Само собой разумеется, что ясная погода является первым условием для дальности восприятия, а с нею вместе и для хорошей ориентации. В особенности над морем, где птица

должна держать направление береговой линии, сильно увеличивается поле зрения. Однако, здесь следует принять во внимание, что нельзя делать умозаключений от глаза человека к глазу птицы. Что последний является совершенно исключительным органом зрения установлено многочисленными исследованиями; однако, еще требуются доказательства, чтобы судить о том, так же ли он хорош как человеческий или превосходит последний по силе своего зрения. Weigold считает возможным, что находящиеся в ретине птичьего глаза перед световоспринимающими элементами его красные и желтые жировые шарики позволяют быть может птицам еще лучше чем нам проникать глазом окутанный голубоватым туманом горизонт, каким он нам представляется при полете на аэроплане.



МОР ОТ МАСЕЛ

С некоторого времени наблюдается значительный прирост дохлых морских птиц в европейских и американских водах, наиболее часто посещаемых судами. Причиной этой массовой смерти являются маслянистые отбросы со все увеличивающихся в своей численности пароходов с жидким топливом. Эти отбросы выкачиваются вместе с отработанной водой и затягивают таким образом часто на значительных протяжениях поверхность моря маслянистым покровом. Последний морские птицы принимают, очевидно, за желанный для них источник питания, рассчитывая найти в нем, быть может, остатки уснувшей рыбы, моржа или тюленя. Во всяком случае они особенно охотно садятся в самую середину этих жировых пятен. Следствием этого является то обстоятельство, что перья их, приходящие в соприкосновение с водой, слипаются друг с другом. Таким образом полая оболочка, находящаяся между оперением и кожей, которая необходима птице в качестве защиты от холода и при нырянии, разрушается. Смерть от простуды и

голода является неизбежным следствием. Сотни тысяч морских гагар, нырков, чистиков и других видов морских уток погибают жертвой масла каждую зиму. Для рыб, например мальков, точно также масло оказывается роковым.

На обязанности всех культурных стран, принимающих горячее участие в охране природы и имеющих экономический интерес в морском рыболовстве, лежит борьба с этим новым бедствием; конечно, это не значит, что следует воспретить жидкое топливо судов, что было бы совершенно бессмысленно, но можно было бы помочь этому горю проведением мероприятий, устраняющих неограниченное выбрасывание маслянистых отбросов. В этом направлении уже предприняты обещающие успех опыты, однако, они требуют дальнейшего развития. Путем центрофуги маслянистые отбросы отделяются на борту самих судов и затем подвергаются омылению. Мыла же растворимые и введенные в морскую воду, не могут причинять вреда.



ПРОФ. А. КЕСТЕР †

29-го мая внезапно скончался от разрыва сердца 62-х лет от роду ординарный профессор Лейпцигского университета Альберт Кестер (Köster), один из крупнейших представителей истории немецкой литературы, блестящий оратор и популярный профессор, которого, конечно, помнят все русские, которые за последние 25 лет посещали Лейпцигский университет. В центре его интересов стояло творчество Гете, а за последние годы — история театра вообще, и немецкого в частности. Между проч. он создал у себя богатый, единственный в своем роде музей по истории сцены. Когда зимой этого года в Лейпциге гастролировала труппа Таирова, Кестер был один из наиболее горячих поклонников этого но-

вого начинания, не пропустившим ни одного из спектаклей. Несколько месяцев тому назад он в актовом зале университета представил публике интересную попытку возобновления театра мейстерзингеров в обстановке XVI века.

Напечатал он сравнительно мало трудов. Из них отметим работы о Шиллере как драматурге, лекции о Готфриде Келлере, образцовое издание писем матери Гете и переписка Т. Шторма. Но из его семинария вышло немало крупных деятелей, занимающих теперь видное положение в его науке.

БИБЛИОГРАФИЯ

Немецкие библиографические и критические журналы общего характера

Систематическая регистрация всех выходящих в Германии и Австрии печатных изданий издавно ведется весьма тщательно; работа эта не прерывалась и во время войны, а в последние годы она еще значительно усовершенствована. Общим, главным образом, книгопродавческим интересам служит «Börsenblatt», издаваемый «Биржевым союзом немецких книготорговцев» и ежедневно регистрирующий все новости книжного рынка. Книги расположены здесь по издательствам и комиссионерам. На ряду с этим «Немецкая Библиотека» («Deutsche Bücherei») в Лейпциге, в которую поступают все издаваемые в Германии книги, издает еженедельные списки («Wöchentliches Verzeichnis der Neuerscheinungen») уже в систематическом порядке, по наукам и прочим отделам, на основании научно разработанного плана. На основании этого издания каждый научный и литературный работник может быстро ориентироваться в интересующей его области немедленно по выходе в свет любого издания. Выпускаемые «Биржевым обществом» на основании этого материала полугодовые и годовые библиографии с справочными указателями дополняют организацию этого дела, облегчая ориентировку и быструю информацию по всем отраслям.

Но все же эти издания дают одни только заглавия книги без разбора и оценки, без рефератов и рецензий. Этой последней цели служат помимо специальных журналов, имеющихся

почти для каждой отрасли знания, главным образом два критико-библиографических журнала общего характера, давно стяжавшие себе почетную известность не в одной только Германии: «Literarisches Zentralblatt» и «Deutsche Literaturzeitung». Они до известной степени конкурировали друг с другом, но с января этого года они подверглись коренному преобразованию, давшему каждому из них новую организацию и свои особые цели.

«Literarisches Zentralblatt» (основанный в 1850 г. известным Ф. Царнке) издается теперь главным образом при содействии научных сил «Немецкой Библиотеки» и лейпцигского университета под редакцией д-ра Прельса. Он не только регистрирует все новые научные книги по дисциплинам, но дает и краткие рефераты о них, и — что особенно ценно — вносит в свои списки и отдельные статьи из научных журналов, так же с кратким рефератом о их содержании. Выходя два раза в месяц, он будет давать наиболее полные, быстрые и точные литературные информации. В более коротких втором и третьем отделах журнала (под редакцией проф. Э. Царнке) даются критические статьи об особо выдающихся книгах, указываются важнейшие иностранные труды и хроника научного мира. Беллетристика совершенно не входит в программу журнала; она уже раньше была выделена в особое приложение, а с 1922 г. в самостоятельный журнал «Die schöne Literatur».

Менее коренной реформе подвергся второй из упомянутых журналов, «Deutsche Literaturzeitung» (45-ый год издания), название которого теперь дополнено словами «für Kritik der Internationalen Wissenschaft». Он выходит дважды в месяц и издается отныне соединенными академиями Германии и Австрии. Руководство передано Берлинской Академии Наук, избравшей для этой цели редакционный комитет из выдающихся ученых. Главным редактором остался, впрочем, проф. Гиннеберг. Журнал этот — критический, дающий частью короткие, частью очень обширные рецензии крупных

как немецких, так и иностранных научных трудов по всем научным специальностям, не ограничиваясь новинками: нередко здесь печатаются рецензии на книги, вышедшие два-три года тому назад. Превосходный подбор сотрудников обеспечивает и за этим изданием выдающийся интерес и международное значение.

✶

Artur Luther. *Geschichte der russischen Literatur.* (Leipzig, Bibliograph. Institut 1924 (IX + 499 страниц больш. октава).

Оставляя за собой право вернуться к этой интересной книге в более подробной рецензии, мы спешим уже теперь несколькими словами обратить внимание наших читателей на ее недавнее появление. Автор, уроженец Москвы, ученик Н. К. Стороженко, хорошо известен у нас как профессор бывш. Московского женского педагогического института и прекрасный публичный лектор по вопросам истории литературы, соединяющий специальное изучение западно-европейского творчества с неослабным интересом к русскому. В Германии он за последние годы был постоянным и наиболее авторитетным референтом в разных повременных изданиях по вопросам русской литературы, чутко следя за новейшими проявлениями творчества у нас. Глубокое знание и понимание России сказывается и в этом последнем по времени труде его, который распадается на 5 частей. Обрисовав на первых 8-ми страницах в нескольких ярких штрихах общий ход культурного развития России до наших дней, автор первую часть посвящает народной словесности (стр. 9—44), вторую — древнему периоду до эпохи Екатерины II включительно (стр. 45—116), третью — эпохе классиков (стр. 117-226), четвертую — эпохе реализма (стр. 227—359) и, наконец, пятую — новейшему времени (стр. 360—474): эпоха реакции, апогей пессимизма: Чехов и Сологуб, буревестники революции, декаденты и символисты, «между революциями», реа-

листы и футуристы, «под большевизмом». Уже эти выписки из оглавления дают читателю понятие об об'еме и внутреннем строении этой книги, которая по всестороннему знанию материала, метким характеристикам и полноте, доводящей изложение до наших дней (в него входят уже Маяковский, Пастернак, Демьян Бедный, Кусиков, Есенин; из рассказчиков — Пильняк, Всеволод Иванов, В. Панин, Зощенко и др.) оставляет за собой все, что за последние десятилетия появилось на западе в этой области. Со многими суждениями автора можно не соглашаться, и не подлежит сомнению, что некоторые из его оценок того или иного литературного факта вызовут горячие споры и протесты. Но нельзя не признать за А. Ф. Лютером честного стремления подойти ко всем явлениям русской литературы вплоть до наших дней с возможным беспристрастием, исходя исключительно из оценки по существу и не увлекаясь симпатиями или антипатиями, лежащими вне пределов литературного творчества. Изложение всюду образцовое по своей ясности и отчетливой краткости. Очень ценны и любопытны для немецкого читателя рассеянные по всей книге многочисленные обрывки из разбираемых произведений, большею частью принадлежащие опытному и талантливому перу самого Лютера. С большой любовью и знанием дела подобран и богатый иллюстрационный материал, дающий много неизданных или неизвестных в России портретов, факсимиле и т. п. Весьма ценен, наконец, и полный, по беглому просмотру, список переводов русских литературных произведений на немецкий язык, а также связанные с этим списком историко-литературные указания в конце книги (стр. 476—489 мелкого шрифта). Мы горячо рекомендуем эту прекрасную книгу всем соотечественникам, к какому бы лагерю они ни принадлежали.

*

Dr. Theodor Wilhelm Danzel: *Kultur und Religion des primitiven Menschen.* Einführung in die Hauptprobleme der allgemeinen Völkerkunde und Völkerpsychologie. Mit 16 Tafeln und 15 Abbildungen. Strecker & Schröder, Stuttgart 1924. 8⁰. (133 стр.)

Автор, приват-доцент Гамбургского университета по кафедре этнографии, отлично зарекомендовал себя уже своей, вышедшей в 1912 г., диссертацией: «Anfänge der Schrift», которою он значительно способствовал исследованию этого важного вопроса, более того, довел его почти до полного разрешения. Данцель уже тогда пошел своим особым путем: он считает примитивного человека сильно подверженным магии даже при попытке об'ясниться со своим ближним при помощи письма или его примитивных зачатков т. е. графически преодолеть время и пространство. Эту склонность привлекать к об'яснению магию Данцель сохранил и в данной книжке, он даже прямо противопоставляет примитивного человека, действующего по магическим соображениям (homo divinans), человеку культурному, действующему по соображениям техническим (homo faber). В общем-же он указывает — и это нужно, действительно, всегда особенно подчеркивать, — что понятие примитивности никоим образом не равносильно понятию малоценности. «Культурное развитие изменяет человека, но само по себе еще не совершенствует его. Если мы приступаем к изучению какого-нибудь народа в самодовольном убеждении, что мы сами стоим на какой-то высоте развития и взираем оттуда на «варварскую, отсталую расу», — то мы действительно, не будем в состоянии постигнуть тех особых ценностей, которые имеются в каждом народе и которые он должен выявить в своей жизни. В мировой культурной жизни нет «прогресса», какой проявляется, например, в области техники. Каждая ступень человеческой культуры создает то, что соответствует ей, и что неповторимо ни в каком из последующих периодов. Приступая без предвзятости к изучению примитивных народов, мы поражаемся цельностью их жизненного стиля и богатством его символиче-

ских форм». В этом-то жизненном стиле Данцель и усматривает наиболее существенное, то, что обличает и характеризует каждую культуру; этот стиль и есть тот язык форм, в котором она осуществляется во всех решительно областях. Такой стилизации подвергнуты как заимствованные, так и незаимствованные культурные ценности. Поэтому задача культуроведения заключается не в выяснении культурных соотношений и взаимодействий, как этого добивается так наз. теория культурных округов (Kulturkreislehre), господствующая в настоящее время в Германии, — а в том, чтобы свести культурное своеобразие, проявляющееся в многообразных культурных творениях, к особому направлению жизненной воли; она заключается в раскрытии культурной тенденции, определяющей стиль, формы и содержание народной жизни и даже подбор заимствуемых культурных ценностей.

С этих двух точек зрения — магии и жизненного стиля — Данцель и рассматривает по очереди образ мышления примитивного человека, его искусство, язык, общественность, медицину, календарь, магические обычаи, вещи и представления, религию, воспитание, драму и танцы, музыку, письмо и его зачатки, науку, право, счет и эпическую поэзию. Ограниченный об'емом книги, он может давать каждый раз лишь краткие очерки; но они содержат столько новых и большей частью хороших мыслей, что эту маленькую книжку можно горячо рекомендовать всем, интересующимся культурно-историческими вопросами.



A. von Löwis of Menar. *Die Brünhildsage in Russland* Leipzig, Mayer und Müller 1923. (Pala s ra 142) 110 страниц

Речь идет об известной русской сказке про сватовство царевича за деву-паленицу, отличающуюся сверхестественной силой и согласной выйти замуж лишь за того, кто проявит еще бóльшую силу в определенных испытаниях; герой выходит победителем лишь благодаря помощи друга заместителя, который побеждает затем строптивую деву и в брачную ночь,

но подвергается за это страшной мести со стороны оскорбленной женщины, узнавшей об обмане. Сходство этой сказки с некоторыми мотивами сказания о Нибелунгах, широко распространенного в германском мире (немецкая поэма о Нибелунгах, песни старшей Эдды, скандинавская сага о Тидреке и т. д.), давно обратило на себя внимание русских исследователей; об этом писали О. Ф. Миллер, Кирпичников, Халанский, Жданов, В. С. Миллер, Владимиров, Лобода, Б. М. Соколов (1911), Ярхо (1913-14), из немецких ученых Панцер, Иричек, фон Сидо, Неккель, Шредер и друг. Новое исследование фон Левис оф Менар расширяет материал указанием 22 неиспользованных до сих пор варьянтов русской сказки. Подробный разбор приводит автора к выводу, что русская сказка восходит к немецкой песне более древней, чем немецкая поэма о Нибелунгах и сага о Тидреке, и послужившей источником также и этих двух обработок сюжета. Песня была занесена в Россию около 1200 г. ганзейскими купцами вероятно из Зоста или Бремена, была подхвачена у нас странствующими певцами-скоморохами и от них, с одной стороны, проникла в былинный эпос (ср. былины о Потоке, о Кострюке, о царе Иване Васильевиче и Марье Темрюковне), а с другой превратилась в сказку. Превращение это произошло вероятно в северо-восточной России (Новгород) в 16-17 веках. Интересно отметить, что русская сказка дает немаловажный материал для восстановления первичных черт немецкого предания, ныне утерянных.

Автор разбираемого труда, уже известный своим исследованием о «герое в немецкой и русской сказке» (Der Held im deutschen und russischen Märchen, Jena 1912), а также как переводчик русских сказок (Russische Volksmärchen, Jena 1914) и как редактор нового издания А. Н. Афанасьева, Народные русские сказки и легенды (2 тома, Берлин, изд. Ладыжникова 1922), прекрасно владеет как русским, так и немецким материалом. Метод его исследовательской работы безупречен, выводы формулированы осторожно и по всей линии убедительно. К сожалению, тяжелые условия немецкого

книжного дела заставили его сильно сжать изложение. Книжку его следовало бы перевести на русский язык в виду особого интереса ее для нашей науки.



L. Niederle, *Manuel de l'antiquité slave.* I L'histoire (Collection de manuels publiée par l'Institut d'études slaves I). Paris, Librairie ancienne Honoré Champion 1923 (VIII + 246 стр.).

Мы считаем долгом обратить особое внимание наших читателей на эту новую книгу знаменитого чешского ученого, автора Slovanké starožitnosti 1902 ss. и Život starých Slovanů 1912 ss., тем более, что она по ясности и простоте изложения вполне доступна и не-специалисту. Не подлежит сомнению, что она даст новый толчок к изучению древнеславянского мира со стороны западно-европейских ученых, которым капитальные труды автора, написанные по чешски, недоступны. Она является не простым сжатым повторением того, что более подробно изложено в этих трудах: специалист найдет в ней много нового как в материале, так и в оценке его. Четвертый отдел книги (главы 17-20), особенно интересный для нас, так как он трактует о восточных славянах, т. е. о территории России, написан совершенно заново. Этого отдела еще нет в большом чешском труде Нидерле, где он займет IV том, еще не вышедший в свет. Входить в подробную оценку разбираемой книги здесь не место; но мы не можем не выразить, в заключение надежды, чтобы за этим первым томом французского издания, обнимающим лишь историко-этнографические вопросы, в скором времени последовал второй, который будет посвящен культуре древних славян, и чтобы весь труд как можно скорее был переведен на русский язык.

*

M. Vasmer, *Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven.* Die Iranier in Südrussland (Veröffentlichungen des baltischen und slav. Instituts der Univ. Leipzig 3) Leipzig 1923 (IV + 80 стр.)

Вопрос о прародине славянского племени, имеющий первостепенное значение для этнографии и культуры древней Европы, а в частности для славянского мира, давно, конечно, интересует ученых и вновь обострился в последнее время благодаря работам покойного А. А. Шахматова (1911-1916). Профессор Лейпцигского университета по кафедре славянской филологии М. Р. Фасмер, хорошо известный и в России по своей прежней академической деятельности, предпринял ряд частных исследований, связанных с этой основной проблемой. Праславянский период, т. е. эпоху после отделения славян от прочих индоевропейских племен до распадения их на отдельные народные особи, он определяет временем от IV в. до Р. Хр. до IV в. по Р. Хр., допуская впрочем и более раннее начало самостоятельной жизни славянства. Свое исследование о прародине он основывает, главным образом, на географических именах и на заимствованных словах, и посвящает предлагаемый первый выпуск частному вопросу о скифах и сарматах в южной России, близко родственных между собой, но справедливо различаемых автором при разборе материала. Их считали то монголами, то иранцами (т. е. ближайшими родичами персов и др.), то кельтами или германцами или славянами (Иловайский, Флеринский, Самоквасов). Подробный анализ скифских и сарматских слов (почти исключительно имен), сохранившихся у древних историков и в надписях, а также разбор ряда географических названий, отчасти еще поныне живущих в южной России (Бессарабии и губерниях Херсонской, Екатеринославской, Таврической, Курской, Орловской и Харьковской), приводит автора к подтверждению иранской гипотезы и значение его труда, помимо удачного об'яснения многих имен, остававшихся до сих пор неясными, в том и заключается, что эта иранская гипотеза

отныне может считаться вполне обеспеченной и домыслы о происхождении славян непосредственно от скифов и сарматов должны отпасть окончательно. Что касается предшественников скифов в южно-русских степях (занятых скифами лишь в 8-7 вв. до Р. Хр.), т. е. киммерийцев, то автор считает повидимому, вероятным, что и они также иранского, или же фракийского происхождения; связь их с кавказским миром (Марр, Ростовцов) он считает недоказуемой. Об'яснение Марра имени роксолан из яфетических языков он отрицает; с работой того-же ученого о термине «скиф» (1922) он не считается вовсе, хотя не мог не знать ее, цитируя по поводу роксолан Яфетический сборник I, в котором она помещена. Таким образом, если автору и удалось окончательно доказать иранство скифов и сарматов, все-же открытым остается вопрос, не были ли они лишь верхним господствующим слоем, под которым лежало покоренное ими не-иранское и, быть может, даже не индоевропейское население. Археология, во всяком случае, доказывает наличность такого первобытного населения задолго до появления скифов в областях к северу от Черного моря



Gustav Wenz. *Die germanische Welt.* Einführung in die germanische Altertumskunde und Geisteswelt Mit 24 Bildtafeln und zahlreichen Abbildungen im Text. Leipzig, Quelle & Meyer 1923. (VIII + 255 стр.)

K. H. Wels. *Die germanische Vorzeit.* Ein Buch von heimischer Art und ihrer Entwicklung. Leipzig, Quelle & Meyer 1923. (XII + 205 стр.)

Обе книги имеют целью познакомить читателя в популярной форме, с германской древностью, преимущественно немецкой, хотя в изложение включены и прочие германские народности. Первая из книг (Wenz), доводящая изложение до эпохи каролингов, написана в форме справочника по важнейшим вопросам внешней культуры (герм. территория и ее

древнейшие обитатели, народности и их история; государство и народ; хозяйство и формы поселений, торговля и промышленность; домашняя жизнь), и культуры духовной (язык, героические сказания, вера, поэзия, искусство и художественная промышленность, наука, нравы и обычаи). Вводная глава дает отчет о важнейших источниках, заключительная — об истории изучения германских древностей. Изложение краткое, но надежно, без лишних слов ориентирующее в разнообразном материале и считающееся с новейшими работами в этой области. 24 таблицы удачно выбранных рисунков, многочисленные рисунки в тексте, а в конце — перечень важнейшей литературы и хороший указатель имен и предметов дополняют эту удачно задуманную и умело выполненную книгу, которую можно рекомендовать всякому, кто желал бы иметь под рукой краткий справочник по германским древностям.

Меньшей похвалы заслуживает вторая книга (Wels), построенная почти исключительно на археологическом материале и поставившая себе задачей дать в связном популярном изложении картину германской древности до эпохи великого переселения народов. Не говоря уже о том, что книга почти целиком построена на шатких, из года в год меняющихся взглядах известного археолога Коссинны, и что одностороннее преобладание археологии в популярном изложении на пространстве 200 страниц наводит на читателя по своему однообразию немалую скуку, книга страдает резко выраженной тенденцией к идеализации германской древности в ущерб правде (ср. напр. на стр. 188 характеристику расы северных долихокефалов, т. е. германцев, тожественных по автору, с праиндоевропейцами, сравнительно с круглоголовой альпийской расой и с средиземноморской). Наконец не мало в ней и ничем не доказанных гипотез и прямых ошибок. Так на стр. 103 автор все еще утверждает, что руническое письмо туземного, германского происхождения, хотя мы давно знаем, что оно возникло из греческого курсива не раньше II века по

Р. Хр., и т. под. Лучшее в книге — хорошо подобранные и в общем удачно воспроизведенные рисунки.

В связи с разбираемыми работами нелишне будет указать, что в том же издательстве в 1919 г. появилось второе исправленное и дополненное издание прекрасной книжки H. Dragendorff'a «Westdeutschland zur Römerzeit» (Wissenschaft und Bildung 112), популярная по тону, но основанная на самостоятельном глубоком знании предмета. На наш взгляд, это лучшее общедоступное изложение указанной в заглавии важнейшей эпохи германской древности.



Л. Лихтенштейн. *Астрономия, математика и их взаимодействие.* Изд. С. Гирцеля, Лейпциг, 1923, цена брош. 3 мар.

Первые две главы книги Лихтенштейна представляют собой воспроизведение первой публичной лекции, прочитанной автором в Лейпцигском университете, и дают столь всеоб'емлющий и поучительный обзор одной из наиболее интересных областей современной точной естественно-исторической науки, притом в общепонятном изложении, что читатель будет не слишком огорчен, если третья глава, содержащая математические дополнения ко второй главе, в общем останется для него непонятной. Содержание первых двух глав относится к движению, виду и развитию небесных тел; подробный разбор их не может служить предметом краткой рецензии. Отличительным признаком этой книги, придающим ей ценность также и для широкой публики, является ясное изложение математических проблем астрономии и весьма яркое освещение способов решения этих проблем с одной стороны и еще неразрешенных вопросов с другой стороны. Таким образом неспециалист имеет возможность хорошо ознакомиться с методами работы такой науки и увидеть каким образом математика является ценной и успешной сотрудницей астронома

в его труде. Другими словами: читателю открывается доступ в мастерскую современных научных исследований, и он знакомится с вопросами, далеко выходящими за специальные астрономически-математические рамки, а потому имеющими громадное значение в обще-культурном смысле.



И. Кеплер *„Mysterium Cosmographicum" (Тайна вселенной).* Перевод на немецкий и с введением М. Каспара. Изд. д-ра Бенно Фишера, Аугсбург, 1923.

Имя Иоганна Кеплера пользуется хорошей репутаций в истории астрономии, ибо ему мы обязаны знанию точных законов движения планет. Кеплер весьма рано пришел к убеждению, что все явления природы подчинены строгим математическим законам и что в конечном итоге вселенная представляет собою дивное, единое и простое мироздание. Это основное положение привело недостигшего еще 25-летнего возраста Кеплера к замечательной мысли, подробно изложенной им в особом труде, озаглавленном: «Prodromus Dissertationum Cosmographicarum continens Mysterium Cosmographicum de admirabili Proportione Orbium Coelestium», а именно что пути известных во время Кеплера пяти планет находятся в тесной связи с пятью правильными телами, которые были известны в геометрии уже в течение тысячелетий.

Хотя эта конструкция вселенной по Кеплеру опровергается последовавшим после него открытием дальнейших планет, все же приходится согласиться с М. Каспаром, который приписывает особое значение именно этому труду молодого Кеплера, и говорит: «Мы знакомимся с отвагой, с внутренним богатством, с гордой силой и поразительным чутьем молодого мыслителя». С другой стороны, это единственный труд, который сам автор, 25 лет спустя, в 1621 году, выпустил вторым изданием, снабженным многочисленными примечаниями, дополнениями и улучшениями. Таким обра-

зом этот труд дает нам картину начала и достижения, мы знакомимся со взглядами ученого в юности и в старости, а также с его собственными суждениями о своих работах по астрономии.

Приведение этой цитаты делает излишними всякие дальнейшие комментарии к содержанию труда Кеплера. Остается еще только дать отзыв о переводе: он в высокой мере удачен, благодаря чему чтение книги доставляет большое духовное наслаждение.

✱

Вальтер Герлах. *Материя, электричество, энергия.* Изд. Теодора Штейнкопфа, Дрезден. 1923. Цена брош. 4 м. или 0,95 доллара.

Книжка Герлаха написана для неспециалистов по физике, и имеет целью основательно ознакомить читателя с вопросами, в настоящее время весьма сильно занимающими физику. Автор задался целью возбудить интерес и представить хороший фундамент современных идей, и эту задачу он прекрасно разрешил. Длинный ряд новых и новейших достижений науки обсуждается в удобочитаемой форме, двадцать пять самостоятельных лекций дают нам широкое представление о физике наших дней. Настоящая заметка, имеющая лишь целью обратить внимание на эту книжку, за недостатком места не может дать хотя-бы только грубого разбора ее. Мы еще не раз сошлемся в наших статьях на труд Герлаха, в дополнение же к нашей статье о путях развития неподвижных звезд мы скажем лишь еще следующее: последняя глава, под заголовком «Атомизм и Макрокосм», трактует о применении современной теории атомов к выяснению физического состава неподвижных звезд. Остается пожалеть об отсутствии предметного указателя, который сделал бы эту книжку еще более пригодной в качестве справочника. В новом издании обязательно следует прибавить такой указатель.

✱

Г. ф. Гервези и Ф. Панет. *Учебник радиоактивности.* Изд. Иоанна Барта, Лейпциг, 1923. Цена в перепл. 6,90 м.

От учебника радиоактивности, составленного двумя столь авторитетными учеными в этой области, как Г. ф. Гервези в Копенгагене и Ф. Панетом в Берлине, можно ожидать весьма многого. Ожидания эти не обмануты. Не предполагая у читателя никаких специальных предварительных познаний, авторы основательно знакомят его с учением о радиоактивности, систематически и при помощи наглядных описаний основных опытов излагая многочисленные явления, характеризующие сущность радиоактивности. Вместе с тем раз'ясняются шаг за шагом необходимые для уразумения всей соответствующей отрасли теоретические положения. За введением общего характера следует изложенное в нескольких главах подробное описание радиоактивных излучений, новейшей теории атомов, а равно и обоснованной Рутерфордом и Содди теории распадения атомов. Много места затем отведено под химию радиоэлементов, а после этого следуют наглядный обзор разнообразных действий радиолучей и изложение важного значения, которое имеет радиоактивность для геологии и геофизики. Последняя глава дает очерк исторического развития учения о радиоактивности, а заключением книги являются указатель литературы по данному вопросу и обширный реестр.

Изложение повсюду ясное и удобопонятное, так что книга может быть рекомендована и профану.

✶

Т. Сведберг. *Материя.* Научная проблема в прошлом и настоящем. Академическое издательское товарищество, Лейпциг, 1924. Цена брош. 3 м., в перепл. 4,76 м.

Известен великолепный анекдот о короле, который посетил обсерваторию и, приветствуя руководителя-астронома, спросил: «Что нового на небе?», на что немедленно со сто-

роны астронома последовала реплика: «А Вашему Величеству уже известно старое?» Всегда должен был бы вспоминать об этом анекдоте тот, кто намерен заняться теми или иными вопросами естественных наук. Ибо вечной остается истина, что развитие науки происходит постепенно и последовательно и, что достижения могут быть понятны лишь тому, кто знаком хотя бы в грубых чертах с прежним положением данного вопроса. Со времени открытия радиоактивности исследование материи вступило в новую фазу, обильную великими достижениями и прекрасными успехами. Тот, кто хочет оценить все это в полной мере, не может пренебречь изучением исторического развития проблемы материи. Вышеназванная книга Сведберга представляет собою весьма достойное внимания изложение означенного развития. Исходя из представлений древних культурных народов о материи, автор идет через средневековую алхимию, основание и дальнейшее развитие научной химии к современному учению о природе материи и дает живую картину о развитии науки, всегда представлявшей собою первостепенный интерес и далеко не законченной еще и поныне.



Сванте Аррениус. *Химия и современная жизнь.* Академическое издательское товарищество. Лейпциг, 1922. Цена брош. 3,75 м., в перепл. 5,75 м.

Материальная культура современности основана на результатах вековых научных исследований, причем химия в этом ряде занимает далеко не последнее место. Как на примеры веществ, коими заняты огромные отрасли нашей современной промышленности, укажем на металлы, глину, стекло, фарфор, цемент, уголь, жидкое топливо разных видов, воду, соли, воздух, красящие вещества, медикаменты, целлулозу и каучук, причем этот ряд может быть еще удлинен во много раз. В своей книге Аррениус говорит о всех этих

вещах, тем самым раскрывая разнообразную связь между химическими исследованиями и современной жизнью. При этом содержание изложено не в виде сухого перечня, а в пятнадцати последовательных и законченных главах. Благодаря реестру названий и имен, обнимающему более 20 страниц, книга является прекрасным справочником по всем вопросам данной отрасли, что, конечно, придает ей еще большую ценность. Особых предварительных знаний по химии в данном случае не предполагается.



Новые немецкие книги по географии России

Географическое исследование восточной Европы стояло всегда на очень невысоком уровне по сравнению с другими европейскими странами. Географического описания России, которое отвечало-бы современным научным требованиям, не существовало и в самой России. Очень распространенный с 80-х годов прошлого столетия русский перевод 5-го тома «Geographie universelle» Реклю с дополнительным томом, составленным Иностранцевым и другими, давно уже устарел. Широко задуманный географический труд «Россия», издававшийся в Петербурге А. Ф. Девриеном под редакцией Семенова-Тян-Шанского и долженствовавший обнять всю территорию России, в научном отношении неудовлетворителен и методически несовершенен. Притом из 20 предполагавшихся томов его вышло всего 11. Вышедший в 1907 г.на немецком языке в серии «Länderkunde von Europa» Kirchhoff'a то м посвященный России и составленный Красновым, также не имеет большой научной ценности, за исключением климатологического отдела, написанного Воейковым.

В иностранных книгах о России сильно сказывается к тому же незнакомство авторов с русским языком, вследствие чего многое оказывается плохо понятым или представляется в неправильном освещении; между тем, в России имеется уже

много ценных исследований по частным вопросам. Критическое об'единение всех этих работ, напечатанных в специальных журналах, не дало бы еще, правда, такой точной картины страны, какую дает, например, существующая географическая литература о Германии, но тем не менее оно несомненно отразилось бы выгодно на нынешнем представлении о России в научных кругах запада. Незнанием русской специальной литературы страдают, например, немецкие книги Philippson'a (1908) и A. Hettner'a (4-е изд. 1921 г.).

После войны в этом отношении кое-что изменилось к лучшему. Правда, нет еще полной, отвечающей современным требованиям географии России, но, например, в Германии — и особенно здесь — усерднее принялись уже во время войны, за изучение России, тем более, что за время оккупации русского запада немцы имели возможность ближе всмотреться в характер страны и народа. Да и после войны, остается в силе это стремление составить себе более ясное представление о России. Ныне мы можем рекомендовать нашим читателям уже три географические книги, относящиеся к собственной России, Прибалтийскому краю и Сибири и вышедшие за последние года в Бреславльском издательстве Ferdinand Hirt, вообще отличающемся изданием хорошей и разнообразной географической литературы. Первые две книги составляют часть новой обширной серии «Jedermanns Bücherei». В ее отделе «Erdkunde» Восточной Европе отведены два томика (1922), из которых первый содержит общий обзор, а второй — описание отдельных областей (116 и 124 стр., 8°). Автор их — профессор географии при Мангеймской высшей торговой школе Walther Tuckermann, выпустивший уже во время войны работу о сети русских железных дорог. В методически безупречном построении они дают краткую, хорошо ориентирующую географию современной России без независимых ныне окраинных государств на западе. Изложение условий хозяйственной жизни во многом должно основываться на данных до-военного времени, т. к. современный

хозяйственный строй еще не сформировался окончательно, но в общем автор старается использовать и новейшие сведения. Заслуживает одобрения также и его стремление кратко и ярко выделять из необ'ятного материала лишь самое важное. Много рисунков в тексте и 62 превосходно выбранных иллюстрации делают еще более наглядным представление об обширных, столь различных по характеру областях европейского востока.

Другой томик той же серии написан бреславльским географом Максом Фридрихсеном и посвящен прибалтийским государствам Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве (1924; 144 стр., 8°). Систематическое описание их особенно привлекательно именно теперь, когда эти страны по сравнению с прежним значительно выиграли в общем интересе. Страны эти будут вероятно служить посредниками между Германией и Россией в совместной работе по восстановлению расстроенной ныне хозяйственной жизни Европы. В этом томике впервые дается краткий обще-географический обзор прибалтийских стран. Материалом для описания их природы и культуры служила прежде всего обширная, уже существующая литература, но кроме этого, автору очень помогли и личные наблюдения, собранные им во время войны и после нее. И этот том также снабжен превосходными иллюстрациями.

В том же издательстве вышло и обширное географическое описание северной Азии под заглавием: «Sibirien, eine Landeskunde» (1923 VIII и 212 стр., б. 8°); автор его — кенигсбергский географ Arved Schultz. Сибирь слыла когда то в Европе лишь страной каторжников и морозов; теперь же, в особенности после оптимистических описаний Нансена, она стала «страной будущего», своего рода новой Америкой. Об этой громадной стране, в полтора раза большей, чем вся Европа, не существовало до сих пор ни одной научной географии. Незадолго до войны в Петербурге, в издательстве А. Ф. Маркса, вышло трехтомное, роскошно изданное сочинение «Азиатская Россия» (издание Переселенческого Управ-

ления Главного Управления Землеустройства и Земледелия), с большим атласом, содержащим множество важных карт по географии Сибири. Несмотря на некоторые попытки подчеркнуть географическое единство страны указанием на причинную связь явлений, оно, соответственно своей практической цели, служить переселенческому делу, отнюдь не может считаться полным географическим описанием Сибири. Но опираясь на содержащийся в нем материал, на предшествующую литературу и на личное знакомство с небольшой частью Сибири, A. Schultz дает в своей книге удовлетворительный географический разбор Северной Азии и описание ее естественных провинций. Особое внимание автор обращает на чисто топографические данные, на хозяйственные условия и статистический материал, так что книга его может дать и купцу, промышленнику, инженеру и. т. д. много крайне интересных для них сведений. Ценные и тщательно подобранные иллюстрации украшают и эту книгу, которой можно лишь пожелать самого широкого распространения в научных и коммерческих кругах.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 084982914